

Есин Б. И. История русской журналистики (1703 – 1917). М.: Наука, 2000.

Предисловие к учебному пособию

Выпуск настоящего курса истории русской журналистики XVIII — начала XX вв. в кратком изложении обусловлен рядом причин. Во-первых, последний учебник по истории русской журналистики, причем охватывающий только XIX в., вышел в 1989 г. и стал малодоступным для студентов. Во-вторых, с перестройкой всей нашей жизни, отказом от ряда догматических представлений советского периода возникла необходимость переоценки некоторых явлений прошлого отечественной журналистики и ее отдельных представителей, расширения поля исследования за счет либеральных и так называемых «реакционных» явлений. Это касается журналистской практики славянофилов, М.Н. Каткова, Ф.М. Достоевского, Вл.С. Соловьева, А.С. Суворина, В.М. Дорошевича, Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева и многих других.

Учебники и учебные пособия до сих пор охватывают прошлое отечественной журналистики или в объеме XVIII—XIX вв. (см. учебник по истории журналистики под ред. проф. А.В. Западова), или отдельно XVIII в., XIX в. А по истории печати начала XX в. вообще учебника или учебного пособия нет. Имеются лишь разработки отдельных тем, например печати 1905 г., печати 1914 г., имеются книги, излагающие историю журнала «Сатирикон», деятельность В.М. Дорошевича и некоторых других. Только история большевистской печати 1901—1917 гг. изучена достаточно полно и широко отражена в литературе. Но сейчас невозможно ограничить изучение истории журналистики начала XX в., наиболее богатого по количеству периодических изданий, только историей большевистских органов печати.

Кроме того, история журналистики, как всякая наука, не стоит на месте, и учебник требует включения нового материала, накопленного исследователями к настоящему времени, расширения библиографии.

Поэтому изложение курса истории русской журналистики даже в кратком виде, не перегруженного большим числом имен и названий, будет полезно студентам факультетов и отделений журналистики разнообразных высших учебных заведений.

История русской журналистики является важной составной частью профессиональной подготовки журналистов.

История русской журналистики преподается на III и IV курсах и опирается на знание таких предметов, как «Введение в теорию журналистики» (роль СМИ в жизни общества, свобода информации, функции журналистики), «Теория литературы» (жанры, приемы поэтической речи, тропы), «История русской литературы», поскольку история русской журналистики была в XVIII, XIX и в начале XX в. тесно связана с развитием литературы и, конечно, курсов истории России там, где они включены в учебный план вуза.

Задача курса истории русской журналистики — выявить значение русской печати в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, ее достижений как фактора национального просвещения и института массовой информации. Раскрывая закономерности развития отечественной печати,

освещая направление и содержание важнейших периодических изданий XVIII—XIX, начала XX в., обогащая знанием наиболее существенных фактов истории печати, курс знакомит студентов с динамикой развития журнально-газетных форм, с деятельностью и литературным мастерством выдающихся русских публицистов, способствуя повышению профессионального уровня будущих журналистов.

Настоящее пособие рассчитано для работы как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, читающего курс.

Книга, прежде всего, должна логически обосновать порядок, последовательность изучения материала как стержень, на который нанизываются отдельные темы, явления журналистики, не давая отдельным фактам нарушать общую картину, перевешивать в своем значении общие закономерности развития печати. Например, как ни значительна роль В.Г. Белинского в истории русской журналистики, однако она не может заслонять деятельность славянофилов, критиков эстетического направления: Ап. А. Григорьева, А.В. Дружинина и других работников печати. Несмотря на исключительную роль ежемесячных «толстых» журналов 1870—1880-х гг. — «Отечественных записок», «Вестника Европы», надо учитывать, что не только они определяли общий процесс развития журналистики, но также и газеты.

Изучение материала пособия предполагает обязательное дополнение его сведениями, имеющимися в учебной и специальной литературе, прочтением и анализом текстов русских писателей и публицистов, указанных лектором или программой.

Безусловно, полезно конспектирование наиболее сложных текстов и изученных монографий, пособий, причем подчеркнем, что многие книги по истории русской журналистики советского периода, несмотря на идеологическую заданность, содержат надежный фактический материал. Так, не придерживаясь обязательно периодизации русской журналистики, предложенной В.И. Лениным в статье «Из прошлого рабочей печати в России», надо усвоить связь развития журналистики с важными историческими событиями эпохи: восстанием декабристов, отменой крепостного права, покушением на Александра II в 1866 г. и т.д.

На содержание и подчас судьбы русской журналистики существенно влияло наличие цензуры и административного наблюдения. Свобода слова оставалась долгие годы мечтой журналистов России. Поэтому вопросы цензурного вмешательства в дела журналистики не должны быть упущены при подготовке к экзамену. Стеснения свободы печати вынуждали многих журналистов прибегать к эзоповской манере изложения, а издателей — организовывать журналы и газеты свободолюбивого, радикального содержания в эмиграции. Подобные издания не имели решающего значения в развитии русской журналистики, но основные сведения о них, содержащиеся в данном пособии, знать необходимо.

Учитывая, что в России на протяжении XVIII—XIX вв. не было политических партий, студентом должно быть усвоено такое понятие, как идейное *направление* издания. Вся журналистика делилась на три основных направления: консервативно-монархическое, либеральное и демократическое. Определяются они прежде всего отношением к политическому строю, положению классов и сословий в государстве, аудиторной ориентацией, взглядами на литературу, искусство и некоторыми другими.

Положение изменилось в начале XX в., когда в стране после опубликования царского Манифеста 17 октября 1905 г. была разрешена свобода собраний, легальная партийная деятельность и другие гражданские свободы, и журналистика, сохраняя направленческую структуру, обогатилась партийными изданиями, что обусловило многопартийность русской журналистики.

Обязательно обратить внимание на типологические черты журналистики различных эпох: литературный журнал, энциклопедический журнал, массовая газета, научное издание, информационные издания и т.д.

В журналистике есть свои переломные моменты, прямо не связанные с конкретными историческими событиями, но часто обусловленные ими: 1703, 1866, 1884, 1905 гг. и др. 1703 г. ознаменовался изданием первой российской газеты; 1866 г. повлек за собой закрытие журналов «Современник» и «Русское слово» после покушения Каракозова на Александра II; 1884 г. привел к фактическому прекращению демократической журналистики в связи с усилением политической реакции 1880-х годов, 1905 г. определил появление легальной партийной печати в результате издания Манифеста 17 октября.

Обогадив память определенной суммой фактических сведений о прошлом нашей журналистики, ее основных участниках, студенты должны выработать в себе умение надежно аргументировать свои выводы, избегать ангажированности, быть правдивыми и точными в передаче информации, хранить чистоту русского языка, понять перспективы дальнейшего существования периодической печати в обстановке развития радио и визуальных средств передачи информации.

Полезен может быть и такой совет. Обратить внимание не только на положительный, но и на отрицательный опыт прошлого, ибо отрицательный опыт есть тоже опыт. Например, доносительство Ф.В. Булгарина, отсутствие целеустремленности и усидчивости в журнально-газетной деятельности большинства славянофилов, скатывание на шовинистические позиции А.С. Суворина, грубость полемики, переходящей в перебранку, и пр.

Читая пособие, вы будете воспринимать сразу содержание целого периода истории журналистики, с его общим обликом, главными процессами всей журналистики, тогда как каждый период распадается на несколько тем, связанных с историей отдельных конкретных журналов или развитием отдельных типов журналистики, творчеством крупных публицистов. Так, раздел «Журналистика эпохи реформ», характеризуя позиции ряда изданий по отношению к реформам 1860-х годов и взгляды публицистов на изменение всей русской жизни в момент отмены крепостного права, содержит несколько самостоятельных тем: журнал М.Н. Каткова «Русский вестник» и его же газета «Московские ведомости», «Современник» Н.А. Некрасова, публицистика Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, «Русское слово» Г.Е. Благосветлова, журналы братьев Достоевских, сатирический журнал «Искра». Поэтому в конце каждого раздела дается несколько вопросов для повторения, позволяющих проверить себя на усвоение материала, источников и литературы. Литературу к каждому из них следует подобрать самостоятельно из списка в конце книги или по указанию преподавателя.

Заканчивается книга примерами итоговых контрольных работ по курсу.

Данное пособие может служить кратким справочником. Для этого в нем выделены названия наиболее важных журналов, газет, альманахов.

Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII веке

Журналистика как особая сфера общественной деятельности возникала у каждого народа на достаточно высокой ступени социального развития. Феодальное общество с его разобщенностью и натуральным хозяйством практически не нуждалось в широком обмене информацией. Только с ростом капиталистических отношений — товарного обмена или, по крайней мере, развитием элементов капиталистического уклада в рамках феодализма — появлялись современные способы распространения информации с помощью тиражирования новостей на машинной основе, нарождается журналистика. Вызревание этих условий падает в разных странах на различное время — конец XVI, XVII, XVIII вв. В России журналистика как индустрия информации появилась в начале XVIII в. История русской журналистики подтверждает это положения вполне.

«Куранты»

Русская журналистика заявила о своем существовании в 1702 г. с момента издания «Ведомостей» — первой русской печатной газеты. До этого в России издавались рукописные предшественники газеты «Куранты» или «Вестовые письма». Это были сводки политических новостей, переписанные в одном, редко в двух, экземплярах от руки и предназначавшиеся для прочтения царю и ближайшим боярам. Первые «Куранты» относятся к 1600-м годам, и их тексты в настоящее время переиздаются издательством Академии наук («Вести-Куранты». 1600—1639, М., 1972; «Вести-Куранты». 1642—1644, М., 1976; «Вести-Куранты». 1645-1648, М., 1980).

«Ведомости»

Но подлинным первенцем русской печати были все же «Ведомости», которые стали издаваться по личному указанию и при личном участии русского царя Петра I типографским способом, т.е. широко тиражироваться. Указ об издании первой русской газеты был подписан в декабре 1702 г. Тогда же вышли пробные номера, но первый из дошедших до нас экземпляров газет датирован 2 января 1703 г.

Нужно сказать, что первая русская газета, будучи органом государства помещиков-дворян и купечества, явилась в то же время важным фактором развития национальной культуры, особенно если учесть, что она с 1710 г. стала печататься гражданским шрифтом вместо церковнославянского.

Содержание первой русской газеты сводилось к широкой пропаганде петровских реформ, много места отводилось характеристике экономического потенциала страны, обзору военных действий в Северной войне, дипломатическим связям русского государства, фактам национальной культуры, открытию школ, описанию торжественных праздничных актов, публикации проповедей сподвижников Петра I (Феофан Прокопович) и др. Тираж «Ведомостей» колебался от нескольких десятков до 4 тысяч экземпляров.

Следует отметить серьезное отличие первой русской газеты от первых газет других европейских стран. Первая русская газета была менее всего коммерческим изданием,

каким были впервые возникавшие европейские газеты. Русская газета с первых шагов существования обнаружила свои важные потенциальные качества — быть проводником определенной политики, быть пропагандистом, а подчас и организатором общественного мнения в пользу государственных реформ, в пользу защиты национальной самостоятельности и независимости. Идеологический уровень первой русской газеты был несомненен и весьма ярок, несмотря на то что в ней первенствовали информационные материалы.

О том, что первая русская газета была весьма высока по своему уровню, по своим функциям, как тип информационной газеты, говорит косвенно дальнейшее успешное развитие русской журналистики, которое пошло неудержимым потоком в последующие времена.

Уже в 1728 г. появился первый опыт издания русского журнала под названием *«Примечания»*. В том же году стала издаваться газета *«Санкт-Петербургские ведомости»* при Академии наук в Петербурге, сменившая петровские *«Ведомости»*.

С первым русским журналом *«Примечания»* связаны и первые шаги М.В. Ломоносова как журналиста. Здесь в 1741 г. он работал в качестве автора и переводчика. Были опубликованы некоторые оды Ломоносова, переводы научных статей. С 1748 по 1751 г. Ломоносов являлся фактически редактором газеты *«Санкт-Петербургские ведомости»*.

Сотрудничал Ломоносов и в журнале, издававшемся на латинском языке Академией наук *«Комментарий»* (с 1750 г. *«Новый комментарий»*). С участием в этом издании связана статья Ломоносова *«О должности журналистов»*, в которой впервые был сформулирован моральный кодекс журналиста, пишущего на научные темы, и вообще человека, берущегося публично давать оценку научным или иным явлениям действительности. Правдивость, умение правильно понять противника были провозглашены важнейшими профессиональными качествами журналиста.

«Московские ведомости»

По инициативе Ломоносова вслед за открытием в 1755 г. Московского университета была создана вторая русская газета — *«Московские ведомости»*, а еще ранее Ломоносов убедил правительство издавать академический журнал, который и стал выходить под названием *«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»* (1755).

Вынашивал Ломоносов планы издания еще нескольких периодических изданий, но этим планам не суждено было осуществиться.

Нужно сказать, что многие журналы XVIII в. были недолговечны, а две русские газеты носили официальный характер. Они были достаточно стандартизированы в отборе информации и ее подаче: на первом месте шли династические новости, затем придворная жизнь, сведения о чиновничьем производстве и наградах и только затем любопытные известия и культурная информация. Объявления печатали в специальных приложениях, и доход от их публикации поступал в бюджет Академии наук или Московского университета.

В истории газеты *«Московские ведомости»* выделяется период, когда эта газета вместе с типографией Московского университета была отдана в аренду известному русскому просветителю Н. И. Новикову. Это было в 1779—1790 гг. Новиков не только

оживил газету, расширил ее содержание, но и стал издавать ряд интересных приложений к ней, в их числе первый детский журнал.

Первый частный журнал

В середине XVIII в. русская журналистика обогатилась новым типом издания — частным журналом, т.е. формально независимым от учреждений правительства, который издавал литератор на правах частного предпринимательства. Первым таким изданием был журнал «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова (1759). Название трактовалось в том смысле, что читатель, как трудолюбивая пчела, будет собирать все полезное и нравоучительное, что найдет в издании, хотя напрашивалось и другое сравнение — самого издателя, журналиста с пчелой, собирающей все полезное и интересное для людей.

Журнал ориентировался на дворянскую аудиторию и симпатизировал не царствующей Елизавете, а великой княжне Екатерине Алексеевне, ставшей вскоре императрицей Екатериной II. Отсюда критическое отношение к придворной знати времен Елизаветы, критика казнокрадства, взяточничества, лишней роскоши.

Журнал издавался ежемесячно тиражом 1200 экземпляров и был преимущественно литературным.

Издание «Трудолюбивой пчелы» прекратилось в декабре 1759 г. по причине недовольства его критической направленностью.

Сатирические журналы XVIII в.

Затем появились журналы Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец», Д.И. Фонвизина «Друг честных людей», И.А. Крылова «Зритель», «Почта духов» и др. Самым замечательным в этой плеяде русских журналов была их сатирическая направленность. Уровень сатиры по формам и ее содержанию был весьма высоким.

Это были преимущественно литературные журналы. Однако и в литературной форме передовые журналисты того времени Новиков, Крылов сумели поставить ряд острых социальных проблем. Новиков в своих журналах критиковал крепостнические порядки, осуждал жестокосердие помещиков, паразитизм, стремление жить не по средствам, французанию дворян и другие пороки. Журнал «Трутень» сопровождался выразительным эпиграфом «Они работают, а вы их труд ядите» и был обращен к русским дворянам-помещикам.

Не менее остро критиковал дворян-помещиков и Крылов, впоследствии знаменитый русский баснописец. Под видом переписки духов, гномов и других фантастических существ потустороннего мира он критиковал самодержавие, придворные нравы, дикость и жестокость помещиков, взяточничество чиновников.

Нужно сказать, что эта сатирическая струя в журналистике была в значительной степени предопределена крупным крестьянским восстанием под предводительством Е. Пугачева, показавшим остроту социальных противоречий в стране.

Особого внимания заслуживает полемика, развернувшаяся между журналом «Всякая всячина» (1769), который издавала сама императрица Екатерина II с помощью княгини

Е.Р. Дашковой, и журналами Новикова. Новиков отстаивал сатиру на лица, Екатерина II защищала сатиру на пороки, т.е. сатиру абстрактную, морализующую.

Разумеется, внешнюю победу одержала Екатерина: журналы Новикова, Фонвизина и других просветителей-демократов были закрыты, но идейная победа осталась на стороне журналистов, критиковавших крепостничество, взяточничество, галломанию дворянства и придворных, распущенность нравов и прочие социальные грехи их реальных носителей — дворян-помещиков, чиновников.

При всей ограниченности содержания русских изданий XVIII в. журналистика сыграла важную роль: она была единственным источником общественной информации, много способствовала литературному развитию.

Так, в конце XVIII в. в русской печати получили достаточно яркое отражение революционные события в Европе и Америке.

Революция, начавшаяся в конце 70-х годов в Северной Америке, нашла отражение в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости». Н. Новиков в журнале «Прибавления к «Московским ведомостям» опубликовал ряд статей, где рассказывал о вождях американской революции, в частности о Вашингтоне, который, по словам Новикова, «основал республику». Новиков требовал невмешательства Европы в американские дела.

В тот же год первый русский революционер А.Н. Радищев в оде «Вольность» восклицал, обращаясь к Америке: «Ликуешь ты, а мы здесь страждем! Того ж, того ж и мы все жаждем...»

Однако в дальнейшем и Радищев, и Новиков несколько изменили свое отношение к республиканским порядкам в Америке. Социальные контрасты республиканской Америки не позволяли Радищеву считать ее «блаженной страной». Новиков не мог смириться с рабством негров в Америке.

Еще шире отразились в русской печати события Великой французской революции. 7 августа 1789 г. «Санкт-Петербургские ведомости» вышли с сенсационным сообщением о взятии Бастилии. Давались другие важные сведения, в их числе отрывки из речей Мирабо и других деятелей. Был перепечатан дословный перевод всех 17 статей Декларации прав человека. Особенно полно информировали о предреволюционном периоде, о начале революции «Московские новости». Однако надо иметь в виду тональность многих сообщений: «рука содрогнется от ужаса, описывая происшествия» («Санкт-Петербургские ведомости»), в газетах говорится о «дерзости писателей», «наглостях» черни: «Московские ведомости» в это время уже были отобраны у Новикова. В целях запугивания русских читателей допускалась публикация писем из различных областей Франции о «великих беспокойствиях», о пожарах в дворянских имениях и т.д.

«Политический журнал», который стал издаваться с 1 января 1790 г. при Московском университете магистром философии П.А. Сохацким, начал было с высокой оценки 1789 г., который учредил «много доброго», но затем перешел на более умеренный тон: революция пугала большинство дворян.

Тем не менее, в первые годы Французской революции (1789—1791) в Петербурге и Москве можно было приобрести у торговцев книгами некоторые французские газеты, в

частности «Парижские революции» Приюдома и Лустало, картинки с изображением взятия Бастилии. Тиражи газет заметно возросли. «Санкт-Петербургские ведомости» в 1790 г. имели тираж до 2700 экземпляров, «Московские ведомости» — до 4000 экземпляров.

Радищев

В год Великой французской революции Радищев, работая над своей знаменитой книгой «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой он поднялся до революционного убеждения о неизбежности насильственного свержения самодержавия, уничтожения крепостничества, выступил в журнале дворянской молодежи *«Беседующий гражданин»*. В передовой русской публицистике конца XVIII — начала XIX вв. большое место отводилось воспитанию гражданских доблестей, гражданского достоинства и патриотизма. И одним из основоположников этого направления был Радищев.

В 1789 г. в декабрьском номере журнала «Беседующий гражданин» он опубликовал статью, которая называлась «Беседа о том, что есть сын Отечества».

Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). Находящиеся под игом рабства недостойны украшаться сим именем, утверждал публицист. Уже в этом заключении сказывается требование борьбы с угнетением, крепостничеством, которое насаждалось и охранялось самодержавием и помещиками-феодалами.

Особенно сожалеет писатель о положении крестьян, которые «уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу...», и призывает образованную молодежь воспитывать себя в духе благородства и свободолюбия, т.е. в духе сочувствия угнетенным.

В конце века заметную роль в журналистике стал играть Н.М. Карамзин. Свои первые шаги в журналистике он сделал в изданиях Н. Новикова «Московские ведомости», «Детский журнал». В 1791 г. он сам стал издавать литературный ежемесячник под названием «Московский журнал». Карамзин не отличался радикальностью своих суждений, но он сумел в легкой увлекательной форме передать современные политические и литературные новости, оценить интересные события. Просвещение читателя и воспитание эстетического вкуса — заслуги Карамзина-журналиста этого периода. Его произведение «Письма русского путешественника» познакомили аудиторию с Европой, швейцарской демократичностью, немецким научным просветительством, знаменитыми учеными и поэтами, комфортабельностью европейской жизни.

При всей ограниченности круга читателей, прежде всего из-за низкой грамотности населения, политическая информация из Франции, критика крепостнических отношений, угнетения крестьян в России, порицание паразитизма помещиков, высмеивание чиновничьего аппарата не могли не пугать правящие классы. В начале 1790 г. подобная информация резко сокращается. Екатерина, напуганная Французской революцией, крестьянскими выступлениями против помещиков, переходит к преследованию передовых людей своего времени: Радищева, Новикова, наступает реакция, которую усугубил Павел I, сменивший на престоле Екатерину в 1796 г. При нем еще больше

ограничиваются возможности независимой передовой журналистики: устанавливаются цензурные учреждения в столице и на пограничных переходах.

Но потенциально русская журналистика, особенно частные журналы, несмотря на вмешательство царского правительства, которое предписывало следить не только за изданиями, но и за писателями, пресекать не только революционные, но и либеральные идеи, показала, что журналы могут стоять и стоят на страже народных интересов. И это был главный итог развития русской журналистики в XVIII в.

* * *

В целом, к концу XVIII столетия сложилась система печати, достаточно гибкая, чтобы удовлетворить потребности читателя. Появились частные издания прогрессивного направления, установилась тесная связь литературы и журналистики. Из общего числа изданий обособились специальные журналы: хозяйственные, медицинские, детские и некоторые другие. Родилось совершенно оригинальное явление — русская сатирическая журналистика. Появились первые журналы в провинции («Ежемесячные сочинения» в Ярославле и др.).

Определились две основные линии: монархическая, крепостническая и оппозиционная, антикрепостническая и частично даже антимонархическая (Радищев). Оппозиционная печать по связям с общественным движением, передовой идеологией, несмотря на царскую цензуру, встала вровень с возникшей раньше ее по времени западноевропейской журналистикой.

Журналистика XVIII в. дала образцы язвительного памфлета, памфлета-пародии («Письма Фалалею» Новикова, «Похвальная речь в память моему дедушке» Крылова). Она показала богатые возможности эпистолярного жанра (Крылов, Фонвизин). Карамзин предпринял попытки в области интервью. Устами Ломоносова и Радищева сформулирован первый кодекс передового журналиста, журналиста-гражданина. XVIII в. в лице своих лучших представителей завещал последующим поколениям журналистов правдивость, гражданское достоинство, скромность как непрменные профессиональные качества.

Таким образом, XVIII в. сделал много.

Но общерусская печать нуждалась еще в значительном совершенствовании.

Газеты носили казенно-официальный характер, их было мало. Сама история журналистики складывается поэтому как история журналов по преимуществу. Журналы часто не умели обеспечить единство направления — важнейшее требование к прессе. Отсюда тяготение к моножурналу, т.е. журналу одного лица. Надо было осмыслить и в дальнейшем преодолеть исключительную связь общественно-политического журнала с литературой.

Много предстояло сделать по разработке типов журнала, развитию газетного дела.

Впереди было еще совершенствование многих жанров, разработка журнальной теории, видов и форм общения с аудиторией массовым читателем, дифференциации журналистского труда, преодоление цензурных ограничений.

Вопросы для повторения

1. Каково было значение петровских «Ведомостей» для русской журналистики? Какой характер носила информация в «Ведомостях»? Назовите первых журналистов-профессионалов.

2. Какова была роль М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики XVIII в.? Проанализируйте статью Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов...» (основные идеи, нравственные требования к журналисту).

3. Назовите наиболее значительные сатирические журналы Н.И. Новикова и И.А. Крылова. В чем разница во взглядах на сатиру Новикова и Екатерины II?

4. Перечислите основные жанры сатирических изданий XVIII в.

5. Какие нравственные качества хотел бы видеть Н.А. Радищев у граждан отечества?

Тексты для анализа

Петровские «Ведомости». № 1.

М.В. Ломоносов. Рассуждение об обязанностях журналистов...

Н.И. Новиков. Рецепт для Безрассуда. Копия с отписки. Копия с помещичьего указа. Письмо уездного дворянина.

И.А. Крылов. Похвальная речь в память моему дедушке.

Н.А. Радищев. Беседа о том, что есть сын Отечества.

Д.И. Фонвизин. Вопросы к издателю «Былей и небылиц».

Русская журналистика в начале XIX века

Мрачный режим павловской империи, деспотизм его правления, авантюризм во внешней политике вызывали неудовольствие даже среди части дворянства. В результате дворянского заговора в 1801 г. Павел I был убит, и престол занял его сын Александр I.

При нем наступило некоторое оживление общественной жизни. Молодой царь высказывал либеральные идеи, а политический произвол предыдущего царствования, деспотизм Павла I заставляли говорить самых высокопоставленных дворян о необходимости твердых законов и даже конституции. В этих условиях несколько смягчается положение прессы и литературы. Количество журналов и альманахов увеличивается. Оппозиционные и либеральные настроения действительно передовой немногочисленной дворянской интеллигенции нашли известное выражение в организации ряда дружеских литературных обществ, в издании ими периодических и непериодических печатных органов («Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» и др.). Тем не менее вся журналистика по-прежнему фактически делилась на два направления: консервативно-монархическое и либерально-просветительское, демократическое.

«Вестник Европы»

Наибольшего внимания в первое десятилетие заслуживает новый журнал Карамзина «*Вестник Европы*» (с 1802 г.). Несмотря на политический консерватизм Карамзина, его журнал — явление примечательное. Прежде всего потому, что в нем появился отдел «Политика». Журнал носил характер литературно-политического, что было ново и перспективно. В момент нарастания агрессивных намерений Наполеона Карамзин успешно вел отдел иностранных новостей. Во внутривполитических вопросах его позиция укладывалась в либеральную платформу царя Александра I: Карамзин требовал более гуманного отношения к крепостным, осуждал жестокосердие помещиков, но не более. Руководящая роль русского дворянства в делах государства для него была несомненна.

Карамзин хорошо знал свою аудиторию — грамотного провинциального помещика, дворянина-горожанина — и успешно удовлетворял их интересы. В литературном отделе печатал произведения сентиментального направления, чем обеспечивал симпатии грамотных женщин-дворянок. При этом Карамзин ориентировался на высокие эстетические нормы, и журнал его был интересен для образованного общества. Внешнеполитический комментарий, мелкие заметки исторического характера, повести — наиболее интересные материалы его журнала. Он создал своего постоянного читателя, добился живости изложения, усовершенствовал русский литературный язык. Однако с уходом Карамзина в 1803 г. из журнала «*Вестник Европы*» потерял значение, оригинальность. За Карамзиным не оказалось сплоченной группы журналистов-единомышленников, которые продолжили бы его дело. Скоро журнал сделался сухим научно-литературным органом, защищавшим позиции классицизма.

Подлинно коллегиальные издания либерально-просветительской ориентации попытались издавать в начале века так называемые радищевцы. Это была группа наиболее оппозиционно настроенных дворянских писателей, среди которых выделялся И.П. Пнин. Они пытались возродить гуманистические принципы Радищева, хотя до прямой революционности Радищева не поднимались. Их издания: «*Свиток муз*», «*Периодическое издание*», «*Журнал российской словесности*» (1802—1805) — важная веха в истории журналистики начала XIX в. В изданиях радищевцев широко культивируют обозрение, инвективу, сатирические жанры. Но в целом журналистика не получает все еще достаточно мощного стимула для развития: оппозиционные журналы по-прежнему остаются исключительно литературными и к тому же недолговечными.

«Сын отечества»

Не стала таким стимулом и Отечественная война 1812 г., хотя журналистика периода войны заслуживает внимания. Общее сокращение количества изданий во время войны компенсировалось появлением журнала «*Сын отечества*», издаваемого Н.И. Гречем. Он соединил в себе известные достижения как журналов того времени, так и газет. Содержание его преимущественно связано с войной. Впервые появились корреспонденции с театра военных действий, публиковались обзорные статьи, посвященные ходу войны (особенно выделяются обозрения проф. А.П. Куницына «*Послание к русским*», «*Замечания на нынешнюю войну*»). Гражданский патриотизм — отличительная черта издания. Здесь печатались басни И.А. Крылова, посвященные войне («*Ворона и курица*», «*Волк на псарне*»), впервые печатались рисунки и карикатуры, посвященные ходу военных действий, изгнанию Наполеона из России.

С окончанием военных действий журнал перестраивался и принял литературный характер. Здесь стали сотрудничать некоторые будущие декабристы (К.Ф. Рылеев и др.).

Замечательным явлением в журналистике начала XIX в. явилась журналистика декабристов, дворянских революционеров, впервые поднявших с оружием в руках против царского самодержавия.

Конец XVIII — начало XIX в. было временем ломки феодально-абсолютистских учреждений в Европе. Не осталась в стороне от этого процесса и Россия. Передовые, лучшие люди из дворян понимали необходимость уничтожения крепостничества и самодержавной формы правления для дальнейшего прогресса России. Поэтому всю свою литературную и общественную деятельность они подчинили задаче обновления России, ограничения или свержения монархии. Для пропаганды своих идей, воспитания гражданского мужества у современников они использовали многие легальные журналы того времени: «Сын отечества», «Невский зритель», «Соревнователь благотворения и просвещения». Здесь они печатали свои литературные произведения, насыщенные острой социальной мыслью, направленные против института самодержавия («К временщику» Рылеева и др.).

«Полярная звезда»

Однако литературную и политическую программу им удалось в наиболее яркой форме осуществить не в журнале (журналы оставались под строгим надзором цензуры), а в альманахе, получившем название «Полярная звезда» (1823—1825). Издателями его были А.А. Бестужев и К.Ф. Рылеев. Принципы, на которых строился их ежегодный альманах, были очень близки журнальным принципам: строго соблюдалась коллегиальность, была учреждена так называемая внутренняя цензура, т.е. редколлегия, строго выдерживалось направление материалов, печатались только оригинальные произведения отечественных литераторов, было введено распределение доходов от издания в виде гонорара.

Политические идеи проводились исключительно через литературные материалы. Направление альманаху придавали аналитические обзоры русской литературы Бестужева. Они цементировали каждую книжку альманаха. Национальная самобытность и гражданская наполненность прежде всего требовались от произведений литературы. Воспитанию гражданских доблестей современников посвящались «Думы» Рылеева: «Рогнеда», «Иван Сусанин» и др. В альманахе печатались молодой А.С. Пушкин и другие поэты-романтики.

По оригинальности суждений о русской литературе, достоинству поэтических произведений альманах обратил на себя внимание в Европе. Переводы и перепечатки из «Полярной звезды» появлялись во Франции, Германии, Польше. Успех «Полярной звезды» в России породил множество подражаний. Среди русских альманахов заслуживают внимания: «Мнемозина» декабриста В.К. Кюхельбекера, «Русская старина» и др. Альманахам суждено было и в дальнейшем, вплоть до начала XX в., играть роль литературных и общественно-политических манифестов.

Декабристы-журналисты, декабристы-литераторы пытались использовать в целях революционной пропаганды и некоторые нелегальные формы публицистики: проект конституции под названием «Русская правда», агитационные песни революционного

содержания и др. Некоторые из них были обращены к солдатам тех полков, где служили офицерами декабристы.

Восстание декабристов в 1824 г. не увенчалось успехом. Многие декабристы были сосланы, а пять человек были повешены Николаем I.

Деятельность русской журналистики после подавления правительством восстания декабристов протекала в тяжелых политических и цензурных условиях. Кроме того, передовой журналистике пришлось преодолевать серьезное политическое противоборство консервативной печати во главе с Ф.В. Булгариным, Н.И. Гречем и О.И. Сенковским, которые в 30-е годы как бы составили реакционный триумvirат в журналистике. Их издания — газета «Северная пчела», журналы «Сын отечества» (после 1825 г.) и «Библиотека для чтения» (с 1833 г.) — составляли сильную конкуренцию передовой прессе А. Пушкина, Н. Полевого, Н. Надеждина и В. Белинского.

«Московский телеграф»

Первым среди прогрессивных журналов второй половины 20—30 гг. был «Московский телеграф» Н.А. Полевого. Начал издаваться он в канун восстания декабристов. Издателем его был выходец из купеческого звания, человек в высшей степени одаренный журналистскими способностями, получивший необходимые знания путем самообразования.

«Московский телеграф» был одним из наиболее удачных и популярных журналов после «Вестника Европы» Карамзина. В.Г. Белинский считал его лучшим от начала журналистики в России. По содержанию «Московский телеграф» носил **энциклопедический** характер. Полевой правильно понял, что время чисто литературного журнала проходит. Грамотный читатель интересовался уже и литературой, и политикой, и торговлей, и вопросами хозяйства. Надо было идти навстречу этому читателю. Еще Карамзин понимал, что успех журнала зависит от числа подписчиков, а это, в свою очередь, зависит от содержания журнала. Но одни журналисты шли навстречу читателю по пути приспособления к его невысоким еще вкусам. Так делали Булгарин, Сенковский. Другие шли сознательно на разрыв с массовым читателем, опираясь на узкий круг образованного дворянства. Так поступали дворянские аристократы. Полевой же принял заказ читателя на массовый разнообразный журнал, не отказавшись от того, чтобы идти впереди читателя, воспитывать его. Журналиста он называл «колонновожатым».

Полевой зарекомендовал себя как страстный адепт романтизма, как защитник раннего творчества А.С. Пушкина.

В политическом отношении Полевой добивался уравнивания в правах дворян с купечеством. Памятник двум героям борьбы против интервенции 1612 г. купцу Минину и князю Пожарскому, установленный в Москве на Красной площади, он считал символом русского государственного устройства. Однако дворянство не собиралось с кем бы то ни было делить государственную власть. Поэтому критика Полевым дворянства как класса, как сословия вызывала враждебное отношение правительства к журналу. И в 1834 г., придравшись к критической рецензии на пьесу драматурга Н.В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», правительство закрыло журнал Полевого.

«Телескоп»

В 1831 г. возник прогрессивный журнал «Телескоп». Издатель журнала профессор Московского университета Н.И. Надеждин сумел преодолеть односторонность эстетической теории романтизма и выдвигал в своем журнале идею нового искусства — искусства, близкого к действительной жизни, что позднее было определено как программа реализма. Надеждин придавал огромное значение литературному отделу журнала, пропаганде творчества Пушкина-реалиста. Но и его журнал был энциклопедическим по своему содержанию, структуре.

Одной из заслуг Надеждина было приглашение в журнал молодого В.Г. Белинского, с приходом которого особого успеха достиг литературно-критический отдел «Телескопа». Белинский обратил внимание на творчество молодого Н.В. Гоголя как родоначальника, яркого представителя нового направления в русской литературе. Одновременно Белинский смело критиковал бездарность и эпигонство в литературе. Это вызывало нескрываемый интерес к журналу, где он печатался. Дебют Белинского в «Телескопе» был настолько удачным, что Надеждин, уезжая за границу, поручил редактирование журнала молодому критику.

Работая в «Телескопе», Белинский приступил к созданию передовой теории журналистики в России. В статье «Ничто о ничем» он выдвинул как главное условие успеха прогрессивного журнала его направление. «Журнал без направления есть вещь нелепая», — заявил он, анализируя популярный в 30-е годы журнал Сенковского «Библиотека для чтения». Он провозгласил критику ведущим отделом общественного журнала своего времени, поскольку литература была доступна широким читательским кругам, и через критику публицист получал возможность влиять на публику, а кроме того, в критике по цензурным условиям легче можно было поставить вопросы социального развития и борьбы с крепостническим угнетением, самодержавием. «Без критики журнал есть образ без лица», — говорил он. Н.Г. Чернышевский позднее высоко оценил те номера «Телескопа», которые издавались при Белинском.

Орган Надеждина был закрыт правительством в 1836 г. за резко критический пафос по отношению к самодержавной России «Философического письма» П.Я. Чаадаева, опубликованного в журнале. Причем Чаадаев был объявлен сумасшедшим, а Надеждин был сослан без права заниматься журналистикой.

Важную роль в журналистике 30-х годов сыграл А.С. Пушкин. Он принял самое активное участие в изданиях своего времени и как поэт, и как публицист. Особенно ценной была его причастность к борьбе против Булгарина и Греча — приспособленцев-журналистов, служивших негласными агентами жандармерии и царского правительства. Пушкин плодотворно сотрудничал в «Литературной газете» А.А. Дельвига, сам редактировал несколько номеров этой газеты. Против Булгарина и Греча он выступал также в московском журнале «Телескоп». Его фельетоны «О записках Видока», «О мизинце господина Булгарина и о прочем» были важным вкладом в борьбу прогрессивной печати с печатью проправительственной, какой были органы Булгарина и Греча («Северная пчела» и др.), обывательской литературой и саморекламой.

«Современник» Пушкина

В 1836 г. Пушкин добился права издавать свой собственный журнал под названием «Современник». По условиям цензуры это был чисто литературный журнал. Пушкину не разрешили издавать общественно-политический журнал, а тем более газету, хотя он стремился к этому. Тем не менее орган печати, организованный поэтом, — примечательное явление. Пушкин повел «Современник» в традициях «Полярной звезды» декабристов, отдавая предпочтение русским авторам.

В журнал был привлечен Н.В. Гоголь как писатель и публицист. Статья Гоголя «О движении журнальной литературы» в первом номере «Современника» является ярким документом журнальной полемики передовой журналистики против журнального триумvirата. Пушкин печатает несколько полемических заметок, отбирает только оригинальные произведения отечественных авторов, широко публикует материалы об Отечественной войне 1812 г.; закладывает основы русского очерка, публикуя главы из «Путешествия в Арзерум»; высоко оценивает факт присоединения Кавказа к России, а не к Турции.

Читатели возлагали большие надежды на пушкинский «Современник». Положительно отозвался о первом номере журнала Белинский. Пушкин мечтал расширить программу издания, пригласить в журнал Белинского. Однако трагическая смерть Пушкина в 1837 г. помешала осуществлению журнальных планов поэта.

Вопросы для повторения

1. Охарактеризуйте журнал Н.М. Карамзина «Вестник Европы».
2. Какой журнал был ведущим в период Отечественной войны 1812 г.?
3. Перечислите издания, где сотрудничали декабристы. Какова роль А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева в журналистике декабристов?
4. Расскажите об участии в журналистике 1820—1830-х гг. Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча.
5. Почему журнал «Московский телеграф» назывался энциклопедическим?
6. В каком университетском журнале начал журналистскую деятельность В.Г. Белинский? Каковы были его взгляды на журнал как орган направления?
7. Чем поразило современников «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева?
8. Что представлял собой пушкинский журнал «Современник»?

Тексты для анализа

А.П. Куницын. Замечания на нынешнюю войну.

К.Ф. Рылеев. К временщику.

А.А. Бестужев. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов.

А.С. Пушкин. О журнальной критике. Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем. От редакции.

П.Я. Чаадаев. Философическое письмо. Письмо первое.

В.Г. Белинский. Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы. Николай Алексеевич Полевой.

Журналистика 1840-х годов

Журналистика 40-х годов XIX в. ознаменовалась важным шагом вперед, и связано это прежде всего с деятельным участием в ней Белинского.

Белинский первым, исходя из реальной обстановки 40-х годов, серьезно двинул вперед принципы журнализма. Он прекрасно изучил и оценил опыт Карамзина, Пушкина и Полевого — наиболее ярких журналистов первой трети XIX в.

В условиях нарастания противоречий крепостного уклада, усиления крестьянских бунтов против помещиков острее, чем при декабристах, встал вопрос о путях дальнейшего прогресса, путях развития России, о выработке правильной революционной теории.

В этих условиях сформировались такие идеологические течения, как «официальная народность» (М.П. Погодин, С.П. Швырев), «славянофилы» (И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков и др.), «западники» (В.П. Боткин, Т.Н. Грановский). В рядах «западников» очень скоро выделилась группа революционных демократов (Белинский, Герцен).

«Отечественные записки» Краевского

Каждое течение стремилось к изданию своих печатных органов ради изложения программных положений. Сторонники «официальной народности» были консервативны: ничего не хотели менять в жизни, только укреплять настоящее, т.е. самодержавие и православие. Славянофилы, критикуя многие недостатки русской жизни, пытались искать идеал общественного устройства в отдаленном прошлом, представляемом в идеализированном виде, отстаивая самобытность России. «Западники» видели образец общественного устройства в развитии мирным путем европейских буржуазных отношений. И только революционеры-демократы, желая европеизации России, не останавливались на буржуазном правопорядке, стремились к социализму, к справедливому обществу без эксплуатации и частной собственности. Однако в условиях 40-х годов, когда надо было еще подготовить широкое общественное мнение в пользу отмены крепостного права, просвещения и прогресса, «западники-либералы и революционные демократы могли сотрудничать вместе в таких изданиях, как журнал *«Отечественные записки»*. Журнал *«Отечественные записки»*, издававшийся с 1818 г. как исторический, далекий от злобы дня, обрел новую жизнь с 1838 г. под редакцией А.А. Краевского.

Первоначальный успех журнала был построен на противопоставлении «Библиотеке для чтения». Все, кто пострадал от бесцеремонности Сенковского и его союзников по триумvirату, объединились вокруг нового журнала и вступили в конкурентную борьбу с полуофициозной и подчас пошлой журналистикой, стоявшей на пути прогресса.

Главная сила популярности «Отечественных записок» связана с именем Белинского, который переехал из Москвы в Петербург и с 1839 г. начал активно сотрудничать в журнале как литературный критик и публицист. При нем энциклопедический журнал Краевского приобрел четкое направление, которое проводилось через все отделы журнала, но прежде всего через отдел критики и библиографии. Отсутствие в России других форм проявления общественной деятельности предопределяло в XIX в. такое значение литературы, литературной критики и библиографии. Вскоре в журнале приняли участие такие выдающиеся русские литераторы и журналисты, как Н.А. Некрасов, А.И. Герцен, И.И. Панаев, Н.П. Огарев. Здесь печатаются М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев и другие писатели.

Постепенно журнал становится рупором борьбы против крепостничества, рутины, застоя, азиатчины. Большую роль здесь сыграла защита гоголевского направления в литературе как направления критического реализма. Не менее важным оказалось критическое отношение к идеализму в области философии. Статьи Герцена по философским вопросам «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», опубликованные в журнале, были высоко оценены современниками как защита передового, материалистического мировоззрения. Белинский и Герцен истолковывают философию как алгебру революции.

Белинский выступает как активный полемист против всех противников прогресса, а также против апологетов буржуазных отношений, начинается полемика со славянофилами. Памятниками этой борьбы являются статьи Белинского «Педант», «Парижские тайны», «Ответ "Москвитянину"», годовые обзоры литературы и др. Белинский превратил «Отечественные записки» в политическую трибуну борьбы против крепостничества, подготовки общественного сознания к неизбежности отмены крепостного права. Разбирая произведения Лермонтова, Пушкина, Гоголя, он выстроил свою систему ценностей в русской литературе, дал глубокое истолкование их творчества.

Статьи Белинского были проникнуты горячей любовью к родине. Критик-публицист защищает человеческое достоинство в людях, просвещение, высокую нравственность; проповедует передовое искусство и литературу. Особенно удачно работает критик в жанре обзоров. Его статьи, по свидетельству современников, читали с жадностью. Были случаи, когда молодые люди перекупали право первому прочитать журнал с материалами Белинского. «Отечественные записки» скоро стали самым популярным журналом. В 1846 г. они имели 4 тысячи подписчиков. В условиях кризиса крепостнического строя публицистика Белинского и Герцена, стихи Некрасова явились важным фактором общественной жизни, борьбы за прогресс, социализм.

Однако политическая осторожность и эксплуататорские склонности Краевского заставили в 1846 г. уйти из журнала Белинского, Некрасова, Герцена и других.

«Современник» Некрасова

В 1846 г. Некрасов и Панаев приобретают у П.А. Плетнева журнал «Современник», основанный Пушкиным. Идейным руководителем журнала становится Белинский. 1847—1848 гг. — короткий, но самый замечательный период в журналистской и общественно-политической деятельности Белинского. Понять его можно только в свете знаменитого «Письма к Гоголю» — единственного произведения Белинского,

написанного без оглядки на цензуру и известного долгое время только в рукописных списках. В этом произведении публицист выступил в защиту гражданского значения литературы, против крепостников и самодержавной формы правления, против догматов православной церкви. Самыми важными, насущными задачами своей страны он провозгласил уничтожение крепостного права, отмену телесного наказания и введение элементарной законности. Осуществление этих требований обеспечило бы прогресс России. С этих позиций и оценивает Белинский состояние литературы, журналистики, ведет полемику со всеми, кто мешает общественному и социальному прогрессу страны. Его обзоры русской литературы за 1846 и 1847 гг., статьи по поводу последних произведений Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями») стали манифестом передового движения России, хотя многие литераторы не согласились с оценкой Белинского «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, увидев в этой книге важные религиозно-нравственные искания русского писателя.

После ухода Белинского из «Отечественных записок» журнал Краевского занял умеренно-либеральную позицию.

«Москвитянин»

Умеренную позицию занимали и возникавшие славянофильские журналы. Они издавались преимущественно в Москве — «Московский наблюдатель», «Москвитянин» и другие. Наиболее крупный из них «*Москвитянин*» в 40-е годы имел отдел «Духовное красноречие», защищал национальную самобытность России, печатал сербских, болгарских, чешских авторов. Ведущую роль в нем играли братья Аксаковы, Хомяков, И. Киреевский и другие. Славянофилы пытались оспаривать взгляды Белинского на поэму Гоголя «Мертвые души», его представления о прогрессе.

В 50-е годы в журнале печатался драматург Н.А. Островский, оригинальный критик Ап.А. Григорьев. Объективная оценка купечества, высоких нравственных качеств купцов, их жен, дочерей существенно дополняла привычную негативную картину жизни этого сословия.

Ап. Григорьев (позднее работавший в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха») как критик не примыкал ни к лагерю Белинского, ни к сторонникам аристократического, эстетического направления, считая, что литература, искусство отражают жизнь, передают цвет и запах эпохи, а критика ищет в произведениях искусства связь с действительностью. Однако идеалом считал не прогресс, а патриархальную самобытность, нравственную чистоту героев. Григорьев был проникновенным истолкователем пьес Островского, женских образов русской литературы.

Позднее славянофилы издавали несколько газет: «*Молва*» (1857), «*Парус*» (1859) и др. К сожалению, они быстро закрывались правительством за противопоставление жизни простого народа и господ (статья К. Аксакова «Опыт синонимов: Публика — народ» в газете «*Молва*»), за требование славянофилами свободы слова, гласности.

Вопросы для повторения

1. Что делало «Отечественные записки» лучшим журналом 1840-х годов?

2. В каких статьях В. Г. Белинский защищает прогресс и гоголевское направление в литературе?

3. Какими средствами в «Современнике» Н.А. Некрасова велась подготовка общественного сознания к отмене крепостничества?

4. Вспомните, какие журналы отмечены участием славянофилов в 1840—1850-е годы?

5. К чему сводилась полемика славянофилов и В.Г. Белинского вокруг «Мертвых душ» Н.В. Гоголя?

Тексты для анализа

В.Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1846 г. Ответ «Москвитянину»

К.С. Аксаков. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души. Опыт синонимов: Публика—народ.

Вольная русская пресса за границей. «Полярная звезда» и «Колокол» **А. И. Герцена**

А.И. Герцен, зарекомендовавший себя как талантливый публицист, философ и беллетрист уже в «Отечественных записках», оказался первым, кто сделал прорыв в области свободного слова в России.

Убедившись, что на родине нет настоящей свободы слова, и стремясь открыто поставить вопрос об отмене крепостного права, уничтожении старой бюрократии, журналист решил в конце 40-х годов уехать из России и стать эмигрантом.

Герцен оказался за границей в Канун революции 1848 г. Он полагал, что европейская революция выведет и Россию на путь прогресса. Однако этого не произошло. Сама революция 1848 г. не увенчалась успехом, буржуазия осталась у власти, и трудящиеся не получили ожидаемого освобождения от власти аристократов и буржуазии. Буржуазные порядки оказались живучими. Герцен очень тяжело переживал крах своих надежд на успех в революции 1848 г. Писатель испытал определенную «духовную драму», разочаровавшись в результатах борьбы народных масс во Франции. Тем не менее он остается за границей, постепенно преодолевает свою душевную травму, свой духовный кризис. Вскоре Герцен приходит к мысли, что Россия раньше других стран сможет прийти к социализму, опираясь на свои революционные традиции, используя в качестве ячейки социализма русскую земельную общину. Добившись освобождения крестьян от крепостного состояния, наделив их землей, передав им всю землю, Герцен полагал достигнуть социалистического правопорядка. Идея русского утопического социализма поддерживает Герцена в его дальнейшей практической деятельности. Он надеется, что и другие славянские народы с помощью великого русского народа, сбросившего иго самодержавия, также пойдут по пути прогресса и процветания.

Герцен все больше укрепляется в мысли, что «слово есть тоже Дело». Уже в 1849 г. у него возникает план организации русской свободной печати за границей, но осуществлено это намерение было только в 1853 г.

Первоначально Герцен решил ознакомить Европу с положением дел в царской России, показать и нелепость крепостнических отношений, и наличие революционных сил, традиций в русском народе. Он печатает брошюры «Россия», «Русский народ и социализм», большую книгу на французском языке «О развитии революционных идей в России». Затем выдвигает новую задачу — издание революционной литературы для России. Публикует листовку-воззвание «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси». Герцен убеждает русских передовых людей воспользоваться его типографией, призывает к сотрудничеству. «Все, написанное в духе свободы, будет напечатано», — обещает он. Вскоре Герцен печатает листовки и брошюры: «Юрьев день! Юрьев день!», «Крещеная собственность». В них он порицает крепостничество, защищает идею общинной солидарности, выдвигает требование передачи земли крестьянству. Если дворяне не поймут необходимости отмены крепостного права, утверждает он, то дело будет решено топором мужика.

Значительным документом революционной пропаганды была прокламация «Поляки прощают нас», выпущенная Герценом. Здесь речь шла о законности борьбы польского народа против царизма, об общности революционного дела польского и русского народов. Русские революционеры, заявляет Герцен, будут бороться за польскую свободу вместе с поляками.

«Полярная звезда» Герцена

Наконец в 1855 г. было предпринято издание периодического альманаха «Полярная звезда». Создание революционной печати было наиболее важной задачей Вольной русской типографии в Лондоне.

И в названии альманаха («Полярная звезда» — так назывался альманах декабристов), и в его обложке, на которой были изображены под сияющей звездой профили пятерых казненных декабристов, и в содержании номеров Герцен подчеркивал связь своего революционного издания с декабристами.

В первом номере «Полярной звезды» были опубликованы «Письмо Белинского к Гоголю», запрещенные стихи Пушкина «Вольность», «Деревня», стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», стихи и воспоминания декабристов, произведения самого издателя. «Полярной звезде» была предпослана программа. Главным в программе было «Распространение в России свободного образа мыслей». Эта программа должна была объединить вокруг Герцена все передовое общество в стране. Всего вышло семь номеров «Полярной звезды».

«Колокол»

В 1856 г. в Лондон приезжает друг Герцена Н.П. Огарев, чтобы принять участие в деятельности Вольной русской типографии. Учитывая оживление демократического движения после окончания Крымской войны, они вдвоем принимают решение издавать периодический орган, который будет выходить значительно чаще «Полярной звезды», и дают ему название «Колокол». «Колокол» стал выходить с июля 1857 г. Это была газета, которую печатали один-два раза в месяц, но иногда периодичность меняли, «Vivo voco!», т.е. «Зову живых!» провозглашали Герцен и Огарев в эпиграфе своей газеты. Позднее к нему присоединился еще один: «Земля и воля», что выражало главное требование

«Колокола» по крестьянскому вопросу. В программе издания выдвигались три основных требования:

«Освобождения слова от цензуры!

Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного сословия <т.е. крестьян> — от побоев!»

Герцен с первых же номеров развернул в «Колоколе» критику крепостников-помещиков, всего государственного строя царской России. Особенно остро критикует он помещиков, их жестокое отношение к крестьянам, царских сановников-казнокрадов, глухих к страданиям народных масс. Вместе с тем Герцен еще надеется в среде передового дворянства найти по примеру декабристов людей, способных заставить правительство отказаться от своей жестокой политики по отношению к собственному народу.

Герцен много сделал для развития газетно-журнальных жанров революционного издания. У него появился прообраз передовой статьи. Он ввел много рубрик: «Под суд», «Правда ли?», «Под спудом», очень ярким сделал отдел мелких критических корреспонденции под названием «Смесь», успешно использовал памфлет, мастерски вел комментирование сообщений из России. Горячий патриотизм был основой всех разоблачений Герцена, его критики.

Однако Герцену присущи в это время были и определенные иллюзии. Он еще верил в добрые намерения дворянского царя Александра II, он еще полагал возможным прогресс страны по доброй воле дворян, надеялся на отмену крепостничества «сверху». В конце 1850-х годов Герцен обращается с рядом открытых писем к царю, где выражает свою надежду, что царь не позволит дальше обманывать себя и даст свободу крестьянам. Надо сказать, что уже сам факт обращения частного лица, журналиста, к царю-самодержцу всея Руси как равному гражданину было невиданной дерзостью. Такое обращение Герцена несло в себе революционный заряд, заряд непочтения. Но все же это была слабость Герцена, что было проявлением либеральных колебаний, надежд на добрую волю царя. Такая позиция Герцена вызвала протест со стороны последовательных русских демократов, какими были Чернышевский и Добролюбов. Но, конечно, эти либеральные ноты у Герцена были лишь отступлением от демократической линии, а не выражением существа его издания. Главная причина этих колебаний пояснена В.И. Лениным в статье «Памяти Герцена». Герцен, выехавший из России в 1847 г., не мог еще видеть в ней революционного народа: народ спал, задавленный веками крепостнического гнета. Но стоило Герцену увидеть революционный народ в шестидесятые годы, он твердо встал за революцию.

Реформа 1861 г., которую царское правительство все же вынуждено было провести и отменить крепостное право, сначала обрадовала Герцена, но анализ условий освобождения еще раз раскрыл глаза Герцену на антинародную политику в крестьянском вопросе правительства. Восстания крестьян против условий освобождения, которые снова закабалляли, обезземеливали их, заставили Герцена повести более решительно пропаганду революционной борьбы за волю и землю.

Герцен и особенно Огарев критикуют крестьянскую реформу 1861 г. «Народ царем обманут», — пишет «Колокол» в июле 1861 г. Герцен дает широкую информацию и комментарий к восстаниям в России против реформы. «Русская кровь льется», — пишет Герцен о карательных мерах царского правительства. Особенно его потрясло восстание в селе Бездна, где были расстреляны крестьяне и убит их предводитель Антон Петров.

Теперь Герцен и Огарев прямо обращаются к русскому народу и революционной молодежи с призывом к восстанию против самодержавия. Герцен осуждает правительство за арест и ссылку вождя русской демократии — Н.Г. Чернышевского. Огарев пишет ряд прокламаций, обращенных к войску, молодежи. «Заводите типографии!», — советуют они революционерам в России. Герцен решительно рвет с либералами (Тургеневым и др.), которые встали на сторону правительства.

Особенно ярко революционные убеждения Герцена и Огарева проявились в связи с польским восстанием 1863 г. Русское общество, в том числе либеральное, было охвачено патриотическим шовинизмом, царские войска жестоко расправлялись с повстанцами.

В этих условиях Герцен принял сторону повстанцев. Он привлек в «Колокол» В. Гюго для поддержки польского восстания. В. Гюго написал обращенные к русским войскам пламенные слова: «Перед вами не неприятель, а пример». Резко осудил «Колокол» главаря консервативной русской журналистики Каткова, который требовал расправы с мятежными поляками. Катков, в свою очередь, начал публичную дискредитацию идей Герцена.

Успех «Колокола» все годы издания был чрезвычайным. Россия, по свидетельству современников, была наводнена этой революционной газетой.

Однако в России революционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов не переросла в революцию — стихийные крестьянские бунты не могли привести к успеху. Царизму удалось справиться с кризисом, изолировать вождя русской революционной демократии Чернышевского, сослав его в далекую Сибирь.

В связи с таким положением в стране «Колокол» стал выходить реже и в 1867 г. перестает издаваться вовсе. Испытав сожаление, что революция в России не осуществилась, Герцен в последний год издания «Колокола» начинает все чаще обращаться к фактам революционной борьбы европейского пролетариата, деятельности I Интернационала, организованного К. Марксом. Особенно интересными в этом отношении являются «Письма к старому товарищу», написанные уже после закрытия «Колокола». Это обращение к концу жизни (Герцен умер в 1870 г.) к I Интернационалу подчеркивает чуткость русского журналиста ко всем новым фактам революционной деятельности на Западе. Но главная боль Герцена была в России: ни свободы, ни демократии в ней не осуществилось.

Следует отметить, что идеи Белинского и Герцена оказали большое воздействие на многих общественных и литературных деятелей народов России и славянских стран последующих десятилетий.

Вопросы для повторения

1. Сравните программу «Полярной звезды» и «Колокола».

2. Раскройте связь «Полярной звезды» с декабристами.
3. Проследите, какие изменения произошли в «Колоколе» после 1861 г.
4. Рассмотрите взаимоотношения А. И. Герцена с русскими революционными демократами в 1860-е годы.
5. Выделите наиболее яркие особенности стиля и организации материалов в «Колоколе» (характер заголовков, образность, эмоциональность речи, структура отдела «Смесь» и др.).
6. Раскройте значение Вольной русской типографии в Лондоне для русской журналистики.

Тексты для анализа

А.И. Герцен. Вольное русское книгопечатание в Лондоне.

Крещеная собственность.

Объявление о «Полярной звезде».

Предисловие к «Колоколу».

Под спудом.

Нас упрекают.

Very dangerous!!!

От редакции. Предисловие к письму из провинции.

Письмо из провинции.

Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ.

Журналистика эпохи реформ 60-х годов

Итак, в первой половине XIX в. закрепилось высокое социальное положение русской журналистики, определился тип литературно-общественного ежемесячника как ведущий в системе печати.

В журналистике много места занимает личностный элемент, авторитет лидера. Главной фигурой прессы становится литературный критик. Не издатель и редактор, а ведущий критик-публицист определяет направление, значение и авторитет издания.

По-прежнему мало издается частных газет, хотя появляются «Губернские ведомости» (с 1838 г.), некоторые специальные издания.

Происходит существенный прорыв в области свободы слова благодаря усилиям Герцена и его Вольной типографии в эмиграции.

Поражение России в Крымской войне обнажило крайнюю отсталость страны, находящейся в условиях крепостничества и самодержавия. Вторая половина 50-х годов знаменуется усилением революционного движения в стране, становится все более

ощутимой необходимостью социально-экономических перемен. Под напором освободительного движения и потребностей экономического развития многие представители господствующего класса начинают высказывать идеи об отмене крепостного права путем реформ сверху.

Идеи Белинского и его соратников о необходимости отмены, уничтожения крепостничества становятся общим достоянием. Теперь борьба развертывается вокруг условий освобождения крестьян. Русской журналистике здесь пришлось сыграть важную роль.

Среди помещиков все еще существовала большая прослойка консерваторов, которые хотели сохранить старые отношения в неизменном виде. Либералы стремились к освобождению крестьян от крепостной зависимости, обеспечив при этом максимум привилегий для помещиков и капиталистов. И только революционные демократы стремились к таким порядкам после уничтожения крепостничества, когда народ получает землю, политическую свободу, когда надежно ограждаются интересы народа, прежде всего крестьянства.

Каждое из этих направлений имело свои печатные органы: журналы и газеты.

«Русский вестник»

Органом либерально-консервативного направления, прежде всего, оказался журнал М.Н. Каткова *«Русский вестник»*, организованный в 1856 г. Журнал в канун реформ выступил за отмену крепостного права, устранение старой бюрократии, но при сохранении самодержавия и господствующего положения в стране дворян-помещиков.

После проведения крестьянской реформы Катков все больше поворачивает вправо. Активно выступает против демократов (особенно Герцена и Чернышевского), порицает польское восстание 1863 г., заявляет себя патриотом-государственником. В журнале и газете *«Московские ведомости»*, которую он приобретает в аренду с 1863 г., Катков критикует любые антирусские действия и намерения европейских держав, восстает против внутренней смуты либералов, разоблачает крамолу. «Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие исключают «народную свободу», на самом деле она обеспечивает ее более чем всякий шаблонный конституционализм».

«Мы называем себя верноподданными», — с гордостью утверждал публицист. Такая позиция находила немало сторонников, авторитет Каткова-журналиста был достаточно высок.

Либеральные позиции заняли «Отечественные записки» Краевского, газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Наше время» и другие.

«Современник» 1850—1860

Но самым важным, ярким и значительным по содержанию, влиянию на общество был демократический журнал *«Современник»*, редактором которого по-прежнему оставался Н. Некрасов. Пережив годы «мрачного семилетия» (1848—1855), жестокую политическую реакцию, тормозившую развитие передовой русской журналистики после европейской революции 1848 г., Некрасов уже в середине 50-х годов предпринимает ряд мер к оживлению журнала, привлекает к исключительному сотрудничеству в нем видных

писателей: И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого и др., открывает юмористический отдел «Ералаш» (где впервые появляется литературный персонаж-пародия Козьма Прутков), ищет и находит новых сотрудников.

В 1854 г. в «Современнике» начинает сотрудничать Н.Г. Чернышевский — великий революционер-демократ, сначала как литературный критик, а затем как публицист, политик и организатор всех революционных сил в стране. Чернышевский начал с того, что возродил принципы Белинского как в литературной критике, так и в журналистике. Он начинает при поддержке редактора Некрасова борьбу за демократизацию самого «Современника» («Об искренности в критике», «Очерки гоголевского периода русской литературы» и другие статьи). Дает бой оказавшимся в годы реакции в журнале представителям дворянской эстетики, либеральным беллетристам. Большое значение имели идеи его диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности», философские работы «Антропологический принцип в философии» и др. Некрасов поддерживает молодого сотрудника, и постепенно либералы, включая Тургенева, один за другим начинают покидать «Современник».

С приходом в журнал в 1858 г. Н.А. Добролюбова позиции революционных демократов значительно усиливаются.

К 1859 г. противоречия русской жизни настолько обострились, что в стране сложилась революционная ситуация, когда крестьянское восстание против крепостничества, помещиков становилось все реальнее.

В эти годы особенно важную роль начинает играть «Современник» как центр передовой идеологии, идейный штаб освободительного движения. В журнале идет внутренняя и внешняя перестройка в целях наиболее успешного ведения революционной пропаганды. Вопросы, связанные с обсуждением крестьянской реформы, условий освобождения крестьян от помещиков, которые постоянно обсуждались в журнале с 1857 г., фактически снимаются с повестки дня. Они уступают место пропаганде революции, восстания как наиболее радикального средства преодоления гнета помещиков.

Чернышевский уже в это время понял, что реформа, которую в страхе перед натиском революции готовят самодержавное правительство и помещики, будет обманом: коренные интересы народа не будут удовлетворены. Исходя из этого он и начинает идейную подготовку крестьянского восстания.

Неизменно осуждая, разоблачая помещиков-крепостников, журнал, тем не менее, главный удар наносит в это время по либеральной идеологии, понимая, что либералы своей политикой соглашательства могут свести на нет все усилия демократии, народа. В журнале открывается отдел «Политика». Его начинает вести Чернышевский, передав отдел литературной критики под руководство

Добролюбова. Анализируя в отделе «Политика» события европейской истории, факты классовой борьбы народов, Чернышевский убеждает своих читателей в неизбежности революции, необходимости изоляции либералов.

Добролюбов в своих критических статьях, таких как «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?» и др., развенчивает крепостничество, порицает либералов за нерешительность и предательство народных

интересов, воспитывает веру в освободительные силы народа, который не может без конца терпеть своих угнетателей. Используя сюжет романа Тургенева «Накануне», критик призывает бороться против «внутренних турок», не верить реформам правительства. В 1859 г. Добролюбов при одобрении Некрасова организует в «Современнике» новый сатирический отдел (фактически журнал в журнале) под названием «Свисток». И этот отдел был направлен прежде всего против русского и международного либерализма, всех носителей реакционных, антинародных идей. Здесь Добролюбов проявил себя как талантливый поэт-сатирик.

В статьях политического содержания Добролюбов, анализируя опыт исторического развития передовых европейских стран, приходит к выводу об общих революционных путях преодоления сопротивления эксплуататорских классов как в Европе, так и в России («От Москвы до Лейпцига»). Особенность России должна заключаться только в более решительной и последовательной борьбе с эксплуатацией, либерально-буржуазным соглашательством.

Чернышевский и Добролюбов достигают большого совершенства в методах революционной пропаганды. Примером революционной пропаганды в условиях царизма, жестокой цензуры может служить статья Чернышевского «Не начало ли перемены?» По форме — это литературно-критическая статья, посвященная народным рассказам писателя Н. Успенского. Но в эту форму критической статьи писатель-революционер сумел вложить острую оценку состояния страны, идею неизбежности революции для удовлетворения справедливых требований русского народа. По ходу анализа литературных источников Чернышевский цитирует в статье стихотворение «Песня убогого странничка» из поэмы Некрасова «Коробейники», в котором есть такие слова:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?

Холодно, странничек, холодно,

Холодно, родименький, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?

Голодно, странничек, голодно,

Голодно, родименький, голодно! И т.д.

И затем он спрашивает воображаемого крестьянина: «А разве не можешь ты жить тепло? Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь?» (ПСС Т.7. С. 874). А ведь вопрос о земле — один из коренных вопросов русской (да и не только русской) революции.

Стремясь разбить представление о русском мужике как забитом и пассивном существе, Чернышевский прибегает в статье к аллегории, сравнивая народ с безропотной смирной лошастью, на которой всю жизнь возят воду. Но «ездит, ездит лошадь смирно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет...». Так и в жизни самого смиренного человека, народа бывают минуты, когда его нельзя узнать, ибо «не может же на век хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении». Без таких выходов не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Такой порыв это и есть

революция, которая «в пять минут передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы мерным, тихим шагом» (там же. С. 881—882). И чтобы не оставалось у читателя сомнений в том, что речь идет о социальном поведении людей, Чернышевский призывает вспомнить освободительный порыв народа в Отечественную войну 1812 г. Не менее показательны с точки зрения мастерства революционера-публициста статья «Русский человек на rendez vous» и многие другие. Аллегория, иносказание очень часто оказывались надежным средством революционной пропаганды.

Бесспорно мастерство Чернышевского, умевшего в подцензурной печати говорить о революции, воспитывать своими статьями настоящих революционеров.

Не менее ярко отразились идеи революции в статьях и рецензиях Добролюбова. В качестве примера можно назвать статью Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», отмеченную горячей симпатией критика к борцам за счастье народа — Инсарову и Елене Стаховой.

Популярность «Современника» в 60-е годы была исключительно велика. Тираж журнала доходил до 6—7 тысяч экземпляров. Чернышевский печатал специальные отчеты о распространении журнала и упрекал те города и местечки, где не выписывали журнал, не получали ни одного экземпляра, хотя и понимал, что не все желающие могли найти средства для подписки,

Значение «Современника» в истории русской журналистики исключительно велико. Это был один из лучших журналов XIX в. Главными его достоинствами были полное идейное единство, строгая выдержанность направления, преданность интересам народа, прогресса и социализма. Небывалое значение приобрела публицистика. Здесь были напечатаны лучшие статьи русской публицистики, многие стихи Некрасова, роман Чернышевского «Что делать?», здесь началась сатирическая деятельность великого русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Все годы издания «Современника» цензура зорко следила за ним, в 1862 г. журнал был приостановлен за революционное направление на шесть месяцев, а в 1866 г., уже после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского, был вовсе закрыт с нарушением законодательства о печати по личному распоряжению царя.

Лидеры журнала — Некрасов, Чернышевский, Добролюбов имели исключительный авторитет и влияние на современников. Статьи Чернышевского, Добролюбова, стихи Некрасова читали с увлечением передовые деятели других народов, населявших Россию и славянские страны. Дело в том, что процесс развития освободительных идей в России 60-х годов совпал с пробуждением гражданской активности народов Украины, Закавказья, Поволжья, частично Средней Азии, борьбой за национальную и социальную независимость Болгарии, Польши, Сербии и других славянских народов. Огромно было влияние Чернышевского и Добролюбова на Л. Каравелова, Х. Ботева, С. Сераковского, С. Марковича и многих других. Сама Россия из оплота реакции становилась важным фактором революционного движения в Европе.

Последовательная борьба против пережитков феодализма, угнетения, эксплуатации, иностранного порабощения, критика стратегии и тактики буржуазных либералов,

революционная одушевленность, самоотверженность, бескорыстие предопределяли это влияние.

«Русское слово»

Вторым журналом революционной демократии 60-х годов XIX в. явилось *«Русское слово»*. Журнал был организован в 1859 г., однако демократический характер приобрел только в 1860 г. с приходом нового редактора Г.Е. Благосветлова. Благосветлов — типичный разночинец. Сын бедного священника, рано оставшийся без материальной поддержки, самостоятельно закончивший Петербургский университет, но не нашедший из-за демократических убеждений и политической неблагонадежности места на казенной службе.

Журнал «Русское слово» имел научно-популярный уклон. Здесь наряду с вопросами литературы и литературной критики большое внимание уделяли естественнонаучным знаниям, фактам научной жизни. Он был весьма популярен среди учащейся молодежи и в русской провинции. Изменив состав сотрудников, Благосветлов сумел поднять тираж журнала с 3 до 4,5 тысячи экземпляров. Наиболее удачным решением редактора было приглашение в журнал на роль ведущего критика Д.И. Писарева.

Вступая в русскую журналистику в ответственный момент русской общественной жизни 60-х годов, критик должен был определить свое место среди основных борющихся направлений. И он его определил как союзника «Современника» и Чернышевского, о чем прямо заявил во второй части одной из первых больших статей, опубликованных в «Русском слове», «Схоластика XIX века».

Писарев выступил адвокатом «голодных и раздетых» людей, сторонником раскрепощения личности от любых социальных и семейных стеснений и уз. Прежде всего он защищал умственное раскрепощение человека от догм и нравственных понятий, порожденных крепостничеством. Борцы за свободу человечества от умственной темноты, угнетения (Вольтер, Гейне) заслуживают самой высокой оценки критика.

Накануне крестьянской реформы 1861 г. Писарев выступает в защиту авторитета Герцена, резко отрицательно отзываясь о династии царствующего дома Романовых в России, вообще об обществе, разделенном на классы, где один присваивает себе плоды труда другого (см. статьи «О брошюре Шедо-Ферроти», «Пчелы»). Писарев выступает защитником материализма.

В статье по поводу брошюры наемного писателя Шедо-Ферроти Писарев прямо призывал к свержению русского самодержавия. За попытку опубликовать эту работу в нелегальной типографии публицист был заточен на четыре года в Петропавловскую крепость.

Писарев много размышлял о потенциальных способностях русского крестьянства к революционной борьбе. Отсутствие сознания в массе народа публицист считал большим недостатком и стремился к пропаганде знаний в максимальных размерах, веря, что знания сами по себе такая сила, что человек, овладевший ими, неизбежно придет к признанию социально полезной и революционной Деятельности, направленной против царизма и эксплуатации.

Писарев выступает талантливым критиком, истолкователем творчества многих русских писателей: Л. Толстого, Тургенева, Островского, Достоевского, Чернышевского. В канун реформы и после нее он защищает тип разночинца в литературе, тип новых людей, подобных Базарову из романа Тургенева «Отцы и дети», а затем героя романа Чернышевского «Что делать?» Рахметова и др. Он пропагандирует литературные персонажи, которые, будучи реалистами, людьми, умеющими трудиться, приносить пользу людям в любое время, способны стать деятелями революции во время прямой борьбы масс за социальную справедливость и обновление (статьи «Базаров», «Реалисты», «Мыслящий пролетариат»). Известна его талантливая защита образа Базарова и всего романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева в полемике с критиком «Современника» М.А. Антоновичем.

Будучи последователем Белинского, критик выступает за искусство, верное правде жизни, реализм, высокую идейность и нравственность.

Самым решительным образом порицал Писарев так называемое «чистое искусство».

Вместе с тем Писарев — сложная, противоречивая фигура. Ему свойственны определенные увлечения и прямолинейность в пропаганде своих убеждений, утилитарность, ошибочность некоторых отрицаний.

Писарев обладал исключительным талантом полемиста, и поэтому многие работы нельзя рассматривать без учета этого обстоятельства. Ряд так называемых заблуждений Писарева был лишь нарочитым полемическим заострением проблем. Любил Писарев и парадоксальную постановку вопросов.

В целом же Писарев был не менее стойким и последовательным борцом против феодализма и его порождений во всех сферах жизни, его пережитков в русской жизни после 1861 г., чем ведущие сотрудники «Современника». Публицист глубоко разбирался в социальных процессах и вопросе о движущих силах русской революции, особенно в условиях окончания революционной ситуации 60-х годов. Его скептицизм по поводу готовности русского крестьянства к революции оказался исторически оправдан.

Наряду с Писаревым в журнале «Русское слово» выступали в защиту «голодных и раздетых» Н.В. Шелгунов, В.А. Зайцев, Н.В. Соколов, П.Н. Ткачев. В качестве постоянного иностранного обозревателя плодотворно сотрудничал французский репортер и публицист Эли Реклю.

Антимонархическая, антифеодалная позиция журнала не раз вызывала репрессии царизма. Одновременно с «Современником» Некрасова «Русское слово» прекращалось на 6 месяцев в 1862 г. и было окончательно закрыто в 1866 г.

«Время»

В 60-е годы свою журналистскую деятельность начал русский писатель Ф.М. Достоевский.

Вместе с братом Михаилом в 1861—1863 гг. он издавал журнал «Время». Здесь были опубликованы «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского, «Житейские сцены» Н.А. Плещеева, «Грех да беда на кого не живет» А.Н. Островского и др. Большое место отводилось французской уголовной хронике,

мастерски обработанной в редакции; в статьях затрагивались вопросы воспитания молодежи; имелись отделы внутренних новостей и иностранных известий. Журнал был разнообразным и интересным для публики и собирал до четырех тысяч подписчиков.

Достоевский вел критику, полемизировал с Добролюбовым по вопросам искусства, литературы.

Существенную роль в журнале играл критик-идеалист Н.Н. Страхов, который с согласия издателей защищал некую особую самобытность русского народа, развивал идеи так называемого почвенничества в противовес западничеству, умозрительному западноевропейскому утопическому социализму. Журнал утверждал, что беда России не в крепостном праве (тем более что оно отменено), а в отрыве интеллигенции от народа. Он обвинял «Современник» в беспочвенности, в стремлении привить русскому народу западноевропейские болезни, и хотя «почвенники» не были однородны по своим взглядам, но их объединяло именно несогласие с революционными демократами.

Страхов особенно горячо возражал против материального подхода к улучшению жизни народа. Изменение положения масс должно идти через моральное, религиозное усовершенствование: мир нельзя исцелить ни хлебом, ни порохом, а лишь «благой вестью». Терпение русского народа истолковывалось как заслуживающая одобрения добродетель, свою враждебность к нигилистам Страхов, по собственному признанию, старался передать и Ф.М. Достоевскому.

Вместе с тем журнал высмеивал консервативные мнения Каткова, его страх перед «Современником». Журнал возражал К. Аксакову, оспаривая мысли статьи «Публика — народ» о крайней противоположности идеалов и привычек народа и привилегированной части населения, господ.

Салтыков-Щедрин, Антонович в «Современнике» не раз выступали против непоследовательности позиции «Времени», консервативности ряда пунктов его социальной программы, отрицания необходимости борьбы.

В 1863 г. в связи с освещением в журнале причин польского восстания журнал был закрыт правительством. Но Ф.М. Достоевский продолжил свою издательскую деятельность, предприняв ежемесячник под названием «Эпоха», который выходил два года (1864—1865). Журнал «Эпоха» продолжал защищать идеи почвенничества, обсуждал новую судебную реформу и активизировал полемику по ряду вопросов с демократическими журналами «Современник» и «Русское слово».

«Искра»

Эпоха революционного одушевления 60-х годов привела к появлению в стране большого числа сатирических изданий. Наиболее выразительным по форме и по содержанию был еженедельный журнал под названием «Искра» (1859—1873). Его издателями были известный поэт-переводчик Беранже Василий Курочкин и художник-карикатурист Николай Степанов.

Журнал выступал как союзник «Современника» и «Колокола». В предреформенные годы критиковал крепостников, либеральные заигрывания царских министров (пользуясь кризисом верхов), отдельные факты беззакония как в столице, так и в провинции. «Искра» отличалась хорошим знанием провинциальной жизни, ее сатира была точной по

адресу и остроумной по форме. Сатирические рисунки и подписи к ним разоблачали многие язвы русской жизни: цензурный произвол, недостатки просвещения, паразитизм дворянства, реакционную прессу, бюрократизм. Широко применялись пародии и перифразы известных стихотворений поэтов чистого искусства (Фета и др.) для борьбы против реакционных тенденций в литературе и политике. Особенно усилилась антимонархическая направленность материалов «Искры» после крестьянской реформы 1861 г.: «Искра» поняла грабительский характер реформы. Это привело к преследованиям цензуры. Министерство внутренних дел заставило некоторых сотрудников отказаться от продолжения сотрудничества в журнале в 1865 г., а в 1870 г. журналу было запрещено помещать карикатуры. Это серьезно подорвало популярность издания, хотя журнал продолжал издаваться до 1873 г. Авторитет «Искры», по свидетельству современников, был чрезвычайно велик, действенность ее материалов высока. Слова: «"Искра" получена» были страшны многим крупным чиновникам, губернаторам и другим администраторам всех рангов.

Заслуживают высокой оценки фельетоны в стихах и прозе поэта В.И. Богданова (автора известной песни «Эй, дубинушка, ухнем»), посвященные международным событиям 60—70-х годов, — революционной борьбе во Франции, освободительной борьбе латиноамериканских стран и др.

Русские журналисты последующих поколений высоко ценили роль и традиции «Искры» как сатирического издания.

В 60-е годы заслуживают внимания и такие сатирические журналы, как «Будильник», «Гудок», и некоторые другие.

Вопросы для повторения

1. Когда началась самостоятельная редакционно-издательская деятельность М.Н. Каткова, аренда газеты «Московские ведомости», организация журнала «Русский вестник»?

2. Какие изменения произошли в журнале «Современник» Н.А. Некрасова в конце 1850 — начале 1860-х годов?

3. Перечислите основные проблемы статей Н.Г. Чернышевского по крестьянскому вопросу.

4. Какой смысл вкладывал Н.А. Добролюбов в понятие «реальная критика»?

5. С какой целью был организован отдел «Свисток» в журнале «Современник»?

6. Был ли журнал «Русское слово» Г.Е. Благосветлова союзником «Современника»?

7. Каковы особенности публицистики Д.И. Писарева?

8. В чем разница оценки романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в «Современнике» и в «Русском слове»?

9. Какое место занял в системе русской журналистики 60-х годов журнал братьев Достоевских «Время»? В чем заключалась теория «почвенничества»?

10. Полемика Ф.М. Достоевского с Н.А. Добролюбовым по вопросам искусства.

11. Укажите достоинства сатирического журнала «Искра».

Тексты для анализа

Н.Г. Чернышевский. Труден ли выкуп земли? Не начало ли перемены?

Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина?

М.А. Антонович. Асмодей нашего времени.

Д.И. Писарев. Базаров. Реалисты.

Ф.М. Достоевский. Ряд статей о русской литературе.

Журналистика пореформенной эпохи

Русское правительство, отменив в 1861 г. крепостное право, перешло к другим реформам: земской, судебной, военной пр., в числе которых оказалась реформа печати.

Первый закон о печати

В 1865 г. в России принимается первый закон о печати, который не носил еще окончательного характера и назывался «Временные правила о печати». По своему содержанию реформа печати была либеральной — отменялась предварительная цензура для столичных (Санкт-Петербург, Москва) журналов и газет, книг объемом более 10 печатных листов. Это новшество не распространялось на сатирические издания с карикатурами и всю провинциальную печать. Общее наблюдение за периодической печатью передавалось из Министерства просвещения в Министерство внутренних дел. За МВД оставалось право давать разрешения на новые издания, утверждать или не утверждать редакторов, делать предостережения изданиям, при третьем предостережении журнал или газету могли закрыть на срок до шести месяцев. Устанавливалась ответственность печати перед судом. Однако судебные преследования печати не получили распространения: административные меры были удобнее для правительства. Тем не менее, реформа способствовала дальнейшему росту печати, особенно либерально-буржуазного толка.

В судьбе русской журналистики суровую роль сыграл 1866 г. В связи с покушением революционно настроенного молодого человека Д. Каракозова на царя русское правительство перешло к политике особенно жесткой реакции: закрыло в 1866 г. два лучших прогрессивных журнала: «Современник» и «Русское слово».

Революционная демократия постаралась возродить прогрессивную журналистику, и это ей удалось, преодолев ряд трудностей. Бывший редактор «Русского слова» Благосветлов с конца 1866 г. стал издавать демократический журнал «Дело», а Некрасов — редактор «Современника» — в 1868 г. приступил к изданию журнала «Отечественные записки», взяв его в аренду у Краевского.

Окончательно сложился тип общественно-политического и литературного ежемесячника с развитым отделом публицистики, рассчитанного на мыслящих людей, интеллигенцию. Поэтому история подобных журналов тесно связана с историей общественной мысли. Определенная часть публицистов журналов и газет все чаще

начинает обращаться к вопросам религиозно-нравственного порядка (Ф.М. Достоевский, Вл.С. Соловьев, В.В. Розанов и др.). Увеличилась коллегиальность в руководстве журналами, хотя персональная роль лидеров в журналистике сохраняется (Катков, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Михайловский, Короленко и др.).

Одновременно растет газетное дело, увеличивается число ежедневных изданий разного типа, обеспечивающих потребность в информации растущей аудитории.

Нужды революционного движения, реакционная политика царизма по отношению к оппозиционному печатному слову вынудили русских революционеров уже в 1868 г. приступить к изданию ряда бесцензурных нелегальных революционных газет и журналов, сначала в эмиграции, а затем и в самой России.

Таким образом, система русской печати стала еще более разветвленной и сложной. По-прежнему она складывалась из трех основных направлений: консервативно-монархического («Русский вестник», «Московские ведомости», «Гражданин» и др.), либерально-буржуазного («Вестник Европы», «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русские ведомости» и др.) и демократического («Искра», «Отечественные записки», «Дело»).

Монархическая и позднее буржуазно-монархическая печать стояла на позициях безоговорочной защиты монархии, дворянства, национального и социального угнетения трудящихся. Она была представлена прежде всего изданиями Каткова — лидера русских журналистов-консерваторов-монархистов («Русский вестник», «Московские ведомости»), князя В.П. Мещерского («Гражданин»), А.С. Суворина («Новое время») и др.

Либеральная печать была заявлена, пожалуй, наибольшим числом изданий: «Вестник Европы», «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русские ведомости», «Новости и биржевая газета», значительная часть провинциальной прессы (Одесса, Воронеж, Казань, Иркутск).

К этой группе примыкали появившиеся во второй половине XIX в. массовые, дешевые издания для простонародья: «Петербургский листок», «Развлечение». Массовая аудитория вызвала к жизни различные еженедельники (юмористические, иллюстрированные, спортивные, театральные). Подобные издания выпускали и либеральные деятели, и люди без ясно осознанной направленности, партийности. Развлекательный, коммерческий характер ряда изданий маскировал их буржуазную (а иногда и монархическую) сущность. Но именно развитие капитализма после реформ 1860-х годов определило интенсивное появление различных типов буржуазной журналистики.

Однако по-прежнему ведущее положение (конечно, не по числу изданий, а по содержанию) занимала печать демократическая, поскольку она наиболее последовательно защищала интересы основной массы трудящихся города и деревни.

Борьба против остатков крепостничества, феодализма, против помещиков-латифундистов, национального угнетения, борьба против новых эксплуататоров-капиталистов, кулаков, царской чиновничьей бюрократии, реакционных тенденций в искусстве и литературе составляла главное содержание передовой демократической

журналистики, и прежде всего «Отечественных записок» — лучшего журнала пореформенной эпохи.

«Отечественные записки» Некрасова

Журнал «Отечественные записки» возглавлял Некрасов. В качестве соредкторов выступали Сал-тыков-Щедрин и Елисеев, Журнал сохранял верность лучшим традициям журналистики 60-х годов. Его демократизм определялся враждой ко всем остаткам крепостнических отношений. Прежде всего он выступал против обезземеливания крестьян, против сословной неравноправности основной массы русского населения, высоких налогов, особенно выкупных платежей за землю.

Вместе с тем журнал протестовал против новых эксплуататоров — хищников-предпринимателей, пришедших на смену крепостникам.

Отметили сотрудники журнала и появление рабочего вопроса в России, хотя много внимания ему не уделяли, оставаясь по преимуществу идеологами трудового крестьянства, сторонниками крестьянской революции, общинного социализма.

Будучи легальным журналом, «Отечественные записки» поддерживали тех деятелей, которые действовали в подполье, вели мужественную прямую борьбу с самодержавием, особенно в годы второй революционной ситуации конца 70-х годов. Публикация поэмы Некрасова «Русские женщины», посвященной декабристам и их женам, мужественно разделившим с осужденными сибирскую ссылку, каторгу, была прямой моральной поддержкой тем революционерам, которые непосредственно боролись против самодержавия в 70-е годы.

Известное внимание «Отечественные записки» уделяли международному революционному движению, деятельности I Интернационала, марксизму. «Отечественные записки» уже в 1868 г. дали информацию о выходе книги «Das Kapital» К. Маркса на немецком языке. После выхода первого тома «Капитала» в 1872 г. в переводе на русский язык — это был первый перевод «Капитала» на иностранный язык — журнал напечатал несколько статей, связанных с книгой К. Маркса. Авторами этих статей были Н.К. Михайловский, В.И. Покровский и молодой Г.В. Плеханов. Однако всей глубины идей Маркса публицисты журнала не поняли, а Михайловский, будучи народником, выступил по вопросам марксизма, главным образом в полемических целях, одновременно используя критику капитализма в трудах Маркса. Как известно, народники отрицали прогрессивность капитализма в России.

Боевую позицию занял журнал в вопросах литературной критики. Здесь выступали Писарев, Салтыков-Щедрин и Михайловский. Все они были сторонниками реализма, критиковали теорию чистого искусства, искусства для искусства, натурализм и невзыскательность вкуса литературных ремесленников.

Журнал «Отечественные записки» постоянно печатал обозрения иностранной жизни французского публициста Шассена, уделял значительное внимание проблемам славянских стран, особенно Болгарии в связи с войной 1877—1878 гг. Все сотрудники журнала сочувствовали освободительной борьбе болгарского народа, помогали ему и желали победы, но вместе с тем использовали болгарскую тему для острой критики русских самодержавных порядков.

Особую роль в журнале «Отечественные записки» играла сатирическая публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина. Его публицистика — это подлинная летопись пореформенной России. Все жгучие проблемы русской жизни нашли отражение в публицистических циклах сатирика: «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Письма к тетеньке» и др.

Сатирик часто прибегал к гиперболе, фантастике, аллегории, другим формам эзоповского языка, в смешном и нелепом виде изображал представителей официальной бюрократии, много места отводил характеристике рождающегося русского капиталиста Дерунова. Много места по традиции «Современник» уделял разоблачению измен и предательств либерализма.

В связи с критикой либерализма писатель-публицист много внимания уделил характеристике либерально-буржуазной прессы, заклеив ее продажность в вымышленном, но очень точном названии газеты «Чего изволите?». Пародии его на содержание статей, фельетонов буржуазной прессы, ее язык, стиль занимают существенное место в сатирических очерках, опубликованных в «Отечественных записках» («В среде умеренности и аккуратности», «Современная идилия» и др.). Салтыков-Щедрин был глубоким критиком несовершенств буржуазной демократии, немецкого милитаризма, о чем ярко свидетельствует его книга очерков «За рубежом».

После смерти Некрасова в 1877 г. Салтыкову-Щедрину пришлось в сложной борьбе с либеральными народниками отстаивать прежнее направление «Отечественных записок», и он с честью выполнял эту задачу вплоть до закрытия царским правительством в 1884 г. передового русского журнала.

К демократическим изданиям этой поры принадлежит журнал «Дело» и газета «Неделя».

Оба эти издания шли в русле идей «Отечественных записок», что не лишало их своеобразия и оригинальности.

«Дело» и «Неделя»

Журнал «Дело» был менее категоричен в вопросах о развитии капитализма в России. Его публицистика признавала прогрессивный характер «свободной промышленности», хотя капиталистическая эксплуатация была не легче феодальной. Журнал уделял больше внимания вопросам науки, молодежи и женской эмансипации, положению рабочего класса.

Иностранную хронику успешно вел Эли Реклю — французский публицист-демократ, участник двух революций: 1848 и 1871 гг. Его сообщения передавались из горячих мест Европы, Северной Африки (Испания, Франция, Египет) и несли на себе яркий репортерский отпечаток. Преемственность с журналом «Русское слово» была очевидна.

Преодолевая особенно жесткие цензурные условия (материалы «Дела» подвергались вопреки закону предварительной цензуре), журнал сохранил демократическое направление до 1884 г.

Газета «Неделя» была прообразом позднейших газетных еженедельников. В 1868 г. она собрала интересный состав сотрудников из людей как радикального (П.Л. Лавров, Е.И. Конради, А.И. Герцен), так и умеренно-либерального лагеря (П.А. Гайдебуров). Под давлением цензуры постепенно состав сотрудников сменился, и с середины 70-х годов газета оказалась среди умеренно-либеральных, либерально-народнических изданий, развивавших культуртрегерскую программу «малых дел».

Вся демократическая печать последней трети XIX в. испытывала сильное влияние народнических идей. Народники отрицали развитие капитализма в России, видели зачатки социализма в крестьянской общине, не придавали значения классовой борьбе пролетариата, преувеличивали роль личности в истории. Но в 70-е годы они искренне сочувствовали угнетенному крестьянству, были в массе своей революционно настроены по отношению к самодержавию, искали пути насильственного свержения царизма, ликвидации пережитков крепостничества.

Бесцензурные периодические издания

Само революционное народничество, ушедшее в подполье, разделялось на несколько групп, отличавшихся друг от друга в основном тактическими установками на революцию. Это — бакунисты, или анархисты, лавристы, или пропагандисты, и группа П.Н. Ткачева, которая придерживалась бланкистских установок. Каждое из этих направлений стремилось к созданию своего печатного органа. Бакунисты уже в 1868 г. за границей организовали журнал *«Народное дело»*. История этого журнала особенно интересна в связи с тем, что после выхода первого номера в редакции наметились разногласия и лидеру анархизма М.А. Бакунину, организовавшему журнал, пришлось его покинуть. Руководство «Народным делом» перешло в руки группы русских эмигрантов во главе с Н. Утиным, учеником и последователем Чернышевского. Группа Утина, ознакомившись с программой и деятельностью I Интернационала, порвала с Бакуниным и продолжила издание «Народного дела» как органа Русской секции I Интернационала. Утинская группа не перешла на позиции марксизма, но идея международной солидарности трудящихся, борьба с социальным угнетением привлекали их в деятельности Интернационала и их издание сыграло определенную роль в пропаганде на русской почве принципов международной революционной организации. Просуществовало издание до 1870 г.

Бакунисты издавали еще два периодических органа за границей — журнал «Община» и первую революционную газету для народа «Работник».

П. Лавров и его сторонники издавали в 1873—1875 гг. журнал и газету под названием *«Вперед!»*. В этих изданиях защищалась идея подготовительной пропаганды социализма и революции в России силами народнической интеллигенции. Заслуга изданий Лаврова в широкой информации русского читателя о новых формах революционной борьбы в западноевропейских странах, публикации запрещенных в России произведений. Особенно выделяются две статьи Лаврова в газете «Вперед!», посвященные Парижской коммуне. Уделял внимание издатель и развитию социалистического движения в славянских странах.

Группа Ткачева издавала журнал-газету *«Набат»*. Публицистическая деятельность Ткачева обратила на себя внимание Ф. Энгельса, который в работе «Эмигрантская

литература» подверг серьезной критике социолого-теоретические и тактические представления этой группы русских народников.

Однако революционно-народническая печать в эмиграции не удовлетворяла нужды революционного движения в стране, и с 1878 г. делаются серьезные попытки создать тайные типографии и нелегальные периодические органы в самой России. Газета «Начало» была первой революционной газетой, издававшейся на территории страны. Ее преемницей стала газета «Земля и воля». Газета собрала лучшие силы революционного народничества. Здесь сотрудничали С.М. Кравчинский, Н.А. Морозов, молодой Г.В. Плеханов. Плеханов начинал свою революционную деятельность в рядах народничества, но позднее в 80-е годы перешел на позиции марксизма и, создав группу «Освобождение труда», стал первым пропагандистом революционного учения Маркса в России. Газета «Земля и воля» просуществовала недолго. Разногласия в рядах народников по проблемам политической борьбы и тактики индивидуального террора привели к расколу «Земли и воли», и вместо нее были созданы две организации и два издания: «Черный передел» и «Народная воля».

«Народная воля» — газета целенаправленная. Она отличалась тем, что ее основное содержание отражало жизнь и деятельность революционеров-террористов. Факты революционной борьбы подавались с налетом сенсационности. Газета издавалась с 1880 по 1885 г. Всего вышло 12 номеров и несколько «Листков «"Народной воли"». Члены этой организации (А.И. Желябов) издали три номера «Рабочей газеты» с целью привлечения на свою сторону людей из народа. Народовольцам, державшимся тактики индивидуального террора, удалось 1 марта 1881 г. покушение на Александра II, но именно их тактика в наибольшей степени обнаружила негодность народнических методов борьбы за социальную справедливость.

Покушение на Александра II позволило правительству расправиться с самим революционно-народническим движением и перейти снова к политике реакции, удушению всей демократической печати в России.

В последующие годы правительству удалось существенно ослабить легальную демократическую прессу. Особенно ухудшилось ее положение после введения новых Временных правил о печати 1882 г.

После закрытия в 1884 г. «Отечественных записок» и фактического прекращения журнала «Дела» всем демократическим журналистам, оставшимся на свободе, приходилось вплоть до революции 1905 г. печататься в изданиях, направление которых часто не соответствовало их мировоззрению, и через эти органы влиять на читателя. Это относится к Г. Успенскому, Н. Шелгунову, М. Горькому и др.

«Вестник Европы»

В это время начинают играть заметную роль такие журналы, как буржуазно-либеральный «Вестник Европы», журналы либерально-народнической ориентации «Русское богатство» и «Русская мысль». Именно они составили наиболее сильный отряд русских ежемесячников. Эти журналы отстаивали реформаторский путь дальнейших преобразований в стране, стремились к смягчению социальных противоречий. Введение конституции было главным политическим идеалом либеральной журналистики.

Все указанные ежемесячники сохраняли традиционный литературный отдел в своем составе и продолжали играть важную роль в развитии русской литературы и критики.

Наиболее крупный из них — «Вестник Европы», возникнув в 1866 г. как преимущественно исторический журнал, издавался М.М. Стасюлевичем — отставным профессором истории Петербургского университета. Профессия редактора-издателя надолго наложила отпечаток на характер журнала. Однако с 1868 г. он стал по своей структуре обычным ежемесячником второй половины XIX в. Первую часть каждого номера занимали беллетристика, статьи и очерки научного характера; вторая часть под названием «Хроника» включала в себя традиционные обозрения внутренней, иностранной жизни, литературную критику, библиографию и разного рода известия.

В журнале принимали участие такие видные писатели, как Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Островский, А. Толстой и др.

Часто помещал в журнале статьи известный искусствовед В.В. Стасов. В 70-е годы к сотрудничеству был привлечен Э. Золя как критик и обозреватель французской жизни («Парижские письма»). В середине 80-х годов стали печататься стихи и литературно-критические статьи Вл. Соловьева, в 90-е годы — Д.С. Мережковского и З.И. Гиппиус.

«Вестник Европы» давал высокую оценку всем реформам 60-х годов и считал необходимой дальнейшую реформаторскую деятельность для обеспечения благополучия страны.

Благосостояние страны «не в застое, не в отчуждении от других народов», а, наоборот, в следовании за другими народами «по их пути развития и рациональной свободы», — утверждал журнал на рубеже 80-х годов. Многие сотрудники признавали трудное положение крестьян в пореформенный период, видели недостаток в отсутствии рабочего законодательства, ограничивающего эксплуатацию, тяжелое финансовое положение страны, недостаток образования, слабость местного самоуправления. Но одновременно журнал отрицал революционный путь преобразований. Все проблемы надеялся решить с помощью реформ сверху и дарованием конституции.

Наряду с «Русской мыслью», «Русским богатством» «Вестник Европы» был одним из популярных среди широких слоев интеллигенции изданием. Тираж его в лучшие годы доходил до 14 тысяч экземпляров.

В пореформенные годы растет газетная печать, но легально могли издаваться газеты только монархические и либерально-буржуазные.

Издания, независимые от цензуры, администрации, как и раньше, продолжали возникать в эмиграции («Свободная Россия» и др.).

Лидирующую роль среди русских консервативных газет по-прежнему играют «Московские ведомости» Каткова, авторитет которого вырос благодаря патриотической позиции в 1863 г. во время польского восстания и во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Катков открыто защищал интересы дворянства, монархии, резко порицал любые проявления свободомыслия, либерализма, осуждал социалистов-нигилистов, бунтующих крестьян и рабочих, требовал от правительства крутых мер.

«Новое время»

Газета не менее преуспевающего журналиста-издателя Суворина *«Новое время»* также в период войны 1877—1878 гг. заметно увеличила круг своих читателей. Петербургская бюрократия, офицерство, значительная часть интеллигенции стали подписчиками этой газеты. Постоянная критика военного руководства, администрации, широкая внутренняя и иностранная информация, острая постановка некоторых нравственных проблем в статьях Розанова, интересная беллетристика благодаря участию А.П. Чехова создавали несомненный успех изданию. Розничная продажа, реклама способствовали росту тиража. Суворин полностью отрицал необходимость каких бы то ни было радикальных выступлений интеллигенции, студентов или рабочих и постепенно, сохраняя внешний радикализм, становился идеологом самодержавно-бюрократического, буржуазного государства, шел параллельным курсом к правительству и помогал ему.

«Русские ведомости»

Среди умеренно-либеральных газет становится все авторитетнее московская газета *«Русские ведомости»*. Защита интересов крестьян, а затем и рабочих, не выходящая, однако, за рамки государственного законодательства, устойчивые конституционные стремления, хорошая беллетристика создавали ей популярность среди русской интеллигенции (врачи, учителя, земские деятели), помогли постепенно формулировать принципы будущей кадетской партии.

В 80-е годы в газете сотрудничают: Г. Успенский, Михайловский, Короленко, революционный эмигрант П. Лавров, крупнейший русский ученый-демократ К.А. Тимирязев, академик Д.Н. Анучин, прогрессивный музыкальный критик Г.А. Ларош, репортер В.А. Гиляровский и др. Издавалась газета до 1918 г.

«Осколки»

В 80-е годы началась литературная и журналистская деятельность А.П. Чехова. Первоначально Чехов сотрудничал в юмористических еженедельниках Москвы («Стрекоза», «Будильник» и др.), но вскоре был приглашен в юмористический петербургский журнал *«Осколки»*. Наряду с художественными произведениями писатель вел в «Осколках» фельетонное обозрение «Осколки московской жизни», где затрагивал многие злободневные вопросы, в том числе и положение московской печати, вступившей в полосу предпринимательства. В рассказах Чехова 80-х годов ярко (часто пощедрински) запечатлен убогий тип журналиста-поденщика, приспособленца, утратившего благородные черты работника печати предшествующих десятилетий («Два газетчика», «Корреспондент», «Сон репортера» и др.)

С 1886 г. Чехов становится сотрудником газеты «Новое время». Здесь кроме рассказов им напечатаны такие материалы, как статья о русском путешественнике Н.М. Пржевальском, путевые зарисовки «Из Сибири», и некоторые другие. Писатель организовал в газете «литературные субботники» и много способствовал внедрению в практику русской журналистики жанра небольшого рассказа-новеллы.

После поездки на остров Сахалин в 1890 г. Чехов сотрудничает в журналах «Русская мысль», «Жизнь» и др. В «Русской мысли» он заведовал отделом беллетристики и впервые опубликовал здесь очерки «Остров Сахалин». Эти очерки, вышедшие вскоре в виде отдельной книги, вошли в золотой фонд русской публицистики.

Книга сочетает в себе глубину и точность научного исследования с ненавязчивой публицистичностью. Пренебрежение правительства к богатой окраине России, превращенной в каторжную тюрьму, острову Сахалину, Чехову непонятно. Не мог смириться писатель и с тем, что жизнь каторжников и населения Сахалина определяется не законом, а произволом администрации. Жизнь на острове напоминает ему крепостничество. Он не мог пройти мимо тяжелого положения женщин, детей, местного туземного населения на Сахалине; осуждает недостатки исправительной системы на каторге, экономическую отсталость края, отсутствие налаженной медицинской помощи. Проблемы, поднятые в книге, часто оказывались сходными с проблемами всей России. И вместе с тем Чехов в очерках «Из Сибири» и книге «Остров Сахалин» показал высокие моральные качества русского народа, особенно сибиряков-первопроходцев, предсказал большое будущее сибирскому краю.

Вопросы для повторения

1. Перескажите основные положения закона о печати 1865 г.
2. Каковы основные положения народнической доктрины?
3. Раскройте демократический характер журнала «Отечественные записки», его отношение к народничеству.
4. Какова программа революционно-народнической нелегальной печати в целом, разница в тактике революционных действий отдельных изданий народников.
5. Охарактеризуйте политическую и экономическую программу либеральной журналистики («Вестник Европы», «Русские ведомости»).
6. В чем причина бурного развития газетного дела?
7. Назовите основные темы сатирической публицистики М.Е. Салтыкова-Щедрина.
8. Как оценивал М.Е. Салтыков-Щедрин современную ему печать?
9. Особенности очерков Г.И. Успенского о русской деревне.
10. Какое участие принимал в журналистике 80-х — 90-х годов А.П. Чехов?

Тексты для анализа

М.Е. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге.

За рубежом.

В среде умеренности и аккуратности.

Письма к тетеньке (письмо одиннадцатое).

Приключение с Крамольниковым.

П.Л. Лавров. Вперед! Наша программа.

П.Н. Ткачев. Набат (программа журнала).

Г.И. Успенский. Книжка чеков.

Равнение под одно.

А.П. Чехов. Два газетчика.

Из Сибири.

Остров Сахалин (глава по выбору).

Ф. Энгельс. Эмигрантская литература (гл. 3—5).

Пресса 90-х годов

1890-е годы — время промышленного подъема в России. С процессами капитализации всей русской жизни связано дальнейшее развитие периодической печати. Продолжается количественный рост прессы, появляются новые типы периодических изданий.

Наблюдается рост провинциальной частнособственнической газетной печати, дальнейшее увеличение числа различных еженедельников, в том числе иллюстрированных.

«Толстый» русский журнал, сохраняя роль руководителя общественного мнения, как бы выделяет из своего состава журналы по интересам: журналы для юношества и самообразования («Мир божий»), журналы для семейного чтения («Семья»), научно-популярные («Наука и жизнь», «Журнал для всех»), научно-философские («Научное обозрение»), педагогические («Образование»), журналы искусств («Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства»). Впрочем, некоторые из них вновь приобретают энциклопедический характер («Журнал для всех»).

Получают развитие духовно-религиозные и деловые издания.

В 90-е годы появляются такие значительные общенациональные газеты, как «Россия», «Русское слово», «Курьер».

Газеты обзаводятся приложениями, практикуются вторые (дневные) выпуски газет. Растут тиражи газет, улучшается информационное обеспечение газет. Формируются первые издательские концерны А.С. Суворина, И.Д. Сытина и др.

Капитализация, индустриализация жизни активизируют поиски закономерностей развития общества, дифференцируются политические направления. Позитивизм овладевает значительной частью интеллигенции. Народничество испытывает серьезные трудности в объяснении исторических судеб России. Растет интерес к марксизму, идеям исторического материализма.

«Легальный Марксизм»

Достаточно широкое увлечение марксизмом в либерально-буржуазных кругах публицистов, ученых привело к появлению так называемого «легального марксизма». Отстаивая интересы капиталистического развития страны, либерально-буржуазные

публицисты П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский и др. с середины 90-х годов провозгласили себя сторонниками нового учения — «экономического материализма», т.е. марксизма, и стали критиковать народников. Они широко цитировали Маркса, пересказывали на свой лад отдельные положения марксизма, стремились истолковывать некоторые выводы научного социализма в целях упрочения капиталистической формации. Целый ряд периодических органов печати стал выразителем этого течения: «Новое слово», «Начало», «Жизнь» и др. В них печатаются от случая к случаю и революционные марксисты, пропагандируя материалы, связанные с именем Маркса и его теорией (Плеханов, Ленин, Засулич и др.).

Струве, Туган-Барановский пишут статьи о рабочем классе, критикуют народников, доказывают жизненность капитализма.

С.Н. Булгаков в «Новом слове» утверждал в 1896—1897 гг., что марксизм, материалистическое понимание истории вполне объясняет все экономические и социальные процессы в русской жизни.

Вместе с тем эти журналы сохраняли многие черты старых ежемесячников. В них печатались различные обозрения, литературная критика, имелся хороший беллетристический отдел (особенно в журнале «Жизнь»), где в разные годы печатались Чехов, Мережковский, Вересаев, Горький, Серафимович и др.

Однако в 1899—1901 гг. многие «легальные марксисты», никогда не принимавшие революционности в учении Маркса, — С.Н. Булгаков, А.Н. Бердяев, П.Б. Струве перешли к критическому анализу марксизма, усмотрев в нем догматизм, пренебрежение нравственными началами, и повернули к идеализму («Против ортодоксии» статья Струве в № 10 журнала «Жизнь», 1899 г.; «Борьба за идеализм» Бердяева в № 6 журнала «Мир божий», 1901 г.).

Идеализм остается привлекательным для ряда литераторов: Вл. С. Соловьев, Волынский (А.Л. Флексер), Л.Е. Оболенский, Д.С. Мережковский и др.

Революционные марксисты, не имея возможности открыть свои издания в России, основную деятельность на поприще журналистики должны были до 1905 г. развивать за границей (группа «Освобождение труда» Плеханова, газета «Искра»). Создание социал-демократической рабочей партии становится главной задачей революционной печати.

«Русское богатство»

Одним из крупных и авторитетных журналов в России становится «Русское богатство». Он был организован в 1876 г., но до 1880 г. не имел заметного влияния в журналистике. С 1880 по 1881 г. журнал издавался группой (артелью) народнических литераторов во главе с писателем Н.Н. Златовратским. В 1880 г. в журнале сотрудничал Плеханов, еще не вполне освободившийся от идей народничества. Однако артельный журнал не оправдал себя. С 1883 по 1891 г. «Русское богатство» издавалось литератором Л.Е. Оболенским как либерально-народнический ежемесячник с философским, морально-религиозным уклоном, но большим успехом у читателей не пользовался.

С 1892 г. «Русское богатство» перешло в руки авторитетных народнических публицистов С.Н. Кривенко и Н.К. Михайловского.

Став руководителями журнала, Кривенко и Михайловский с 1894 г. развернули активную полемику с марксистскими идеями. После нескольких критических статей против «легального марксизма» прежде всего Струве, Михайловский и его сотрудники перешли к критике трудов Маркса, Энгельса и Плеханова. Это обстоятельство увеличивало интерес к журналу. Н.Е. Федосеев, Г.В. Плеханов пытались защитить свои позиции. Однако в их распоряжении не было легальных изданий. Достойный ответ Михайловскому и Кривенко дал Плеханов в своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», вышедшей под псевдонимом в 1895 г.

Однако, претендуя на роль хранителей идейного наследства 60-х годов, идей крестьянской демократии, общинного устройства, сотрудники «Русского богатства» стремились придать журналу в целом демократический характер. Большую роль в этом сыграл В.Г. Короленко, ставший соредактором журнала в 1895 г.

Журнал «Русское богатство» вел постоянную полемику с консервативной печатью по ряду общественных вопросов, выступал с критикой крепостнических пережитков, широко освещал внутреннюю жизнь России: голод 1893 г., произвол администрации, национальную политику правительства, незavidное положение земств, стесненное положение печати. Все это привлекало широкие слои русской интеллигенции к журналу. Тираж его достигал в 90-е годы 14 тысяч экземпляров.

На страницах журнала в эти годы публиковались выступления против философских идей Л. Толстого и Достоевского. «Русское богатство» выступало против теории чистого искусства, резко критиковало появившееся декадентство («Литература и жизнь» Михайловского).

Прогрессивный характер имел в 90-е годы беллетристический отдел журнала, в котором участвовали Л.Н. Андреев, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.В. Вересаев, А.И. Куприн, И.А. Бунин, Д.Н. Мамин-Сибиряк и др. Значительное место принадлежало произведениям замечательного писателя-демократа и публициста конца XIX — начала XX в. Короленко. В «Русском богатстве» он выступил впервые в 1886 г. с рассказом «Лес шумит». Активное сотрудничество Короленко в журнале началось с 1892—1894 гг.

Короленко был непревзойденным мастером художественного очерка. Яркая публицистическая форма, предельная правдивость, смелость постановки общественно-значимых проблем, гуманизм характеризуют все его выступления в печати. Большинство произведений написано им по личным впечатлениям, хорошо документировано.

Публицист ставит вопрос о тяжелом положении крестьян, малоземелье, кулачестве в деревне, о беззакониях по отношению к простому народу («В голодный год», «Сорочинская трагедия»), протестует против национальной политики русского правительства, направленной на разжигание розни между народами и народностями России («Мултанское жертвоприношение», «Дом № 13» и др.).

В статье «Знаменитости конца века» Короленко осудил французское правосудие по поводу расправы над А. Дрейфусом.

Посетив в 1893 г. Америку, Короленко печатает в журнале повесть «Без языка» и очерк «Фабрика смерти» (о чикагской скотобойне) в «Самарской газете», где подвергает

критике отдельные стороны американской демократии и некоторые нравственные нормы, рассказывает о трудной доле русских и украинских крестьян-эмигрантов.

Не раз разоблачал он провокационные выступления консервативной журналистики, направленные непосредственно против него, против публикации им критических материалов.

М. Горький в провинциальной печати

В 90-е годы с развитием провинциальной журналистики все больше крупных авторитетов и начинающих писателей сотрудничают в провинциальной печати. Так произошло и с А.М. Горьким. Весной 1894 г. по рекомендации Короленко он переезжает из Нижнего Новгорода в Самару и становится сотрудником «Самарской газеты». Он выступает как обозреватель провинциальной прессы, ведет городскую фельетон «Между прочим», печатает отдельные статьи, рассказы и художественные произведения («Старуха Изергиль», «Песнь о Соколе»).

Пользуясь либеральным характером газеты, Горький остро критикует недостатки самарской жизни: приниженное положение жен-шин, отсутствие высоких идеалов у местной интеллигенции, эксплуатацию детского труда, грязь в городе, некультурность городского обывателя, при этом постоянно выступая защитником беднейших слоев населения. Печать он рассматривает как «арену борьбы за правду и добро». Так называлась и одна из его статей.

В 1896 г. журналист возвращается в Нижний Новгород в качестве корреспондента газеты «Одесские новости» на открывшейся в городе Всероссийской выставке промышленности и художеств. Одновременно пишет статьи и очерки для газеты «Нижегородский листок».

М. Горький оказался одним из немногих русских журналистов, кто скептически отнесся к замыслу и экспозиции выставки. Такие выставки проводились приблизительно раз в десять лет начиная с 1872 г. Выставка 1896 г. должна была по замыслу правительства показать особые успехи, достижения русского капитализма за последние годы. Но Горький увидел за размахом, экспонатами выставки многие недостатки, несовершенства русской жизни конца XIX в. Машины, представленные в павильонах, не облегчают труд рабочих: не машина служит человеку, а человек служит машине. На выставке не были замаскированы факты эксплуатации рабочих, бросались в глаза засилье в промышленности иностранных предпринимателей-капиталистов, ложный патриотизм устроителей, которые хотели некоторые образцы кустарных производств выставить в качестве национальных достижений (велосипед, пианино, сделанные вручную кустарями-одиночками).

Не принесла журналисту полного удовлетворения и культурная программа выставки. Горький высоко оценил выступления Малого театра, чешского дирижера Главача, русской сказительницы Ирины Федосовой, некоторые картины художников-реалистов (Маковского, Репина), но весьма критически отнесся к представителям «нового искусства» — импрессионистам, в частности к картинам Врубеля, выставленным в особом павильоне. Изобразительное искусство, по мнению журналиста, как и печать, должно непосредственно служить правде и добру, быть понятно простому человеку,

воспитывать оптимизм, а не повергать его в уныние и недоумение. Негативно оценивал в эти годы писатель и русских поэтов-Декадентов: Мережковского, Гиппиус и др.

Не мог пройти журналист и мимо того, что купцы, богатые предприниматели, съехавшиеся со всей России на выставку, превратили ее в арену пьяного кафешантанного разгула. «Разгром» — так назвал Горький свой заключительный очерк о закрытии выставки, подчеркнув ее практическую бесполезность. Такая негативная оценка была, конечно, односторонней, но Горький стремился оценить выставку и развитие России с точки зрения рядового человека, человека труда.

Не вполне справедливы были и некоторые упреки публициста в адрес «нового искусства», живописи и литературы.

Вопросы для повторения

1. Кто принадлежал к течению «легальных марксистов»? В чем состояла их критика народников, а затем социал-демократов-марксистов?
2. Какой характер принял журнал «Русское богатство» в 1890-е годы под редакцией Н.К. Михайловского и С.Н. Кривенко?
3. В чем выражалась гражданская позиция В.Г. Короленко-публициста?
4. Охарактеризуйте «Самарскую газету» и начало журналистской деятельности А.М. Горького в провинциальной печати (Самара, Одесса, Нижний Новгород).
5. В чем выразилось критическое отношение А.М. Горького к Всероссийской выставке промышленности и художеств 1896 г.?
6. Какие вопросы искусства и литературы поднимает А.М. Горький в публицистике 1895—1896 гг.?

Тексты для анализа

В.Г. Короленко. Павловские очерки.

В голодный год.

Мултанское жертвоприношение

А.М. Горький. Беглые заметки.

Среди металла.

С Всероссийской выставки.

Журналистика в начале XX века

XIX в., как мы видели, создал достаточно богатую, разветвленную систему печати. Но по-прежнему не был решен вопрос о свободе печати. Складывающиеся партии (социал-демократы, социал-революционеры, конституционные демократы и даже монархисты) не имели своих легальных изданий. Первые партийные органы формируются в эмиграции. Эсеры в 1900 г. организовали газету «Революционная

Россия», социал-демократы — в 1901 г. «Искру», будущие кадеты группируются вокруг журнала «Освобождение» (1902).

Основные общественно-политические проблемы русской жизни не получали решения, положение рабочих и крестьян оставалось тяжелым. Конституции не было. Политических свобод также. Самодержавный произвол часто игнорировал законы.

Наступающий новый век, приближающееся 200-летие отечественной печати в 1903 г. порождали определенные ожидания в журналистских кругах. Однако до революции 1905 г. им не суждено было сбыться.

Редакция «Вестника Европы» во «Внутреннем обозрении» и «Общественной хронике» первого номера 1901 г., посвященного наступлению XX в., констатировала, что большинство цивилизованных стран живет в условиях торжества капитализма и буржуазной демократии, а в России дело реформ не было доведено до конца: слишком сильны оказались «охранители».

От имени либеральной общественности журнал перечисляет задачи, которые нужно решить России в XX в. Это — уничтожение сословного неравенства, введение независимого от администрации суда, развитие самоуправления, юридическое облегчение положения печати, развитие частных обществ, свобода совести, введение всеобщего начального образования, упорядочение крестьянского, земского, судебного, промышленного, брачного и других законодательств. Впрочем, у журнала не было уверенности, что все это осуществится скоро.

«Мы знаем, что не нашему поколению... суждено увидеть пышный расцвет русской общественной жизни; для нас достаточно убеждения, что он возможен, что к нему ведет путь, пройденный Россией в XIX веке» («Вестник Европы». 1901. № 1. С. 439).

Русско-японская война в 1904 г. обострила и без того сложное экономическое и политическое положение в стране.

Тем не менее частнопредпринимательская деятельность в области журналистики расширялась и крепла. В значительной степени разделились функции издателя, т.е. собственника газет и журналов, и редакторов. Редакторы и публицисты становились подчас наемными работниками, которые зависели не только от цензуры, но и от владельца издания. Отдельные состоятельные люди — банкиры Поляков, Альберт, капиталисты Коншины, Рябушинские, Морозовы, банки (Волжско-Камский, Азово-Донской) все охотнее вкладывали деньги в периодическую печать.

Постепенно формируется качественная и массовая пресса. Старые направления: консервативное, либеральное и демократическое (социалистическое) в прессе сохраняются, хотя существуют издания, стоящие в стороне от главных партийных направлений, декларирующие свою независимость, например «Биржевые ведомости», «Русское слово».

Яркой звездой блеснула на русском журнальном небосклоне газета «Россия». Организованная в 1899 г. как либерально-буржуазное издание, «Россия», благодаря участию в ней известных фельетонистов В.М. Дорошевича и А.В. Амфитеатрова, приобрела большую популярность в начале века. Требование политических перемен в стране, реформ, критика действий некоторых правительственных чиновников высокого

ранга, намеки и иносказания создавали ей славу смелой буржуазной газеты. Фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы», опубликованный 13 января 1902 г., был воспринят как дерзкая сатира на царя Николая II и его ближайших родственников. Газета тотчас была закрыта, а Амфитеатров сослан в Минусинск. (В 1905 г. под этим же названием организована была новая газета, но она уже носила чисто казенный монархический характер.)

«Русское слово»

Самой же распространенной газетой в России стало «Русское слово» Сытина, перешедшее в 1902г. под редакторство Дорошевича. Король фельетонистов, как называли Дорошевича, поставил издание газеты на европейский лад, серьезно усилил информационную службу, отдел фельетона. Тираж газеты доходил до 100 тысяч экземпляров. Редактор постоянно уклонялся от партийных пристрастий и называл свой печатный орган «газетой здравого смысла».

В начале века приобрела популярность еженедельная газета «Право». Пропагандируя идеи твердого буржуазного правопорядка и расширения личных прав граждан, она являлась как бы легальным отделением эмигрантского журнала «Освобождение».

В первые годы XX в. появляются научно-образовательные журналы («Вестник знания»), усиливается роль журнала «Образование» как ежемесячника «старого» типа. Ширится земское движение, что получает отражение в печати.

Нерешенность общественно-политических задач, тяжелое положение трудящихся классов стимулировали распространение радикальной революционной печати. До 1905 г. она по-прежнему формируется за границей. Социал-демократы, разделившиеся в 1903 г. на две фракции — большевиков и меньшевиков, издают газету «Вперед», журнал «Заря», газеты «Красное знамя», «Социал-демократ»; эсеры — «Революционную Россию», журнал «Вестник русской революции». В России в нескольких провинциальных городах (Нижний Новгород, Тула, Тифлис, Архангельск и др.) возникают местные нелегальные социал-демократические газеты.

Манифест от 17 октября 1905 г.

Но самым главным, существенным в начале XX в. для отечественной печати были события первой

русской революции и царский Манифест от 17 октября 1905 г.

Этот Манифест, провозгласивший в самой общей форме политические свободы в России, предопределил развитие легальной многопартийной печати. Манифест даровал населению империи гражданские права «на началах неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собраний и союзов». Была учреждена Государственная дума как первое законодательное учреждение в России.

24 ноября 1905 г. специальным указом декларировалось устранение административного вмешательства в дела прессы, восстанавливался порядок судебной ответственности за преступления в печати. На работников печати могли накладываться денежные штрафы, арест до трех месяцев, тюремное заключение от двух месяцев до

полутора лет, ссылка на поселение. Оставались в практике Главного управления по делам печати МВД и полиции конфискация номеров, приостановка неугодных изданий, закрытие типографий. Первоначально на волне революционного подъема пресса игнорировала этот указ, но уже с 1906 г. он начал действовать, и достаточно сурово.

Одновременно все чаще стали практиковаться субсидии изданиям правительственной, консервативной ориентации.

В 1905 г. откровенные сторонники монархии издают такие газеты, как «Московские ведомости», «Земщина», «Русское знамя», «Гроза» (партия под названием «Союз русского народа»); «Слово», «Голос Москвы» («Союз 17 октября», или партия октябристов). Партия конституционных демократов, кадеты (с 1906 г. партия «Народной свободы») издают газеты «Народная свобода», «Речь». «Товарищ», вечернюю газету «Дума», в Москве — «Народное дело», «Народный путь» и др.

Социал-демократы (большевики) организуют первую легальную газету «Новая жизнь», издают газету «Борьба» и др.; под руководством меньшевиков выходят «Начало» и «Московская газета».

Партия социал-революционеров (эсеры) сначала сосредоточилась в газете «Сын Отечества», а затем организовала новые печатные органы — «Голос», «Дело народа» и др.

Анархисты издавали газету «Анархия».

Были и другие, более мелкие партии, также издававшие свои газеты и журналы.

Правительство наладило в феврале 1906 г. печатание правительственной вечерней газеты «Русское государство». Однако газета просуществовала лишь до апреля 1906 г. Ее сменила газета «Россия», ставшая с лета 1906 г. правительственным официозом. Но следует подчеркнуть, что официальная пресса, как новые издания, так и старые («Правительственный вестник», «Сельский вестник»), не пользовалась популярностью. Издания октябристов (эту партию возглавляли крупные промышленники А. Гучков, братья Рябушинские) старались сплотить широкие слои населения вокруг самодержавия на базе Манифеста 17 октября. В них проводилась идея единения с конституционным монархом при народном представительстве (Дума). Гражданская свобода рассматривалась как условие, обеспечивающее свободу предпринимательства. Полное неприятие революционных взглядов дополняло содержание газет октябристов.

Консервативные, антиреволюционные (часто погромные) взгляды отстаивала печать «Союза русского народа» А. Дубровина и В. Пуришкевича.

«Речь»

Наибольшее влияние на общество приобрели кадетские издания, особенно ежедневная столичная газета «Речь», во главе которой стоял П.Н. Милоков. Она издавалась как политическая и литературная с февраля 1906 г. В газете сотрудничали И.В. Гессен, В.А. Маклаков, П.Б. Струве, М.М. Винавер, князь П.Д. Долгоруков, В.Д. Набоков и др.

Газета стояла за укрепление буржуазного строя, категорически отвергала революцию, революционную «романтику». Ее публицисты признавали только мирные конституционные методы политической борьбы, а революционное движение стремились направить в русло парламентской деятельности.

Газета постоянно ставила крестьянский вопрос, защищая требование увеличения земельных угодий крестьян за счет принудительного отчуждения части государственных земель и тех площадей, которые не обрабатывали помещики. И хотя издание доходило до радикального утверждения, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, о ликвидации помещичьего землевладения речи в газете не шло. За добавленную землю крестьяне должны были, по мнению кадетов, платить выкуп.

Прочные позиции занимали издания партии социал-революционеров. Эсеровская партия (В.М. Чернов и др.) сформировалась как наследница революционного крыла народников-социалистов. Отражая интересы миллионов крестьян, их газеты остро ставили земельный вопрос, требовали и в прессе, и в Думе безвозмездного наделения крестьян землей. Они не отказывались от революционного противостояния правительству и монархии и даже революционного террора.

Эсеровские издания разрабатывали тему Учредительного собрания, которое при благоприятном избирательном законе дало бы преимущество трудовым элементам страны.

К ним примыкали так называемые трудовики, которые сходились в требованиях с эсерами, но признавали мирные, легальные способы их достижения, отрицали, как и эсеры, авангардную роль в революции пролетариата.

Социал-демократическая пресса была наиболее революционна. Идея пролетарской революции являлась стержнем всей журналистики большевиков.

«Новая жизнь»

Первым легальным изданием социал-демократов (большевиков) в 1905 г. явилась петербургская газета *«Новая жизнь»*, официальным издателем которой был литератор Н.М. Минский.

Первый номер вышел 27 октября 1905 г. К нему в качестве приложения была отпечатана Программа партии, принятая на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Тираж газеты составил 80 тысяч экземпляров.

В организации издания большое участие принял М. Горький, печатались К.Д. Бальмонт, Н.А. Теффи, А.С. Серафимович, Н.Г. Гарин-Михайловский, А. В. Луначарский и др. С девятого номера в редактировании «Новой жизни» участвовал В. Ленин. Его статья «Партийная организация и партийная литература» была прямым откликом на открывшуюся возможность легально излагать партийные взгляды, хотя идеи ее были приняты далеко не всеми литераторами.

Ровно через месяц после выхода «Новой жизни» стала издаваться в Москве легальная социал-демократическая газета «Борьба», посвященная целиком революционному движению рабочего класса, а затем газета «Вперед». Появились

легальные социал-демократические издания в других городах России. Под влиянием большевиков оказались многие профсоюзные издания. Все они вели неуклонную пропаганду революционного свержения царского режима, безвозмездной передачи земли крестьянам, фабрик рабочим, защищали идею демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.

Меньшевики в ноябре 1905 г. предприняли издание ежедневной газеты «Начало» (П.Б. Аксельрод, Л. Мартов, Плеханов и др.). Активно выступая против самодержавия, они не верили, однако, в победу социалистической революции, отказывались считать крестьян союзниками пролетариата, примыкали по своей идеологии к социал-демократическим оппортунистам западноевропейских стран (Каутский и др.). «Начало» было чисто политическим изданием, в котором не затрагивались, например, вопросы литературы, поскольку ее участники считали искусство стоящим вне политики. Издавали они и другие печатные органы.

Вся социал-демократическая, эсеровская, а иногда и кадетская печать преследовалась правительством, цензурой. Поэтому неудивительно, что на место одних запрещенных изданий часто приходилось создавать другие под новым заглавием. Этим объясняется то, что многие радикальные оппозиционные газеты и журналы были недолговечны, но зато представлены весьма большим числом названий.

Следует отметить, что лозунги социал-демократической печати все больше проникали в массы рабочих, крестьян и солдат, тем более что большевики развернули серьезную пропаганду среди военных частей («Голос солдата», «Жизнь солдата», «Казарма»).

Сатирические журналы 1905—1907 гг.

Эпоха 1905 г. ознаменовалась еще одним заметным явлением в области печатного слова — появилось множество сатирических иллюстрированных изданий разной периодичности: «Пулемет», «Жало», «Топор», «Зритель», «Жупел», «Бич» и др. Общее число подобных изданий исчислялось сотнями. Эти журналы издавались в обеих столицах, городах Одессе, Тифлисе, Харькове, Киеве, Ярославле, Саратове и многих других. Все они были ультрарадикальными, но с разной политической платформой: от революционных, социалистических до умеренно конституционных и реакционных, погромных. Многие были недолговечны. Главная мишень большинства подобных изданий — самодержавие, Манифест 17 октября, царь Николай II, министры Витте, Дурново. Цветные рисунки и карикатуры дополняли стихи и прозу, широко практиковался жанр пародии. Объем журналов колебался от 4—8 и более полос. Наряду с такими фельетонистами, поэтами, как О. Дымов, Н. Тэффи, В. Потемкин, в ряде журналов печатались А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, К. Чуковский, В. Князев.

Блестящим продолжателем этих изданий станет журнал А.Т. Аверченко «Сатирикон» (1910).

Первая русская революция открыла путь изданию газет на национальных языках народов, населявших Россию (чуваши, татары, узбеки и др.).

В 1905 г. появились первые эротические издания.

Дальнейшее развитие получили журналы искусств («Мир искусств» С. Дягилева, «Новый путь» Д. Мережковского, «Весы» В. Брюсова и др.), театральные и отраслевые издания.

Оживление русской политической печати после разгрома Московского вооруженного восстания в декабре 1905 г. и общего спада революционного движения в стране сменилось закрытием ряда газет и журналов, вытеснением революционных изданий из легального сектора.

Поражение революции и приход к власти П. Столыпина (1906) серьезно отразились на характере русской журналистики. Часть либеральной прессы повернула вправо. Многие издания оппозиционных революционных партий снова оказались за границей («Социал-демократ», «Знамя труда»). Особенно это касалось большевистских газет и журналов.

Значительная часть интеллигенции — литераторов, политиков — отказалась от революционных идей и революционных методов борьбы за демократию. Наиболее ярким свидетельством этого поворота явился сборник статей под названием «Вехи». Многие интеллигенты сосредоточились на морально-нравственных, религиозно-философских исканиях, далеких от революции. В социал-демократическом лагере появились ликвидаторство и отзовизм.

Новый подъем в области русской журналистики падает на 1910—1912 гг. Уже в период правления П. Столыпина (1906—1911 гг.) резко обострилась ситуация в связи с преследованием рабочего движения, роспуском Государственной думы 1-го и 2-го созыва, жестокими мерами, которые правительство проводило в связи с земельной реформой Столыпина. Ставка делалась на упразднение сельской общины, чересполосицы и укрепления единоличных хозяйств «сильных мужиков». Непонимание, пассивное сопротивление крестьян реформе рассматривалось как преступление, в связи с чем в условиях усиленной и чрезвычайной охраны государства в практику военно-полевых судов вошли необоснованные смертные приговоры, бесчинства полиции и даже внесудебные казни.

Насилие и беззаконие, бессудные расправы над людьми вызвали протесты всех левых партий: социал-демократов, эсеров, трудовиков и даже кадетов, всех честных людей, в том числе В. Короленко (см. его статьи «Бытовое явление», «Черты военного правосудия»), Л. Толстого (статья «Не могу молчать») и др.

В 1910 г. оживилось рабочее движение, обострилась борьба за укрепление партии большевиков против ликвидаторства и отзовизма, т.е. против свертывания участия работы в легальных общественных институтах.

Широко велась кампания по выборам в Государственную думу 4-го созыва. Руководила этой работой эмигрантская газета «Социал-демократ», а с конца 1910 г. была налажена в Петербурге легальная пролетарская газета «Звезда».

Первоначально в ней принимали участие некоторые меньшевики (Иорданский, Плеханов и др.), но в целом это был большевистский орган, отстаивавший принципы революционного рабочего движения. В газете печатались В.И. Ленин, В.Д. Бонч-Бруевич, К.С. Еремеев, М. Горький, Д. Бедный и др. Издавалась она большим форматом,

подобно другим легальным массовым газетам, прямо указывая, что берет за образец немецкую социал-демократическую газету «Форвертс», сочетающую в себе боевой политический орган и популярное издание одновременно.

Помимо политических статей печатала разнообразную хронику, включая судебную и уголовную, рассказы, стихи, очерки, рекламу и объявления. Выходила она 2—3 раза в неделю и даже в 1912 г. через день тиражом 20—50—60 тысяч экземпляров.

В 1912 г. после расстрела рабочих на Ленских золотых приисках в Сибири солидарный протест рабочих показал, что революционное движение против царского режима идет в гору. Газета «Звезда» напечатала десятки откликов, резолюций протеста рабочих собраний с требованием политической свободы.

«Правда»

Учитывая опыт «Звезды», большевики с мая 1912 г. стали издавать массовую рабочую газету «Правда».

Борьба за массы развернулась с новой силой. Это сказалось в прямом обращении газеты к местным партийным организациям, ко всем рабочим и крестьянам с призывом сотрудничать в газете, поддержать ее материально.

Это отразилось в предвыборной борьбе в Думу (1913), в отношении к профсоюзам (многие политики старались тогда оторвать профсоюзы от политической борьбы), в поддержке стачечной борьбы.

«Правда» постоянно вела полемику с «Речью» и другими буржуазными газетами. Депутаты Думы — большевики регулярно печатались в «Правде».

Наряду с активистами партии большевиков: М.С. Ольминским, В.В. Воровским, К.С. Еремеевым, Ю.М. Стекловым, В.М. Молотовым, С.Г. Шаумяном, П.И. Стучкой и др. — в списках участников, сотрудников газеты были названы Р. Люксембург, Ф. Ротштейн.

Существенной стороной было активное участие в газете Ленина, несмотря на то, что он был за границей. В своих многочисленных статьях Ленин затрагивал вопросы жизни печати, революционной теории, критиковал оппортунистов и ликвидаторов, анализировал расстановку классовых сил в обществе, роль рабочего класса и крестьянства в революции.

«Правда» распространялась не только в России, но и в Польше, Болгарии, ее знали в Германии, Франции и других странах.

Цензура придирчиво наблюдала за газетой большевиков. Подвергались запрещению отдельные номера, арестовывались редакторы, налагались штрафы. Правительство несколько раз закрывало газету, но она возобновлялась и продолжала выходить под сходными названиями: «Рабочая правда», «Правда труда», «За правду» (1913), «Путь правды», «Трудовая правда» (1914) и др. Жизненность «Правды» во многом зависела от поддержки ее читателями-рабочими.

В канун империалистической войны летом 1914 г. «Правда» была все же закрыта, ее редакция разгромлена, многие сотрудники арестованы.

«Газета-копейка»

Оказать влияние на массы, привлечь их на свою сторону старались не только партийные издания, но и массовые газеты бульварного типа, так называемые газеты-копейки. Первая подобная ежедневная *«Газета-копейка»* вышла в Петербурге в 1908 г. под редакцией М.Б. Городецкого и В.А. Анзимилова. Она издавалась двумя выпусками — утром и вечером, имела несколько приложений: «Журнал-копейка», «Листок-копейка», «Веселый балагур», «Альбом "Копейки"» и др. Один номер стоил 1 копейку (против цены 5 копеек других газет).

Городские новости, скандальные истории, авантюрная беллетристика, неглубокий комментарий событий политической жизни — таково ее содержание. Среди читателей газеты были городские мещане, мелкие служащие, чиновники, рабочие, хотя многие передовые рабочие понимали ее развлекательный, оглупляющий характер.

С 1909 г. подобная газета-копейка издавалась теми же издателями в Москве. Во многих других городах России были свои газеты-копейки («Киевская копейка» и др.).

Но, конечно, ведущее место по-прежнему в системе печати занимали общероссийские газеты «Речь», «Русские ведомости», «Русское слово», «Раннее утро», «Утро России».

Растет авторитет журналов «Просвещение», «Современный мир». Успешно продолжается «Вестник знания», созданный в 1902 г. Вокруг него организовался Союз подписчиков.

1913 г. — последний мирный год развития страны, журналистики. В это время весь спектр общественных интересов представлен в русской периодической печати. Более 3000 изданий выходило в стране — в столицах и на периферии.

Война 1914 г.

Война 1914 г. внесла существенные коррективы в судьбы русской печати. Легальные большевистские издания были закрыты. Снова заграничная газета «Социал-демократ» стала руководящим органом революционных марксистов. Большевики считали войну величайшим бедствием для трудящихся, о чем заявили в Государственной думе. Они выдвигают лозунг поражения своего правительства. С развитием хода военных действий ряда неудач русской армии идея пораженчества проникает все шире в солдатские массы. Газеты сменяются листовками, устной пропагандой. Развивается мысль о превращении империалистической войны в войну гражданскую.

Эсеры, меньшевики заняли националистическую, подчас шовинистическую позицию и сомкнулись с буржуазными лидерами, печатью. Ими пропагандировалась идея всеобщего объединения народа перед лицом врага ради обороны страны, война до победного конца.

Значительная часть интеллигенции, многие писатели (А. Куприн, И. Бунин, Б. Брюсов, Н. Гумилев и др.) заняли патриотическую оборонческую позицию, позицию защитников европейской культуры от немецких варваров.

В 1915 г. в журнале «Современный мир» Плеханов утверждал, что поражение России в войне скажется негативно на перспективах освободительного движения.

В сентябре 1915 г. всю русскую легальную печать («Утро России», «Речь», «Новое время», «Русские ведомости») обошло воззвание за подписью Плеханова, Дейча, Аксельрода и др., в котором путь национальной обороны, путь, ведущий к победе в войне, был признан путем к народной свободе.

С начала военных действий правительством была введена военная цензура, которая распространялась на все фронтовые и прифронтовые губернии. Строго регламентировалась деятельность военных корреспондентов. Количество журналистов при Ставке Верховного главнокомандующего ограничивалось 10 персонами.

Нижним чинам, т.е. рядовым солдатам, вообще было запрещено принимать участие в работе печати. Правительством, военным руководством принимались меры усиленного распространения в армии промонархических газет. В стране появились такие новые еженедельники, как монархический «Илья Муромец», «Альбом героев войны».

Легальные социал-демократические, эсеровские издания в годы войны чаще возникали и выходили в провинции (Екатеринодар, Самара, Саратов, Рига), но были весьма недолговечны.

Социальные противоречия, обострившиеся с войной (нехватка продовольствия в промышленных городах, увеличение продолжительности рабочего дня, военные неудачи и сама затянувшаяся на годы война), привели весной 1917 г. к буржуазно-демократической народной революции и отречению Николая II от престола. Власть перешла к Временному правительству.

Вопросы для повторения

1. В чем значение первой русской революции и Манифеста 17 октября 1905 г. для дальнейшего развития русской журналистики?
2. Как проходило формирование многопартийной печати (социал-демократы, эсеры, кадеты и др.)?
3. Охарактеризуйте основные черты массовой информационной газеты на примере «Русского слова» И.Д. Сытина — В.М. Дорошевича.
4. Расскажите о характере сатирической печати 1905—1907 гг. Что представлял собой «Сатирикон» А.Т. Аверченко (1910)?
5. Какие вы знаете журналы искусств?
6. Какие позиции занимала печать различных партий в годы первой мировой войны 1914 г.?

Тексты для анализа

В. Г. Короленко. Сорочинская трагедия.

Бытовое явление.

В.И. Ленин. Партийная организация и партийная литература.

В.Я. Брюсов. Свобода слова.

В.М. Дорошевич. Дело о людоедстве.

А.Т. Амфитеатров. Господа Обмановы.

В.А. Гиляровский. Три тысячи бритых старух.

Праздник рабочих.

Итоговые контрольные работы

Итоговые контрольные работы состоят из трех разделов:

тесты;

основные проблемы и категории журналистики;

мини-сочинения или рефераты.

В тестах из трех предложенных решений правильный — один. Выбранный вариант отмечается кружком или галочкой.

В разделе «Основные проблемы и категории журналистики» ответ дается в устной или письменной форме. Для журналиста письменная форма предпочтительнее. Ответ должен быть достаточно кратким и конкретным.

В третьем разделе форма ответа выбирается преподавателем: маленькое сочинение, реферат (изложение содержания какого-либо источника по теме), индивидуальное собеседование или коллоквиум. Опираясь на данное учебное пособие, привлекая дополнительную литературу в виде вузовского учебника или одной-двух критических работ, указанных в общем списке литературы, учащийся должен подготовить развернутый устный или письменный ответ, излагающий суть поставленной исторической или теоретической темы.

Ниже даются образцы итоговых контрольных работ.

Вариант 1

Тесты

А. Где было напечатано «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева?

«Москвитянин», «Московский телеграф», «Телескоп».

Б. Самая распространенная газета в конце XIX — начале XX в.?

«Московские ведомости», «Новое время», «Русское слово».

В. В каком году появилась легальная партийная печать в России?

1865, 1895, 1905.

Основные проблемы и категории журналистики

А. Назовите причины полемики А.С. Пушкина с Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем.

Б. Основные жанры сатирической журналистики.

В. Реклама и тираж. Их взаимовлияние в прессе.

Рефераты

1. Два типа цензуры: предварительная и наблюдающая, или карательная.

2. Программа либерально-буржуазного журнала «Вестник Европы» в 1870—1880-е годы.

3. Основные издания политических партий после 1905 г. в России.

Вариант 2

Тесты

А. На какие годы приходится расцвет сатирической журналистики XVIII в.?

1710—1720, 1730—1740, 1770—1780.

Б. Кто был выдающимся критиком «Современника» Н.А. Некрасова в конце 50-х — начале 60-х годов?

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев.

В. Кому принадлежит сборник очерков «Мултанское жертвоприношение»?

Н.К. Михайловскому, Г.И. Успенскому, В.Г. Короленко.

Основные проблемы и категории журналистики

А. Три основных направления в русской журналистике второй половины XIX в., их главные черты.

Б. Какой журнал назывался энциклопедическим? Его основные черты.

В. Процесс капитализации прессы в конце XIX — начале XX в.

Рефераты

1. Полемика А.И. Герцена с «Письмом из провинции» за подписью «Русский человек» в «Колоколе».

2. Содержание закона о печати 1865 г.

3. А.П. Чехов — журналист

Вариант 3

Тесты

А. Кому принадлежит статья «Не начало ли перемены?»?

Н.Г. Чернышевскому, Д.И. Писареву, И.С. Тургеневу.

Б. В каком году были закрыты «Отечественные записки»?

1848, 1881, 1884.

В. Кто выступил с критикой статьи В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»?

А.М. Горький, В.Я. Брюсов, Г.В. Плеханов.

Основные проблемы и категории журналистики

А. Что такое «торговое» направление в журналистике XIX в.?

Б. В чем объективная причина интереса к I тому «Капитала» К. Маркса в русской журналистике 70-х гг. XIX в.?

В. Отношение к первой мировой войне различных партий и их печатных органов?

Рефераты

1. Основные идеи статьи А.И. Герцена «Крещеная собственность».

2. Место журнала братьев Достоевских «Время» в журналистике 60-х годов.

3. Причины быстрого развития газет и газетного дела во второй половине XIX в.

Вариант 4

Тесты

А. Кого считают родоначальником жанра очерка?

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского.

Б. Как назывался самый крупный сатирический журнал XIX в.?

«Свисток», «Искра», «Осколки».

В. Кому принадлежит фельетон «Господа Обмановы»?

В.М. Дорошевичу, А.Т. Аверченко, А.В. Амфитеатрову.

Основные проблемы и категории журналистики

А. Назовите основные положения народнической доктрины.

Б. Почему либеральная печать требовала введения конституции в России?

В. Какие недостатки увидел А.М. Горький на Всероссийской выставке промышленности и художеств 1896 г.?

Рефераты

1. В чем заключалось монопольное положение газеты «Северная пчела» Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина?

2. Почему статья К.С. Аксакова «Опыт синонимов: Публика-народ» вызвала недовольство цензуры?

3. Как одиннадцатое письмо из цикла М.Е. Салтыкова-Щедрина «Письма к тетеньке» перекликаются с современностью?

Вариант 5

Тесты

А. В каком году было впервые опубликовано письмо Белинского к Гоголю?

1847, 1855, 1905.

Б. Кто назвал газету Суворина «Новое время» газетой «Чего изволите?»

М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.К. Михайловский, В.И. Ленин.

В. Назовите первую легальную большевистскую газету.

«Искра», «Новая жизнь», «Правда».

Основные проблемы и категории журналистики

А. В чем разница сатиры на пороки (Екатерины II) и сатиры на лица (Н.И. Новикова)?

Б. Расшифруйте основные положения программ «Полярной звезды» и «Колокола» А.И. Герцена.

В. Почему П.Б. Струве боролся с народниками?

Рефераты

1. В чем заключалось монопольное положение газеты «Северная пчела»?

2. Основное требование Н.А. Добролюбова к журналисту в письме к Славутинскому.

3. Благодаря чему В.А. Гиляровский стал «королем репортеров»?

Вариант 6

Тесты

А. Кто считал образ Базарова карикатурой на молодое поколение?

Д.И. Писарев, М.А. Антонович, Н.К. Михайловский.

Б. Какая бесцензурная газета народников выступала в защиту тактики индивидуального террора?

«Начало», «Вперед!», «Народная воля».

В. В каком сатирическом журнале сотрудничала Н.А. Теффи?

«Осколки», «Сатирикон», «Развлечение».

Основные проблемы и категории журналистики

А. Что такое эзоповская манера в публицистике?

Б. Причина появления бесцензурной печати.

В. В чем заключалась политическая и экономическая программа либерально-буржуазных изданий конца XIX в.?

Рефераты

1. В чем отличие «Ведомостей» Петра I от первых газет европейских государств?
2. Оценка Белинским и Гоголем журнала «Библиотека для чтения» 30-х годов XIX в.
3. Характерные черты газеты «Правда» 1912 г как массового социал-демократического издания.

Ключ к тестам

Номер варианта	Номер ответа		
	А	Б	В
<i>Вариант 1</i>	3	3	3
<i>Вариант 2</i>	3	2	3
<i>Вариант 3</i>	1	3	2
<i>Вариант 4</i>	1	2	3
<i>Вариант 5</i>	2	1	2
<i>Вариант 6</i>	2	3	2

Литература

Литература, относящаяся ко всему курсу, включает в себя учебники и учебные пособия общего характера, имеющиеся хрестоматии и отдельные монографии, затрагивающие историю цензуры. Большинство этих книг относится к советскому времени. Они содержат необходимые фактические данные по истории отечественной журналистики, однако требуют критического отношения к методологической части этих пособий и монографий. Сравнение работ В.И. Ленина и Н.А. Бердяева покажет наличие разных точек зрения на развитие революционных идей в России, отраженных в журналистике XIX — начала XX в.

Частные исследования, а также книги, написанные историками и филологами, исследующие отдельные темы истории журналистики, включены в списки литературы к конкретным разделам настоящего пособия. Этот список может быть скорректирован каждым преподавателем, исходя из своего видения курса, развития определенных навыков у студентов и учитывая возможности местных библиотек.

Кроме учебной литературы в список включены публицистические тексты русских писателей, журналистов и критиков. Перечисленные тексты являются минимальным материалом, с которым обязан познакомиться учащийся. Читая произведения видных русских публицистов, можно воспользоваться как собраниями сочинений указанных

авторов, так и хрестоматиями. Следует иметь в виду, что в хрестоматиях многие тексты даны с сокращениями.

Настоящее пособие, учебную литературу целесообразно прочитать до лекции на аналогичную тему, тексты же авторов надо прочитать после прослушивания лекции и кратко законспектировать, проверить усвоение материала по вопросам для повторения. Более обстоятельное знакомство с произведениями публицистов можно только приветствовать. Важно, если дополнительные материалы будут прочитаны, исходя из творческой установки учащегося, его личных интересов и пристрастий к тематике или жанровым формам публицистики.

В конце списка литературы названы основные справочники по истории русской журналистики.

ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМУ КУРСУ

История русской журналистики XVIII—XIX вв.: Учебник / Под ред. А.В. Западова. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1973.

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в.: Учебник. М.: Высшая школа, 1989.

Очерки по истории русской журналистики и критики. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, Т. 1, 2, 1950, 1965.

История русской журналистики: Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1991.

Русская журналистика XVIII—XIX веков. Тексты. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. Кн. 1, 2, 3. М.: Изд-во ВПШ при ЦК ВКП(б), 1952-1956.

Смолкина Н.С. Россия и Запад в отечественной публицистике XIX в.: Хрестоматия. Т. 1,2. М.: Радонеж, 1995.

Хрестоматия по истории русской журналистики XIX в. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1969.

* * *

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. 1702—1917. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1971.

Есин Б.И., Кузнецов И.В. Три века московской журналистики. М.: Триада, 1997.

Ленин В.И. Из прошлого рабочей печати в России // Полн. собр. соч. Т. 25.

Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905—1914). М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1991.

Скабичевский А.Н. Очерки по истории русской цезуры (1700—1863). СПб.: Изд. Ф. Павлецкова, 1892.

Станько А. И. Становление теоретических знаний о периодической печати в России. Ростов н/Д: Изд-во Ростов, гос. ун-та, 1986.

Энгельгардт Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703—1903). СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1904.

Возникновение и развитие русской журналистики в XVIII в.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М.: Высшая школа, 1973.

Ломоносов М.В. Рассуждение об обязанностях журналистов // Избр. соч.: В 2 т. Л.: Наука, 1986. Т. 1. С. 217—225.

Татаринова Л.Е. История русской литературы и журналистики XVIII в. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1982.

Верков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952.

Западов А.В. Русская журналистика 1769—1774 годов. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1959.

Западов А.В. Русская журналистика последней четверти XVIII века. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1962.

Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

Пекарский А.П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале. 1755—1764. СПб.: 1867.

Русские сатирические журналы XVIII в.: Избр. статьи и заметки / Под ред. Н.К. Гудзия. М.: Учпедгиз, 1940.

Сатирические журналы Н.И. Новикова / Под ред. П.Н. Беркова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951.

Пирожкова Т.Ф. Н.М. Карамзин — издатель «Московского журнала». М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1978.

* * *

Добролюбов Н.А. Русская сатира екатерининского времени // Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. Т. 5. С. 314—401.

Крылов И.А. Почта духов. Похвальная речь в память моему дедушке. Каиб // Русская проза XVIII века. М.; Л.: ГИХЛ, 1950. Т. 2. С. 631-758.

Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества; Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего // Избр. философ. соч. М.; Л.: Госполитиздат, 1949. С. 262—270, 200—204.

Сумароков А.П. Статьи // Русская проза XVIII века. М.; Л.: ГИХЛ, 1950. Т. I. С. 65-76.

Фонвизин Д.И. Всеобщая придворная грамматика. Вопросы к сочинителю «Былей и небылиц». Письма из Франции. Друг честных людей или Стародум // Русская проза XVIII века. Т. I. С. 465—582.

Русская журналистика в начале XIX в.

Березина В.Г. Русская журналистика первой четверти XIX века, Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1965.

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М.: Высшая школа, 1989.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М.: Высшая школа, 1973.

Очерки по истории русской журналистики и критики. Л.: Изд. Ленингр. гос. ун-та, 1950. Т. I. С. 155—195.

Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб.: Изд. Бунина, 1908.

Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990.

Лотман Ю.М. Походная типография штаба Кутузова и ее деятельность // 1812 г. К 150-летию Отечественной войны. М.: Изд. АН СССР, 1962. С. 215—232.

Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Ученье в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. М.: Изд-во АН СССР, 1954.

Орлов В.Н. Русские просветители 1790—1800 годов. М.: ГИХЛ, 1953.

Станько А.И. Русские газеты первой половины XIX в. Ростов н/Д.: Изд-во Ростов, гос. ун-та, 1969.

Станько А.И. Пушкин — журналист и редактор. Ростов н/Д.: Изд-во Ростов, гос. ун-та, 1973.

* * *

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд. АН СССР, 1953. Т. I. С. 259—307.

Белинский В.Г. Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы // Там же. Т. 2. С. 7—50.

Белинский В.Г. Несколько слов о «Современнике» // Там же. С. 178—184.

Белинский В.Г. Н.А. Полевой // Там же. Т. 9. С. 671—692.

Бестужев А.А. Взгляд на старую и новую словесность в России; Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г.; Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов // Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика / Сост. Вл. Орлов. М.: ГИХЛ, 1951. С. 534—549.

Булгарин Ф.М. Всякая всячина. Литературно-критические статьи. 1825—1842. Л.: Высшая школа, 1990.

Герцен А. И. О развитии революционных идей в России (1812—1825 гг.; Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 г.) // Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд. АН СССР, 1956. Т. 7. С. 193—231.

Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834—1835 гг. // Собр. соч.: В 7 т. М.: 1986. Т. 6. С. 140—159.

Жуковский В.А. О басне и баснях Крылова // Соч. М.: ГИХЛ, 1954. С. 508—515.

Карамзин Н.М. Письмо сельского жителя; Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени; Фрол Силин, благодетельный человек // Сочинения Карамзина: В 3 т. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1848. Т. 3. С. 567—580, 585—598, 661—665.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М.: 1988 (Париж, апрель 1790, С. 309—312) или: Русская проза XVIII века. Т. II. М.; Л., 1950. С. 445—447.

Мемуары декабристов. М.: 1981.

Муравьев Н.М. Любопытный разговор // Декабристы. С. 480—481.

Муравьев-Апостол С. Православный катехизис // Там же. С. 500—511.

Орлов М.Ф. Приказы по 16-й пехотной дивизии // Там же. С. 467—469.

Пестель П.И. Русская правда (в отрывках). Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. II. М.: 1951. С. 73—162.

Полевой Н. Рецензия на пьесу Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» // Московский телеграф, 1834. № 3.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1960. (Лит. памятники).

Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум // Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Худ. лит. 1976. Т. 5. С. 346—394.

Пушкин А.С. О журнальной критике // Там же. Т. 6. С. 29—30.

Пушкин А.С. О записках Видока // Там же. С. 57—58.

Пушкин А.С. Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов // Там же. С. 69—76.

Пушкин А.С. Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем // Там же. С. 76—80.

Рылеев К.Ф. Несколько мыслей о поэзии. К временщику // Декабристы. С. 457—459.

Сенковский О.И. Сочинения барона Брамбеуса. М.: Советская Россия, 1989.

«Современник», литературный журнал А.С. Пушкина. 1836—1837. Избранные страницы. М., 1988.

Чаадаев П.Я. Философическое письмо (первое) // *Чаадаев П.Я.* Статьи и письма. М., Современник, 1987. С. 35—42.

Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. соч.: В 16 т. М.: ГИХЛ, 1947. Т. 3. С. 5—164.

Журналистика 1840-х годов

Березина В. Г. Русская журналистика второй четверти XIX века. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1965.

Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. М.: Высшая школа, 1989.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М.: Высшая школа, 1973.

Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия («Эпоха цензурного террора»). СПб.: Труд, 1904. С. 183—308.

Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1997.

Прохоров Е.П. В.Г. Белинский. М.: Мысль, 1978.

* * *

Аксаков К.С. Аксаков И.С. Литературная критика. М.: Современник, 1982.

Белинский В.Г. Педант // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 6. С. 68—73.

Белинский В.Г. Парижские войны // Там же. Т. 8. С. 167—186.

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Там же. Т. 10. С. 7—50.

Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Там же. С. 212—220.

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Там же. С. 279—359.

Белинский В.Г. Ответ «Москвитянину» // Там же. Т. 10. С. 221—269.

Герцен А.И. «Москвитянин» и вселенная // Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 133—139.

Герцен А.И. Письма из Франции и Италии (письмо второе) // Там же. Т. 5. С. 29—35.

Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1986.

Григорьев Ап. Эстетика и критика. М.: Сов. Россия, 1980.

Дружинин А.В. Литературная критика. М.: Сов. Россия, 1983.

Майков В.И. Литературная критика. Л.: Сов. Россия, 1985.

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 3, Гл. 7—9. С. 226—309.

Журнал «Отечественные записки» за 1844—1848 гг.

Журнал «Современник» за 1847—1848 гг.

Вольная русская пресса за границей. «Полярная звезда» и «Колокол»

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М.: Высшая школа, 1989.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М.: Высшая школа, 1973.

Герцен А.И. Крещеная собственность // Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. С. 97—112.

Герцен А.И. Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ // Там же. Т. 15. С. 135—138.

Герцен А.И. VII лет // Там же. Т. 18. С. 238—244.

Герцен А.И. К старому товарищу. Письмо 2-е // Там же. Т. 20. Кн. 2. С. 581—586.

Ленин В.И. Памяти Герцена // Полн. собр. соч. Т. 21. С. 255—262.

Материалы Герцена и Огарева из «Полярной звезды» и «Колокола» // «История русской журналистики. Хрестоматия». М.: Высшая школа, 1991. С. 135—175, или Русская журналистика XVIII—XIX веков: Тексты. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. С. 138—165.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1952. Вып. I. С. 289—356 (тексты из «Полярной звезды» и «Колокола»).

Татарина Л.Е. А.И. Герцен. М., Мысль, 1980.

Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М.: Мысль, 1984.

«Колокол» (1857—1867). Факсимильное издание. Вып. 1—4. М.: Наука, 1962—1964.

Журналистика эпохи реформ 60-х годов

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М., 1989.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М., 1973.

Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1965. Т. 2.

Горячим словом убежденья. «Современник» Некрасова и Чернышевского. М., 1989.

Кузнецов Ф.Ф. Журнал «Русское слово». М.: Худ. лит., 1965.

Лебедева Г.М. Сатирический журнал «Искра» (1859—1873). М.: Сов. Россия, 1959.

Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время», 1861—1863. М.: Наука, 1972.

Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М.: Наука, 1975.

Нечкина М.В. Н.Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации // Встреча двух поколений. М.: Наука, 1980. С. 222—242.

Поэты «Искры»: В 2 т. Л.: Сов. писатель, 1955. Т. 2. (Большая серия «Библиотеки поэта»).

Прокламации 60-х годов. М.; Л.: Моск. рабочий, 1926.

Ямпольский И.Г. Сатирическая журналистика 1860 года («Искра»), М.: ГИХЛ, 1964.

Ямпольский И.Т. Сатирический журнал «Гудок» (1862) // Рус. лит., 1962. №3. С. 102-119.

Журнал «Современник» за 1854—1866.

Журнал «Русское слово» за 1860—1866.

Журналы Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865).

* * *

Антонович М.А. Асмодей нашего времени // Литературно-критические статьи. М.; Л.: ГИХЛ, 1961.

Григорьев Ап. Стихотворения Н. Некрасова // Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова. М.: Детская литература, 1989.

Добролюбов Н.А. Литературные мелочи прошлого года // Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. Т. 4. С. 48—112.

Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Там же. С. 307—343.

Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? // Там же. Т. 6. С. 96—140.

Добролюбов Н.А. От Москвы до Лейпцига // Там же. Т. 5. С. 452—470.

Добролюбов Н.А. Письмо Славутинскому // Там же. Т. 9. С. 407—408, или: Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. Вып. 2. М., 1952.

Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18, 19. Л., 1978, 1979.

Катков М.Н. Передовые статьи из газеты «Московские ведомости» за 1863 г. // Смолкина Н.С. Россия и Запад в отечественной публицистике XIX века. М., 1995. Т. II.

Ленин В.И. От какого наследства мы отказываемся? // Полн. собр. соч. Т. 2. С. 505—550.

Некрасов Н.А. Размышления у парадного подъезда // Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1948. Т. 2. С. 52—55. Поэт и гражданин // Там же С. 7—15. Отрывки из путевых записок графа Гаранского // Там же. Т. 1. С. 95—98. Родина // Там же. С. 28—29.

Писарев Д.И. Московские мыслители // Соч.: В 4 т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. I. С. 274—319.

Писарев Д.И. О брошюре Шедо-Ферроти // Там же. Т. 2. С. 120—126.

Писарев Д.И. Пчелы // Там же. С. 98—119.

Писарев Д.И. Базаров // Там же. С. 7—51.

Писарев Д.И. Реалисты // Там же. Т. 3. С. 7—138.

Писарев Д.И. Французский крестьянин в 1789 году // Там же. Т. 4. С. 398—422.

Чернышевский Н.Г. Устройство быта помещичьих крестьян // Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1950. С. 500—570.

Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez vous // Там же. С. 156—174.

Чернышевский Н.Г. Г. Чичерин как публицист // Там же. С. 644— 669 (в отрывках).

Чернышевский Н.Г. Не начало ли перемены? // Там же. С. 855—889.

Чернышевский Н.Г. Новые периодические издания // Там же. Т. 7. С. 934—956.

Чернышевский Н.Г. Письма без адреса // Там же. Т. 10. С. 99—116.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Несколько полемических предположений // Полн. собр. соч.: В 20 т. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 5. С. 223—230.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Гг. семейству М.М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха», «Стрижам» // Там же. Т. 6. С. 484—488.

Журналистика пореформенной эпохи

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М., 1989. История русской журналистики XVIII—XIX вв. М., 1973. Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1965. Т. 2.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1956. Вып. 3. С. 84-104.

Бушмин А.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.: Изд. АН СССР, 1959.

Гиляровский В.А. Москва газетная // Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1989.

Горячкина М.С. Салтыков-Щедрин и русская демократическая литература. Л., 1980.

Емельянов Н.П. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова (1868—1884). Л.: Худ. лит., 1986.

Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1971.

Есин Б.И. Чехов-журналист. М.: Изд. Моск. ун-та, 1977.

Есин Б.И. Демократический журнал «Дело». М.: Изд-во Моск. гос. ун-та. 1959.

Есин Б.И. Н.В. Шелгунов. М.: Мысль, 1977.

Лапина Г. С. Русская пореформенная печать 70—80-х годов XIX века. М.,: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1985.

Лаптева Т.А. Публицистическая деятельность Вл.С. Соловьева. М., 1992.

Ленин В.И. От какого наследства мы отказываемся? // Полн. собр. соч. Т. 2. С. 505—550.

Ленин Р.И. Народники о Н.К. Михайловском // Полн. собр. соч. Т. 24. С. 333—337.

Ленин В.И. Карьера // Полн. собр. соч. Т. 22. С. 43—44.

Литература партии «Народная воля». М.: Изд-во Общества политкаторжан. 1930.

Маркс К. Письмо в редакцию «Отечественных записок» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 116—121.

Сборник «Из истории русской журналистики». М.: Изд-во Моск. гос. ун-та. 1959. Отделение: Материалы. С. 205—248.

Турков А.М. М.Е. Салтыков-Щедрин. М., 1979.

Теплинский М.В. «Отечественные записки» 1868—1884. Южно-Сахалинск: Дальневост. кн. изд-во, 1966.

Штурманы будущей бури. М., Сов. Россия, 1987.

Энгельс Ф. Эмигрантская литература // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 518—548.

Журнал «Отечественные записки» (1868—1884).

* * *

Михайловский Н.К. Статьи о русской литературе XIX — начала XX вв. М., 1989.

Плеханов Г.В. С новой бумагопрядильни. Волнение в среде фабричного населения. Закон экономического общества и задачи социализма в России // Собр. соч. Т. I, ч. 1, 2. СПб.: ГИЗ, 1920.

Плеханов Г.В. Современные задачи русских рабочих (письмо к петербургским рабочим кружкам) // Соч. Т. 2. С. 363—372 или История русской журналистики: Хрестоматия. М., 1991.

Соловьев Вл.С. Литературная критика. М., 1990.

Успенский Г.И. Книжка чеков // Собр. соч.: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 3. С. 7—31.

Успенский Г.И. Равнение под одно // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 626—644.

Успенский Г.И. Дополнение к рассказу «Квитанция» // Там же. Т. 7. С. 497—505.

Успенский Г.И. Горький упрек. // Там же. Т. 9. С. 160—173.

Чехов А.Л. Остров Сахалин // Собр. соч.: В 30 т. М.: Худ. лит., 1978. Т. 14. С. 39—372.

Чехов А.П. Из Сибири // Там же. Т. 15. С. 5—38.

Чехов А.П. Корреспондент // Там же. Т. 1. С. 179—195.

Чехов А.П. Два газетчика // Там же. Т. 4. С. 156—159.

Шелгунов Н.В. Очерки русской жизни. СПб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1895.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Дневник провинциала в Петербурге // Полн. собр. соч.: В 20т. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 10. С. 371—422, 474—494.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Письма к тетеньке (письмо одиннадцатое) // Там же. Т. 14. С. 450—462.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). За рубежом // Там же. Т. 14. С. 61—286.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Пестрые письма // Там же. Т. 16. С. 298—320.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Мелочи жизни // Там же. С. 134—154, 209—260, 313—327.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Сказки // Там же. С. 197—206.

Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Напрасные опасения // Там же. Т. 9. С. 7—35.

Пресса 1890-х годов

Есин Б.И. История русской журналистики XIX в. М., 1989.

История русской журналистики XVIII—XIX вв. М., 1973.

Из истории русской журналистики конца XIX — начала XX в. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1973.

Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890-1904. М.: Наука, 1981, 1982.

Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1965. Т. 2.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики: В 3 вып. М., 1956. Вып. 3. С. 179—195.

Федосеев Н.Е. Письма Н.К. Михайловскому // Я. Федосеев. Статьи и письма. М.: ГИХЛ, 1958. С. 95—167.

Русское богатство. 1876—1918. Ред.-издатель А. Злобин. М., 1991. № 1.

* * *

Короленко В.Г. Павловские очерки. В голодный год (Вместо предисловия, гл. 1.) Мултанское жертвоприношение // Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 9. С. 7—11, 21—27, 100—111, 344—351.

Горький М. На арене борьбы за правду и добро. Очерки и наброски. Между прочим. Поль Верлен и декаденты. Беглые заметки. Машинный отдел. С Всероссийской выставки // Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 23. С. 5—7, 91—107, 13—78, 124—138, 139—187, 198—212, 213—254.

Журналистика начала XX в.

Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы первой мировой войны. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975.

Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1971.

Есин Б. И. Правительственная газета для народа «Сельский вестник» // Путешествие в прошлое. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1983.

Из истории русской журналистики начала XX века. М., 1984.

Левецкий Д. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М.: Русский путь, 1999.

Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М.: Наука, 1981.

Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982.

Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905—1914). М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1991.

Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Большеви́стские и общедемократические издания. М.: Наука, 1984.

Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1984.

Смирнов С. В. Легальная печать в годы первой русской революции. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981.

Спиридонова Л.А. Русская сатирическая литература начала XX в. М.: Наука, 1977.

Сытин И.Д. «Русское слово» // Жизнь для книги. М.: ГИПЛ, 1985. С. 183—209.

* * *

Амфитеатров А.В. Господа Обмановы // Русский фельетон. М.: ГИПЛ, 1958.

Гиляровский В.А. Репортажи // *В.А. Гиляровский.* Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1989.

«Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990.

Дорошевич В.М. Очерки и фельетоны // Рассказы и очерки. М.: Моск. рабочий, 1986.

Короленко В.Г. Бытовое явление, Сорочинская трагедия (Открытое письмо статскому советнику Филонову) // *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 9.

Ленин В.И. О «Вехах» // Полн. собр. соч. Т. 19.

Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература // Полн. собр. соч. Т. 12.

Мякотин В.А. Годовщина. Размышления об уроках февральской революции и октябрьского переворота // Русское богатство. 1876—1918. М.: Изд-во Л. Злобина, 1991. № 1.

Петрищев А. В гриме и без грима // Русское богатство. 1876—1918. М., 1991. № 1.

Толстой Л.Н. Страшный вопрос. Не могу молчать // *Л. Толстой.* Не могу молчать. М., 1985.

СПРАВОЧНИКИ

Беляева Л.Н. и др. Библиография периодических изданий России 1901—1916. Т. 1—4, Л., 1958—1961.

История русской литературы XIX века. Библиография. М., 1962.

История русской литературы конца XIX — начала XX века. Библиография. М., 1963.

Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703—1900 гг. Пг., 1915.

Машкова М.В., Сокурова М.В. Общие библиографии русских периодических изданий. 1703—1954. Л., 1956.

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. Т. 1—4. М., 1958—1960.

Русская периодическая печать. 1702—1894. Справочник. М., 1953.

Русская периодическая печать. 1895—1917. М., 1957.

Русские писатели. Библиографический словарь. М., 1990. Т. 1—2.

Предисловие к хрестоматии

Материалы хрестоматии сопровождаются краткими примечаниями, которые носят обучающий характер. Примечания, сделанные авторами текстов, включенных в хрестоматию, обозначены знаком *. Примечания, сделанные составителем отмечены цифрами и отнесены к комментариям по каждому автору. Названия, данные составителем или исследователями, заключаются в угловые скобки, сокращения обозначены знаком <...> Правописание текстов XIX, начала XX в. приближено к современному, для текстов XVIII и начала XIX в. сохранены некоторые особенности старой орфографии.

Хрестоматия «История русской журналистики» включает в себя образцы публицистических текстов XVIII, XIX и начала XX в., входящих в программу курса истории русской журналистики для факультетов и отделений журналистики высших учебных заведений.

Отбор текстов определялся их значимостью, а в отдельных случаях труднодоступностью (статьи Н.М. Карамзина, А.П. Куницына, М.Н. Каткова, Г.З. Елисеева, Г.В. Плеханова и др.).

Новым для подобной хрестоматии является раздел, посвященный публицистике начала XX в. До последнего времени изучение истории русской журналистики заканчивалось 1895—1896 г., а изучение журналистики 1900—1917 гг. ограничивалось только историей большевистской печати (см., например, кн. А.Ф. Бережного «История партийно-советской печати», М., 1987 г. и др.). Данная хрестоматия знакомит с текстами, взятыми из общедемократической и либеральной прессы 1900—1917 гг. (А.В. Амфитеатров, В.Я. Брюсов, В.Г. Короленко, Л.З. Слонимский, Ф.И. Шаляпин и др.).

Хрестоматия дает возможность студенту оперативно следить за ходом лекционного курса, готовиться к практическим занятиям и отвечать на контрольные вопросы, указанные в учебном пособии.

Следует иметь в виду, что Хрестоматия многие тексты представляет в отрывках или с сокращениями. Поэтому наличие Хрестоматии не исключает чтения программных произведений в полном объеме по собраниям сочинений русских писателей, критиков и

публицистов. Их чтение поможет формированию профессиональных навыков, поскольку они являются законченными самостоятельными произведениями политического и художественного значения. В конце текстов указаны год и место первой публикации произведения.

Первая русская печатная газета «Ведомости» (1703—1727)

2 января 1703 года

На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. Те пушки ядром по 24, по 18 и по 12 фунтов. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые. Мартиры бомбом девяти, трех и двухпудовые и меньше. И еще много форм готовых великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пуд лежит.

Повелением его величества московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили.

В математической штурманской школе больше 300 учатся и добре науку приемлют.

На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеска и женска полу 386 человек.

Из Персиды пишут: Индейский царь послал в дарах великому Государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путем.

Из Казани пишут: На реке Соку нашли много нефти и медной руды, из той руды медь выплавили изрядну, от чего чают немалую быть прибыль Московскому государству.

Из Сибири пишут: В Китайском государстве езуитов вельми не стали любить за их лукавство, а иные из них и смертью казнены.

Из Олонца пишут: Города Олонца поп Иван Окулов, собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в свейскую границу и разбил свейские Ругозенскую, и Гиппонскую, и Сумерскую и Керисурскую заставы. А на тех заставах шведов побил многое число и взял рейтарское знамя, барабаны и шпаг, фузей и лошадей довольно, а что взял запасов и пожитков он, поп, и тем удовольствовал солдат своих <...>

На Москве, 1703, генваря в 2 день.

20 июля 1708 года

Донской казак, вор и богоотступник Кондрашка Булавин¹ умыслил во украинских городах и в донских казаках учинить бунт. Собрал к себе несколько воров и единомысленников и посылал прелестные письма² во многие города и села, призывая к своему воровскому единомыслию, и многие таковые ж воры и все донские казаки иные по нужде, а иные по прелести его к нему пристали. И собравшиеся многолюдством,

¹ Булавин Иван Иванович (1680—1708) — донской казак, вор и богоотступник, организатор бунта в Украине и на Дону в 1708 году.

² Письма, в которых Булавин призывал казаков к бунту.

ходили под города и в села для разорения и призывания иных в свое единомыслие, и того ради царское величество указал послать свои войска под команду господина Долгорукова, дабы того вора Булавина поймать и злый их воровский совет разорить. И ныне по письмам из полков и городов подлинно ведомость получена: что они, воры булавинцы, не во едином месте многие, а главнейший его товарищ вор Стенька Драной во многом своем собрании убит и единомысленников их не малое число побито. Также и под Саратовом и Азовом посланные воровские его товарищи, с немалым собранием побиты, и видя он, Булавин, что не может от войска царского величества уйти, убил сам себя до смерти. А единомысленники его многие побиты, иные же переловлены и сидят окованы. А донские казаки всех городов принесли повинные. И ныне милостию божиею то Булавина и единомысленников его воровство прииде во искоренение. А в которых числах и где и сколько их воров побито и переловлено, и то объявлено будет впредь.

На Москве, лета господня 1708, июля в 20 день.

2 июля 1709 года

Из лагари от Полтавы в двадцать седьмый день июня, в письме власныя руки³ его царского величества ко благороднейшему государю царевичу писано:

Объявляю Вам о зело превеликой и неначаемой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших солдат даровати изволили с малою войск наших кровию таковым образом.

Сего дня на самом утре жаркий неприятель нашу конницу со всею армеею конною и пешею отаковал, которая хотя зело по достоинству держалась, однакоже принуждена была уступить токмож с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фронт против нашего лагари, против которого тотчас всю пехоту из странжемент⁴ вывели, и перед очи неприятелю поставили. А конница на обоих фланках. Что неприятель увидя, тотчас пошел отаковать нас. Против которого наши встречу пошли, и тако оного встретили, что тотчас с поля збили, знамен и пушек множество взяли. Також генерал фелтмаршал господин Рейншилт, купно с четырьмя генералы, а имянно Шлиппенбахом, Штакенберхом, Гамольтоном и Розеном, також первый министр граф Пипер с секретарми Емерлином и Цидергермом в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, о чем подробну вскоре писать будем, а ныне за скоростию невозможно. И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаетонов конец восприяла⁵. А о короле еще не можем ведать, с нами ли или со отцы нашими обретается. А за достальными розбитыми неприятельми посланы господа генералы порутчики, князь Голицын и Боур с конницей. И о сей у нас неслыханной новине воздаем мы должное благодарение победодателю богу, а вас и господ министров и всех наших сею викториею поздравляем.

Приведен еще князь Виртельбергской, сродственник самого короля шведского.

Получено и печатано в Москве 1709-го, июля в 2 день.

Ведомости времени Петра Великого.

М., 1903. Вып. 1. С. 3; Вып. 2. С. 5, 24—25.

Первая русская печатная газета «Ведомости» организована на основании указов Петра I в декабре 1702 г. Пробные номера «Ведомостей» были выпущены 16 и 17 декабря, но не сохранились в печатном виде, со 2 января 1703 г. «Ведомости» начали выходить более или менее регулярно.

Газета издавалась в Москве и Петербурге одновременно. До 1710 г. она печаталась церковнославянским шрифтом, с 1710 г. — частично гражданским шрифтом, а с 1715 г. новый шрифт окончательно вытеснил церковнославянский. Носила преимущественно информационный характер. «Ведомости» выходили тиражом 150—4000 экз. и продавались, а иногда «выдавались народу безденежно».

Редактором ряда номеров ее был Петр I, первыми литературными сотрудниками — Борис Волков и Яков Синявич.

В 1728 году издание «Ведомостей» было передано Академии наук, газета выходила под названием «Санкт-Петербургские ведомости».

¹ Булавин, Кондратий — руководитель народного восстания 1707 г. на юге России. Восстание вспыхнуло в ответ на попытку правительства Петра I вернуть с Дона беглых людей, т.е. крестьян, рабочих, дезертиров-солдат, скрывавшихся от непомерных царских налогов, гнета крепостников и офицеров. Летом 1708 г. восстание было подавлено. Булавин застрелился.

² Прелестные письма (от слова прельщать) — тексты, подобные листовкам, прокламациям.

³ Власный — собственный.

⁴ Странжемент — испорченный ретраншемент, т.е. внутренняя оборонительная ограда.

⁵ Фазтонов конец — Фазтон (греч. пылающий) в древнегреческой мифологии сын бога солнца, не справившийся с огненной колесницей отца и убитый молнией Зевса.

М. В. Ломоносов

М. В. ЛОМОНОСОВ

(1711—1765)

Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими

сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии

Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскивание истины <...>

Журналы могли бы <...> очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них требуется. Силы — чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля — для того, чтобы иметь в виду одну только истину <...>

Вот правила, которыми, думается, мы должны закончить это Рассуждение. Лейпцигского журналиста и всех подобных ему просим хорошо запомнить их.

1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы. Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах, и не просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях, создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать при этом неточные и безвкусные суждения — значит сделать себя предметом презрения и насмешки; это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы.

2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть на них, как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну.

3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица; вторая — те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными опубликования людьми, соединенные познания которых, естественно, должны превосходить познания журналиста. Прежде чем бранить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если потребуется, защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в них в систематическом порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо более постыдными, если в них

скрываются небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность.

4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это — нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе.

5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последними мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по естественным наукам и медицине.

6. Журналисту позволительно опровергнуть в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого, хотя не в том заключается его прямая задача и его призвание в собственном смысле; но раз уж он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые подробности.

7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценностях своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно не прав, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность.

Ломоносов М. В.

Избр. произв. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 217—218, 225.

М.В. Ломоносов был тесно связан с русской журналистикой как организатор и литератор. Кроме того, ему приходилось как публицисту и ученому отстаивать труды отечественных ученых, собственные научные открытия от искажения их зарубежными рецензентами. В 1754 г. Ломоносов написал на латинском языке (как тогда было принято) «Рассуждение об обязанностях журналистов...» в ответ на ряд рецензий с необоснованной критикой его работ по физике в немецких изданиях 1752—1754 гг. Не ограничиваясь изложением специальных научных проблем, Ломоносов затрагивает в статье вопрос о правах и обязанностях журналистов, этике научных публикаций, говорит о большой ответственности журналиста при рецензировании научных трудов.

Статья Ломоносова была напечатана в 1755 г. при содействии немецкого ученого Л. Эйлера на французском языке в научном амстердамском журнале без подписи автора; на русском языке впервые опубликована в «Сборнике материалов для истории Академии наук в XVIII веке». (СПб 1865. Ч. 2).

Н. И. Новиков

Н. И. НОВИКОВ¹

(1744—1818)

Ведомости

Из Кронштадта²

На сих днях прибыли в здешний порт корабли: 1. Trompeur из Руана в 18 дней; 2. Vetilles из Марселя в 23 дни. На них следующие нужные нам привезены товары: шпаги французские разных сортов, табакерки черепаховые, бумажные, сургучные, кружевы, блонды, бохромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки и всякие так называемые галантерейные вещи; перья голландские в пучках чиненные и нечиненные, булавки разных сортов и прочие модные мелочные товары, а из петербургского порта на те корабли грузить будут разные домашние наши безделицы, как то: пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотна и проч. Многие наши молодые дворяне смеются глупости господ французов, что они ездят так далеко и меняют модные свои товары на наши безделицы.

* * *

Молодого Российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города.

Подряды

В некоторое судебное место потребно правосудие до 10 пуд; желающие в поставке одного подрядиться, могут явиться в оном месте.

Продажа

Недавно пожалованной воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить могут его сыскать в здешнем городе.

Сатирические журналы Н.И. Новикова.

М.; Л., 1951. С. 63—64.

Рецепт для г. Безрассуда³

Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только по тому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую *оброк*. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не достаивает их наклоением своей головы, когда

они по восточному обыкновению пред ним по земле распростираются. Он тогда думает: Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора. В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: *в поте лица твоего снеси хлеб твой*. Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем, что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: *это не мое, но божие и господское*. Всевышний благославляет их труды и награждает, а *Безрассуд* их обирает. Безрассудной! разве забыл то, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою, во образе крестьян, рабов твоих? Разве не знаешь ты, что между твоими рабами и людьми больше сходства, нежели между тобою и человеком. Вообрази рабов твоих состояние, оно и без отягощения тягостно; когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения, они не смеют и мыслить, что они люди, но почитают себя осужденниками за грехи отца своих, видя, что прочие их братья у помещиков отцов наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете щастию, ради того, что они в своем звании благополучны; то подумай, как должны гнушаться тобою истинные люди господа, господа — отцы своих детей, а не тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преобращающим нужное подчинение в несносное иго рабства. Но *Безрассуд* всегда твердит: *я господин, они мои рабы; я человек, они крестьяне*. От сей вредной болезни

Рецепт:

Безрассуд должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином.

Сатирические журналы Н.И. Новикова. С. 135—136.

Копия с отписки⁴

Государю Григорию Сидоровичу!

Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.

Указ твой господской мы получили, и денег оброчных со крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ, сто двадцать три рубли двадцать алтын; с деревенских с пятидесяти душ, шестьдесят один рубль семнадцать алтын; а в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских двадцать шесть рублей четыре гривны, на деревенских тринадцать рублей сорок девять копеек, да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских сорок три рубли двадцать копеек, а больше собрать не могли; крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумны собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повалилась; а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходе сек нещадно, только они оброку не заплатили,

говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как позволишь? денег не платит, говорит, что взять негде: он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие робятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатил мир, видя его скудость; а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клетки за три рубли за десять алтын; корова за полтора рубли, а лошади у него все пали, другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем; миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут а робятишек поморить и его вконец разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с ним сам поволит, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подрастут робятишки; без скотины, да без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь, тебе бьют челом о завладевающей у нас *Нахранцовым* земле, прикажи ходить за делом: он нас разоряет, и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему господскому собрано тридцать рублей, и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиваться по делу. *Нахранцов* на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитью за мною из города посылка. Меня в отчине тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян, в самую рабочую пору; и я, государь, в город ездил, просил секретаря и воеводу, и крестьян ваших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублей, воз хлеба, да пять возов сена. *Нахранцов* попался нам по дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму. Секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: он боярин доброй, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось либо он за нас вступится и секретаря уймет, а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступишь, государь, за нас, своих сирот: коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят и *Нахранцов* всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало не вмоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим все тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, а нынче стало уже невмочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все вконец разоримся; неплательщики все прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресение, и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволит. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублей с полтиною; да на две избы, по пяти рублей за избы. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки на то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался, и затем с ним разошелся, взято по указу твоему тридцать рублей. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублей. И он на сходе высечен. Он сказал: *я де это сказал с глупости*, и напередки он тебя, государя, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся рабы твои староста Андрюшка со всем миром, земно кланяемся.

Копия с другой отписки⁵

Государю Григорью Сидоровичу!

Бьет челом и плачется сирота твой Филатка.

По указу твоему господскому я, сирота твой, на сходе высечен, и клетки мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты в оброк, и с меня староста правит остальных, только мне взять негде, остался с четверыми робятишками, мал мала меньше, и мне, государь, ни их, ни себя кормить нечем; над робятишками и надо мною сжалился мир, видя нашу бедность; им дал корову, а за меня заплатили подушные деньги, а то бы пришло последнюю шубенку с плеч продать. Нынешним летом хлеба не сеял, да и на будущий земли не пахал: нечем подняться. Робята мои большие и лошади померли, и мне хлеба достать не на чем и не с кем, пришло пойти по миру, буде ты, государь, не сжалишься над моим сиротством. Прикажи, государь, в недоимке меня простить, и дать вашу господскую лошадь, хотя бы мне мало-помалу исправиться, и быть опять твоей милости тяглым крестьянином. За мною, покуда на меня бог и ты, государь, не прогневались, недоимки никогда не бывало, я всегда первый клал в оброк. Нынче на меня невзгодье, и я поневоле сделался твоей милости неплательщиком. Буде твоя милость до меня будет, и ты оботрешь мои сиротские и бедных моих робятишек слезы, и дашь исправиться, так и я опять твоей милости буду крестьянин; а как подрастут робятишки, так я и доброй буду тебе слуга. Буде же ты, государь, надо мною не сжалишься, то я сирота твой и с малыми моими сиротишками поневоле пойду питаться христовым именем. Помилуй, государь наш, Григорей Сидорович! кому же нам плакаться, как не тебе? Ты у нас вместо отца и мы тебе всей душой ради служить. Да как пришло невмочь так ты над нами смилуйся; наше дело крестьянское, у ково нам просить милости, как не у тебя. У нас в крестьянстве пословица *до бога высоко, а до царя далеко*, так мы таки все твоей милости кланяемся. Неужто у твоей милости каменное сердце, что ты над моим сиротством не сжалишься? Помилуй, государь прикажи мне дать кляченку и от оброка на год уволить, мне без того никак подняться невозможно; ты сам, родимой, человек умной, и ты сам ведаешь, что как твоя милость без нашей братьи крестьян так мы без детей да без лошадей никуда не годимся. Умилосердися, государь, над бедными своими сиротами. О сем просит со слезами крестьянин твой Филатка и земно и с робятишками кланяется.

Сатирические журналы Н.И. Новикова. С. 155—156.

Копия с помещичьего указа⁶

Человеку нашему Семену Григорьевичу!

Ехать тебе в*** наши деревни, и по приезде исправить следующее:

1

Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь за счет старосты Андрея Лазарева.

2

Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запуская оброк и недоимку, и после из старост его сменить; а сверх того взыскать с него штрафа сто рублей.

3

Сыскать в самую истинную правду, как староста, и за каких взяток оболгал нас ложным своим докладом? За то прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.

4

Старосты Андрюшки и крестьянина Панфила Данилова, по коим староста учинил ложный донос, обоих их дома опечатать и определить караул; а их самих отдать под караул в другой дом.

5

Естьлиж в чем-либо будут они чинить заперательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.

6

И как нет сомнения, что староста донос учинил ложной, то за оное перевести его к нам на житье в село ***; буде же он за дальним расстоянием перевозиться и раззорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.

7

Сколько пожитков всякого звания осталось после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него Данилова взыскать и взять в господский двор, учиня всему тому опись.

8

Крестьян в разделе земли по просьбе их поровнять по твоему благорассуждению, но при том однакож объявить им, что збавки с них оброку не будет, и чтобы они, не делая никаких отговорок, оной платили без доимочно; неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.

9

Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выпись; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет на взятые выписи.

10

В начавшийся рекрутский набор с наших деревень рекрута не ставить, ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров за чиненные им неоднократно пьянствы и воровствы вместо наказания, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.

11

За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублей; и его перевести к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать с него опричь штрафных двести рублей.

12

По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги, а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок без доимочно.

13

Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно; буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты.

14

За грибы, ягоды и протч. взять с крестьян деньгами.

15

Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привести с собою для обучения разным мастерствам.

16

По исправлении всего вышеописанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег.

Сатирические журналы Н.И. Новикова. С. 156—158.

Отрывок путешествия в* И*** Т***⁷**

Глава XIV

<...> По выезде моем из сего города, я останавливался во всяком почти селе и деревне, ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. *Бедность* и *рабство* повсюду встречались со мною во образе крестьян. Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какие помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие адоньи хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными себе человеками. О блаженная добродетель, любовь ко ближнему ты употребляешь во зло: глупые помещики сих бедных рабов изъявляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! С великим содроганием чувствительного сердца начинаю я описывать некоторые села, деревни и помещиков их. Удадитесь от меня ласкательство и пристрастие, низкие свойства подлых душ; истина пером руководствует!

Деревня *Раззоренная* поселена на самом низком и болотном месте. Дворов около двадцати, стесненных один подле другого, огорожены иссохшими плетнями и покрыты от одного конца до другого сплошь соломою. Какая несчастная жертва, жестокости пламени посвященная нерадивостию их господина! Избы или, лучше сказать, бедные развалившиеся хижинки представляют взору путешественника оставленное человеками селение. Улица покрыта грязью, тиною и всякою нечистотою, просыхающая только зимним временем. При въезде моем в сие обиталище плача, я не видал ни одного человека. День тогда был жаркий; я ехал в открытой коляске; пыль и жар столько беспокоивали меня дорогою, что я спешил войти в одну из сих развалившихся хижин, дабы несколько успокоиться. Извозчик мой остановился у ворот одного бедного дворишка, сказывая, что это был лучший во всей деревне; и что хозяин оного зажиточнее был всех прочих, потому что имел он корову. Мы стучались у ворот очень долго; нам их не отпирали. Собака, на дворе привязанная, тихим и осиплым лаем, казалось, давала знать, что ей оберегать было нечего. Извозчик вышел из терпения, перелез через ворота и отпер их. Коляска моя ввезена была на грязный двор, намощенной соломою, ежели оною наместить можно грязное и болотное место, а я вошел в избу растворенными настежь дверями. Заразительный дух ото всякой нечистоты, чрезвычайный жар и жужжание бесчисленного множества мух оттуда меня выгоняли; а вопль трех оставленных младенцев удерживал во оной. Я спешил подать помощь сим несчастным тварям. Пришед к лукошкам, прицепленным веревками к шестам, в которых лежали без всякого призрения оставленные младенцы, увидел я, что У одного упал сосок с молоком; я его поправил и он успокоился. Другого нашел, обернувшегося лицом к подушонке из самой толстой холстины, набитой соломою; я тотчас его оборотил, и увидел, что без скорой помощи, лишился бы он жизни: ибо он не только что посинел, но и, почернев, был уже в руках смерти: скоро и етот успокоился. Подошел к третьему, увидел, что он был распеленан, множество мух покрывали лицо его и тело и немилосердно мучили сего ребенка; солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и етому услугу, согнал всех мух, спеленал его другими хотя нечистыми, но однакож сухими пеленками, которые в избе тогда развешаны были; поправил солому, которую он, барахтаясь, ногами взбил: замолчал и етот. Смотря на сих младенцев, и входя в бедность состояния сих людей, вскричал я: жестокосердый тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги: приносит ли он о том жалобы? — Нет: он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? — Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопил к человечеству, чтобы его не мучили. Кричите, бедные твари, сказал я, проливая слезы, произносите жалобы свои! наслаждайтесь последним сим удовольствием во

младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь. О солнце, лучами щедрот своих озаряющее: призри на сих несчастных!

Оказав услугу человечеству, я спешил подать помощь себе: тяжелой запах в избе столь для меня был вреден, что я насилу мог выйти из оной. Пришед к своей коляске, упал я без чувства во оную. Приключившейся мне обморок был не продолжителен: я опомнился, спрашивал холодной воды; извощик мой ее принес из колодезя, но я не мог пить ее по причине худого запаха. Я требовал чистой; но в ответ услышал, что во всей деревне лучше этой воды нет; и то все крестьяне довольствуются сею пакостною водою. Помещики сказал я, вы никакого не имеете попечения о сохранении здоровья своих кормильцев!

Я спрашивал, где хозяева того дома: извощик отвечал, что все крестьяне и крестьянки в поле; прибавя к тому, что когда был я в избе, то выходил он в то время за задние ворота посмотреть, не найдет ли там кого-нибудь из крестьян; что нашел он там одного спрятавшегося мальчика, который ему сказал, что, увидев издали пыль от моей коляски, подумали они, что это едет их барин, и для того от страха разбежались. Они скоро придут, сказал извощик; я их уверил, что мы проезжие, что ты боярин доброй, что ты не дерешься, и что ты пожалуешь им на лапти. Вскоре после того пришли два мальчика и две девочки от пяти до семи лет. Они все были босиками, с раскрытыми грудями и в одних рубашках; и столь были дики и застрашены именем барина, что боялись подойти к моей коляске. Извощик их подвел, приговаривая: *не бойтесь, он вас не убьет, он боярин доброй, он пожалует вам на лапти*. Робятишки, подведены будучи близко к моей коляске, вдруг все побежали назад крича: *ай! ай! ай! берите все что есть, только не бейте нас!* Извощик, схватя одного из них спрашивал, чего они испужались. Мальчишка тресучись от страха говорил: *да! чего испужались... ты нас обманул... на этом барине красный кафтан... это никак наш барин... он нас засечет*. Вот плоды жестокости и страха: о вы, худые и жестокосердые господа! вы дожили до того несчастья, что подобные вам человеки боятся вас, как диких зверей! Не бойся, друг мой, сказал я испужанному красным кафтаном мальчику, я не ваш барин, подойди ко мне, я тебе дам денег. Мальчик оставил страх, подошел ко мне, взял деньги, поклонился в ноги, и оборотясь кричал другим: *ступайте сюда, ребята, это не наш барин, это барин доброй; он дает деньги и не дерется!* Робятишки тотчас все ко мне прибежали: я дал каждому по несколько денег и по пирожку, которые со мною были. Они все кричали: *у меня деньги! у меня пирог!*

<...> Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну вод, дневной жар переменялся в прохладность, птицы согласным своим пением начали воспевать приятность ночи и сама природа призывала всех от трудов к покою.<...> А крестьяне, мои хозяева, возвращались с поля в пыли, в поте, измучены и радовались, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много сработали.

Вошед на двор и увидев меня в коляске, все они поклонились в землю, а старший из них говорил: не прогневайся, господин добрый, что нас никого не прилучило дома. Мы все, родимой, были в поле: царь небесный дал нам ведро и мы торопимся убрать жниво, куда дожди не захватили. По сиось день господень всюо таки у нас, родимой, погода стоит добрая и мы почти со всем господским хлебом управились: авось таки милосливой Спас подержит над нами свою руку и даст нам еще хорошую погоду, так мы и со своим

хлебишком управимся. У нашева боярина такое, родимой, поверье, что как поспеет хлеб, так сперва всегда его боярский убираем, а с своим то де, *изволит баять*, вы поскорее уберетесь. Ну, а ты рассуди, кормилец, ведь мы себе не лиходеи: мы бы и рады убрать, да как захватят дожди, так хлеб от наш и пропадает. Дай ему бог здоровья! Мы на бога надеемся: бог и государь до нас милосливы: а кабы да Григорий Терентьевич также нас миловал, так бы мы жили, как в раю. — Подите, друзья мои, сказал я им, отдыхайте: взавтра воскресенье и вы, конечно, на работу не пойдете, так мы поговорим побольше. — И, родимой, сказал крестьянин, как не работать в воскресенье! Помолясь богу, не што же делать нам, как не за работу приниматься, кабы да по всем праздникам нашему брату гулять, так некогда и работать было? Ведь мы, родимой, не господа, чтобы и нам гулять, полно того, что и они гуляют. — После чего крестьяне пошли, а я остался во своей коляске и, рассуждая о их состоянии, столь углубился в размышления, что не мог заснуть прежде двух часов по полуночи.

На другой день, поговоря с хозяином*, я отправился во свой путь, горя нетерпеливостью увидеть жителей *Благополучныя деревни*; хозяин мой столько насказал мне доброго о помещике тоя деревни, что я наперед уже возымел к нему почтение и чувствовал удовольствие, что увижу крестьян благополучных.

Сатирические журналы Н.И. Новикова. С. 295—297, 330—332.

Письмо уездного дворянина⁸

Сыну моему Фалалею

Так-то ты считаешь отца твоего, заслуженного и почтенного Драгунского ротмистра? тому ли я тебя, проклятого, учил и того ли от тебя надеялся, чтобы ты на старости отдал меня на посмешище целому городу? Я писал тебе, окаянному, в наставление, а ты ето письмо отдай напечатать. Погубил ты, супостат, мою головушку: пришло с ума сойти! Слыханное ли ето дело, чтобы дети над отцами своими так ругались! Да знаешь ли ты ето, что я тебя за непочтение к родителям, в силу указов, велю высечь кнутом; меня бог и государь тем пожаловали: я волен и над животом твоим; видно, что ты ето позабыл! Кажется я тебе много растолковал, что ежели отец или мать сына своего и до смерти убьет, так и за ето положено только церковное покаяние. Ой сынок, спохватись! не сыграй над собою шутики: ведь недалеко великий пост, попоститься мне немудрено; Петербург не за горами, я и сам могу к тебе приехать. Ну, сын, я теперь тебя в последний раз прощаю, по просьбе твоей матери; а ежели бы не она, так уж бы я дал тебе знать себя. Я бы и ее не послушался, ежели бы она не была больна при смерти. Только смерти, впредь берегись, ведь ежели ты окажешь еще какое ко мне непочтение, так уж не жди никакой пощады; я не Сидоровне чета: у меня не один месяц проохаешь, лишь бы только мне до тебя дорваться. Слушай же, сынок, коли ты хочешь опять прийти ко мне в милость, так просись в отставку, да приезжай ко мне в деревню. Есть кому и без тебя служить; пускай кабы не было войны, так бы хоть и послужить можно было: ето бы свое дело; а то ведь ты знаешь, что нынче время военное; неравно как пошлют в армию, так пропадешь ни за копейку. Есть пословица: богу молись, а сам не плошись; уберись-ка

в сторонку, так это здоровее будет. Поди в отставку, да приезжай домой. Ешь досыта, спи сколько хочешь, а дела за тобой никакого не будет. Чего тебе лучше этого? За честью, свет, не угоняешься; честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть. Пусть у тебя не будет Егорья, да будешь ты зато поздоровее всех Егорьевских кавалеров. С Егорьем-то и молодые люди частехонько поохивают, а которые постарее, так те чуть дышат: у кого руки перестреляны, у кого ноги, у иного голова: так радостно ли отцам смотреть на детей изуродованных? и невеста ни одна не пойдет. А я тебе уже приискал было невесту. Девушка небогая, грамоте и писать умеет, а пуще всего, великая экономка: у нее ни синей порох даром не пропадет, такую-то, сынок, я тебе невесту сыскал. Дай только бог вам совет да любовь, да чтобы тебя отпустили в отставку. Приезжай, друг мой: тебе будет чем жить опричь невестина приданого; я накопил довольно. Я и позабыл было тебе сказать, что нареченная твоя невеста двоюродная племянница нашему воеводе; ведь это, друг мой, не шутка: все наши спорные дела будут решены в нашу пользу, и мы с тобою у иных соседей землю обрежем по самые гумна; то-то любо! и курицы некуда будет выпустить. Со всем будем ездить в город: то-то, Фалалеюшка, будет нам житье! никто не куркай. Да полно, что тебя учить, ты веть уже не малой ребенок, пора своим умком жить. Ты видишь, что я тебе не лиходей, учу всегда доброму, как бы тебе жить было попригоднее. Да и дядя твой Ермолай, чуть токо не то же ли тебе советует; он хотел писать к тебе с тем же ездоком. Мы с ним об этом поговорили довольно, сидя под любимым твоим дубком, где бывало ты в молодых годах забавлялся: вешивал собак на сучья, которые худо гоняли за зайцами, и секал охотников за то, когда собаки их перегоняли твоих. Куда какой ты был проказник с молоду! бывало животишки надорвем со смеха. Молись, друг мой, богу! ума у тебя довольно: можно век прожить. Не испугайся, Фалалеюшка, у нас не здорово, мать твоя Акулина Сидоровна лежит при смерти. Батько Иван исповедал ее и маслом особоровал. А занемогла она, друг мой, от твоей охоты. Налетку твою кто-то съездил поленом и перешиб крестец; так она, голубушка моя, как услышала, так и свету божьего не взвидела: так и повалилась! А после как опомнилась, то пошла это дело разыскивать и так надсадила себя, что чуть жива пришла и повалилась на постелю; да к тому же выпила студеной воды целой жбан, так и присунулась к ней огневица. Худа, друг мой, мать твоя, очень худа! Я того и жду, как сошлет бог по душу, знать что, Фалалеюшка, расставаться мне с женою, а тебе и с матерью и с Налеткою. Тебе, друг мой, все-таки легче моего: Налеткины щенята, слава богу! живы, авось-таки которой-нибудь удастся по матери; а мне уже едакой жены не нажать. Охти мне, пропала моя головушка! где мне за всем одному усмотреть. Не сокруши ты меня, приезжай да женись, так хоть бы тем я порадовался, что у меня была бы невестка. Тошно, Фалалеюшка, с женою расставаться: я было уж к ней привык, тридцать лет жили вместе: как у печки погрелся! Виноват я перед нею: много побита она от меня на своем веку; ну да как без этого, живучи столько вместе и горшок с горшком столкнется; как без того, я круг больно, а она не уступчива, так бывало хоть маленько, так тотчас и дойдет до драки. Спасибо хоть за то, что она отходчива была. Учись, сынок, как жить с женою; мы хоть и дрались с нею, да все-таки живем вместе; и мне ее теперь право жаль. Худо, друг мой, и ворожеи не помогают твоей матери; много их приводили, да пути нет, лишь только деньги пропали. За сим писавый кланяюсь, отец твой Трифон благословение тебе посылаю.

¹ **Н.И. Новиков** — известный просветитель, журналист и книгоиздатель XVIII в. В своих журналах порицал паразитизм русского дворянства, резко критиковал бюрократизм, взяточничество, неправосудие, с документальной точностью показал действительное положение крепостной деревни.

² «**Из Кронштадта**». Впервые опубликовано в журнале «Трутенъ» (1769. Л. VI).

³ «**Рецепт для г. Безрассуда**». Впервые опубликован в журнале «Трутенъ» (1769 Л. XXIV).

⁴ «**Копия с отписки**». Впервые опубликовано в журнале Трутенъ» (1769. Л XXVI).

⁵ «**Копия с другой отписки**». Впервые опубликовано в журнале «Трутенъ» (1769. Л. XXX).

⁶ «**Копия с помещичьего указа**». Впервые опубликовано в журнале «Трутенъ» (1769. Л. XXX).

⁷ «**Отрывок путешествия в*** И*** Т*****» впервые опубликован в журнале «Живописец» (1772. Ч. 1).

* Я не включил в сей листок разговор путешественника со крестьянином по некоторым причинам: благоразумный читатель и сам их отгадать может. Впрочем я уверяю моего читателя, что сей разговор, конечно, бы заслужил его любопытство и показал бы ясно, что путешественник имел справедливые причины обвинять помещика Раззоренной деревни и подобных ему (примеч. Новикова).

⁸ «**Письмо уездного дворянина**» — впервые опубликовано в журнале «Живописец» (1772. Ч. 1).

Д. И. Фонвизин

Д.И. ФОНВИЗИН

(1745—1792)

Вопросы

Предисловие издателей журнала

Издатели «Собеседника» разделили труд рассматривать присылаемые к ним сочинения между собою понеделно, равно как и ответствовать на оные, ежели того нужда потребует. Сочинитель Былей и небылиц, рассмотрев присланные Вопросы от неизвестного, на оные сочинил Ответы, кои совокупно здесь прилагаются.

«Собеседник любителей российского слова», под надзиранием почтенный наук покровительницы, есть и должен быть хранилищем тех произведений разума, кои приносить могут столько увеселения, сколько и действительной пользы. Издатели оного не боятся отверзать двери истине; почему и беру вольность представить им для напечатания «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Буде оные напечатаны, то продолжение последует впредь и немедленно. Публика заключит тогда по справедливости, что если можно вопрошать прямодушно, то можно и отвечать чистосердечно. Ответы и решения наполнять будут «Собеседник» и составлять неиссякаемый источник размышлений, извлекающих со dna истину, толь возлюбленную монархиней нашей.

Вопросы

Ответы

1. Отчего у нас спорят сильно о таких истинах, кои нигде уже не встречают ни малейшего сомнения?
На 1. У нас, как и везде, всякий спорит о том, что ему не нравится или непонятно.
2. Отчего многих добрых людей видим в отставке?
На 2. Многие добрые люди вышли из службы, вероятно, для того, что нашли выгоду быть в отставке.
3. Отчего все в долгах?
На 3. Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют.
4. Если дворянством награждаются заслуги, а к заслугам отверсто поле для всякого гражданина, отчего же никогда не достигают дворянства купцы, а всегда или заводчики или откупщики?
На 4. Одни, быв богаче других, имеют случай оказать какую ни на есть такую заслугу, по которой получают отличие.
5. Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжб своих и решений правительства?
На 5. Для того, что вольных типографий до 1782 года не было.
6. Отчего не только в Петербурге, но и в самой Москве перевелись общества между благородными?
На 6. От размножившихся клубов.
На 7. Одно легче другого.
7. Отчего главное старание большой части дворян состоит не в том, чтоб поскорей сделать детей своих людьми, а в том, чтоб поскорее сделать их не служа гвардии унтер-офицерами?..
На 8. Оттого, что говорят небылицу.
На 9. Оттого, что на суде не избличены.
8. Отчего в наших беседах слушать нечего?
На 10. Оттого, что сие не есть дело всякого.
На 11. Оттого, что всякой любит и почитает лишь себе подобного, а не общественные и особенные добродетели.

9. Отчего известные и явные бездельники На 12. Сие неясно: стыдно делать дурно, а в принимаются везде равно с честными обществе жить — не есть не делать ничего. людьми?

10. Отчего в век законодательный никто в нынешними покажет несомненно, колико сей части не помышляет отличиться? души ободрены либо упали, самая наружность, походка и проч. то уже оказывает.

11. Отчего знаки почестей, наружность, походка и проч. то уже долженствующие свидетельствовать оказывает. истинные отечеству заслуги, не производят На 14. Для того, что везде во всякой земле и по большей части к носящим их ни во всякое время род человеческий малейшего душевного почтения? совершенным не родится.

12. Отчего у нас не стыдно не делать Предки наши не все грамоте умели. Н. В. ничего? Сей вопрос родился от *свободоязычия*,

13. Чем можно возвысить упавшие души дворянства? Каким образом выгнать из сердец нечувственность к достоинству благородного звания? Как сделать, чтоб имели, то пачли бы на нынешнего одного десять прежде бывших <...>

почтенное титуло дворянства было несомненным доказательством душевного благородства? На 19. Временем и знанием. На 20. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных.

14. Имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом, удаиваться ее милостыней одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?

Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели; а ныне имеют, и весьма большие? <...>

19. Как истребить два сопротивные и оба вреднейшие предрассудки: первый, будто у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; второй, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо?

20. В чем состоит наш национальный характер?

Русская проза XVIII века.

М.; Л.; 1950. Т. 1. С. 523—526.

Вопросы Д.И. Фонвизина печатались в журнале «Собеседник любителей русского слова» (1783. Ч. III), редактором и издателем которого были княгиня Дашкова и Екатерина II.

Екатерина II скрывалась под псевдонимом сочинителя «Былей и небылиц». Фонвизин сделал вид, что не знает, кто этот автор, и обращается к нему как равный к равному. Используя показной либерализм императрицы, Фонвизин рискнул опубликовать свои 20 вопросов, но от продолжения их вынужден был отказаться.

На издание собственного журнала «Друг честных людей или Стародум» (1788) Фонвизин разрешения не получил.

Под 14 номером содержалось два вопроса.

И. А. Крылов

И.А. КРЫЛОВ

(1769—1844)

ПОЧТА ДУХОВ

Письмо осьмое

От сільфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Когда воображаю я, мудрый и ученый Маликульмульк, что человек ничем другим не отличается столько от прочих творений, как величиною своей души, приобретаемыми познаниями и употреблением в пользу тех дарований, коими небо его одарило, тогда, обратя взор мой на жилище смертных, с сожалением вижу, что поверхность обитаемого ими земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно и кои не только не вменяют в бесчестие слыть тунеядцами, но по странному некоему предубеждению почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого.

Деревенский дворянин, который, провождая всю свою жизнь, гоняясь целую неделю по полям с собаками, а по воскресным дням напиваясь пьян с приходским своим священником, почел бы обеспеченным благородство древней своей фамилии, если б занялся когда чтением какой нравоучительной книги, ибо с великим трудом едва научился он разбирать и календарные знаки. Науки почитает он совсем не свойственным упражнением для людей благородных; главнейшее же их преимущество составляет в том, чтоб повторять часто с надменностью сии слова: мои деревни, мои крестьяне, мои собаки и прочее сему подобное. Он думает, что исполняет тогда совершенно долг дворянина, когда, целый день гоняясь за зайцами, возвращается ввечеру домой и рассказывает с восторгом о тех неисповедимых чудесах, которые наделали в тот день любимые его собаки, — словом, ежедневное его упражнение состоит в том, что он пьет, ест, спит и ездит с собаками.

Дворянин, живущий в городе и следующий по стопам нынешних модных вертопрахов, не лучше рассуждает о науках: хотя и не презирает он их совершенно, однако ж почитает за вздорные и совсем за бесполезные познания. «Неужели, — говорит он, — должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? к чему полезна философия? ни к чему более, как только, что упражняющихся в оной глупцов претворяет в совершенных дураков. Разбогател ли хотя

один ученый от своей учености? наслаждается ли он лучшим здоровьем, нежели прочие? — Совсем нет. — Ученые и философы таскаются иногда по миру, они подвержены многим болезням по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провождают они целые дни безвыходно в своих кабинетах; и, наконец, после тяжких трудов, живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. Куда какое завидное состояние! — Поистине, надобно сойтить с ума, чтоб им последовать. Пусть господа ученые насыщают желудки свои зелеными лаврами и утоляют жажду струями Ипокрены; что до меня касается, я не привык к их ученой пище. Стол, установленный множеством блюд с хорошим кушаньем, и несколько бутылок бургундского вина несравненно для меня приятнее. Встав из-за стола, спешу я как наискорее заняться другими веселостями: лечу на бал, иногда еду в театр, после в маскарад; и во всех сих местах пою, танцую, резвлюсь, кричу и всеми силами стараюсь, чтобы ни о чем не помышляя, упражняться единственно в забавах».

Вот, премудрый Маликульмульк, каким образом рассуждает о науках большая часть дворян...

Почта духов. 1789. Ч. 1.

Крылов И.А. Соч. М., 1944. Т. 1. С. 52-54.

Письмо первоенадесять

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

На сих днях, любезный Маликульмульк, я был с моим сотоварищем у одного богатого купца, который праздновал свои именины. Ты, может быть, удивишься, что столь знатный в своем роде человек, каков мой приятель, удостоил своим посещением торговца, но это удивление уменьшится, когда ты узнаешь, что он должен имяниннику по векселям шестьдесят тысяч рублей, и для того часто пляшет по его дудке. Здешние заимодатели, имеющие знатных должников, имеют по большей части то одно утешение, что пользуются вольностью напиваться иногда с ними допьяна, и, вместо платежа денег, получают от них учтивые поклоны и уверения о неперменном их покровительстве.

Имянинник, как видно, был великий хлебосол; он имел у себя за столом немало гостей, между коими занимали первое место один вельможа, человека три позолоченных придворных и несколько начальников сего города, да из числа известных мне по своим именам, о которых я нарочно наведалься, чтоб мог тебе обстоятельнее пересказать о любопытном их разговоре. Были г. Припрыжкин, Рубакин — драгунский капитан, Тихокрадов — судья и художник Трудолобов; я, как ты можешь себе представить, был также не из последних, и сидел подле хозяйского сына, мальчика прелюбезного лет четырнадцати, который был доброю надеждою и утешением в старости своего отца.

Стол был великолепен, и Плуторез, так назывался имянинник, кормил всех очень обильно; веселье в обществе нашем умножалось с преумножением вина; разговоры были о разных предметах, и попеременно говорили о политике, о коммерции, о разных родах плутовства и о прочем. — Вельможа, одетый с ног до головы во французской глазет и убранный по последней парижской моде, защищал пользы отечества и выхвалял любовь к оному; судья ставил честь выше всего на свете, купец хвалил некорыстолюбие, но все вообще согласны были в том, что законы очень строго наказывают плутов и что надобно уменьшить их жестокость. Вельможа обещал подать голос, чтобы уничтожить увечные и смертные наказания, исполняемые за грабительства и за плутовства для их искоренения,

за что многие из гостей, а более всего судья Тихокрадов и наш хозяин Плуторез очень его благодарили, и хотя сей вельможа, как я слышал, ежедневно делает новые обещания, однакож старых никогда не исполняет, но гости не менее были и тем довольны, что остались в надежде, для которой нередко просители посещают прихожие знатных особ.

Но как в столь большом собрании разговоры не могли быть одного содержания, то, наконец, речь зашла о хозяйском сыне <...>

Скажи мне, — спрашивал один из придворных хозяина, — для чего оставляешь ты сына твоего в праздности, он уже в таких летах, что может вступить в службу, или, по крайней мере, считаться в оной?

— Милостивый государь! — отвечал Плуторез, — его правда, что Вася уже на возрасте, и я не намерен всеконечно оставлять его без дела, но я еще не избрал род службы, в которую бы его определить.

— Друг мой, — сказал Придворный, — оставь его на мое попечение, ты можешь быть уверен в моей к тебе благосклонности, имея явное доказательство, что из дружбы к тебе я не совещусь занимать у тебя деньги и быть должными оными, а потому не можешь сомневаться о моем участии, какое приемлю я в счастии твоего сына. Дело состоит только в том, чтоб ты дал двадцать тысяч в мои руки, которые употреблю я в его пользу; помешу имя его в список отборного военного корпуса; сделаю его дворянином и потом пристрою его ко двору, словом, я поставлю его на такой ноге чтоб он со временем мог поравняться с лучшими, делающими фигуру в большом свете. Сколь же такое состояние блистательно ты сам оное знаешь и надобно только иметь глаза, чтоб видеть нас во всем нашем великолепии, на усовершенние которого портные, бриллианщики, галантерейщики и многие другие художники истощают все знания и искусство, чтобы тем показать цену наших достоинств и дарований... Богатые одежды, сшитые по последнему вкусу; прическа волос; пристойная сановитость; важность и уклончивость, соразмерные времени, месту и случаю, возвышение и понижение голоса в произношении говоримых слов, выступка, ужимки, телодвижения и обороты отличают нас в наших заслугах и составляют нашу службу. Грамоты предков наших явно всем доказывают, что кровь, протекающая в наших жилах, издавна преисполнена была усердием к пользе своего Отечества; а наши ливреи и экипажи неложно доказывают о важности наших чинов в государстве. Какое же состояние может быть завиднее и спокойнее нашего? — Правда, что философы почитают нас мучениками, однако ж то несправедливо, а за то и мы считаем их безумцами, пустою тенью услаждающими горестную и бедную свою жизнь. Итак, друг любезный, что тебе стоит двадцать тысяч, не сущая ли это безделка в сравнении с тем счастьем твоего сына, которое я сильнейшим своим предстательством обещаю ему доставить; а знакомые мои, танцмейстер, актер, портной и парикмахер, через короткое время посядут мне сделать из твоего сына блистательную особу в большом свете.

— Как, сударь, — вскричал Рубакин, — вы называете блистательным то состояние в большом свете, в котором люди за свои достоинства обязаны некоторым искусникам; но из вашего мнения можно действительно доказать, что те самые искусники несравненно должны быть знатнее тех своих кукол, которых они, украшая, дают цену их достоинствам и... но что об этом много говорить! Нет, любезный Плуторез, если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему Отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу.

Вообрази себе, какое это прекрасное состояние, которое можно по справедливости сказать, что есть первейшее в свете, потому что не подвержено никаким строгостям, ниже каким опасностям, сопряженным с придворною жизнью. Военному человеку нет ничего не позволенного; он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастья, толь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям, а притом и участь его ему совершенно известна, ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятеля, или быть самому от оного убиту; где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужен больше лоб; нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки; и я состарелся уже в службе, но всегда был того мнения, что солдату не годится умничать. Итак, ты ничего умнее не сделаешь, как если запишешь своего сына в наш полк, ты же человек богатый, почему можешь сделать ему хорошее счастье; деньги только нужны, а прочее я беру на себя, и уверяю тебя, что твой сын сам будет тем доволен.

— Государь мой, — сказал улыбаясь Тихокрадов, — вы с таким жаром говорите о своем звании, что слушатели могут подумать, будто статское состояние и в подметки вашему не годится, хотя, не распложая пустых слов, я могу коротко сказать, что, служа в сем состоянии, обязан я оному знатным доходом, состоящим из десяти тысяч; вступая же в оное, не имел я ни полушки, и так, сие одно довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнее, нежели шпага; но я не люблю жарких споров, а держусь лучше основательных доказательств. Я не отрицаю выгод военного человека, но знаете ли, что статское состояние есть сборище лучших выгод из всех других состояний?

— Как! — вскричал Рубакин, — вы подъячих сравниваете с воинами? — Но можете ли вы в том успеть? Одно это, когда мы возьмем какую крепость, сколько приносит нам славы и сколько потом чувствуем удовольствия, обогащая себя всем, что только на глаза наши тогда ни попадетя. Кто другой может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присваивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие?

— Пойдите, пойдите, — прервал с скоростью Тихокрадов, — дайте мне докончить; вы тогда сами увидите, правду ли я сказал. Статской человек столько же казаться может блистателен, сколько и придворный; он так же может приобретать себе дарования пособиями тех самых искусников, которые своим искусством составляют достоинства большей части придворных, чему многие из наших судей могут быть явным доказательством; а иные столько уже в том себя отличили, что лучше знают, как одеться по последней моде и, сообразно годовому времени, нежели как отправлять по надлежащему свою должность и вершить судебные дела. Статский человек столько же может иметь тогда славы, сколько я военный когда он, сообразив все последствия и проникнув в сущность дела, разрушит все хитросплетения гнусных лжей, покрывавших мраком целый век или и более истину, которой определением своим доставит принадлежащую ей справедливость. Что ж принадлежит до обогащения его, то он имеет еще то преимущество что, не отлучаясь за несколько сот или тысяч верст и не подвергая себя столь видимой опасности, какой подвергается воин, может ежедневно обогащать себя и присваивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными и почитают за отменную к ним благосклонность, если от них оные принимаешь. Сверх того, статской человек может

производить торг своими решениями точно так же как и купец, с тою токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой измеряет продажное правосудие собственным своим размером и продает его сообразуясь со стечением обстоятельств и случая, смотря притом на количество приращения своего богатства. Если вы против сего скажете, что все это не позволено законами, то по крайней мере должны в том признаться, что в свете введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы, сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы или сколько сему последнему позволительно, обогатив себя чужими деньгами и надавав в приятельские руки пустых на себя векселей, избавиться тем от платежа истинных своих долгов. Итак, видишь ли, друг мой, — продолжал он, оборотясь к хозяину, — что я не солгал, и ты весьма несправедливо сделаешь, если предпочтешь какое-нибудь состояние статскому, в котором он может быть столько же знатен и блистателен, сколько и придворный; столько же обогащать себя всем, что ни увидит, сколько и воин, и с такою же способностью торговать, как и купец. Не отлагай же долее, отдай его в мой приказ и будь уверен, что я выведу его в люди. Не думай, чтоб я это обещал из одной учтивости, нет, мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я секретарем, и так, когда я дворецкому доставил такое счастье, то будь уверен, что тебе, как моему другу, могу более услужить; нужно только потерять тебе несколько тысяч при его производстве, так и дело с концом...

Почта духов. 1789. Ч. I.

Крылов И.А. Соч. Т. I. С 66—74.

Письмо двадцать четвертое

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Примечено мною, почтенный Маликульмульк, что в гражданском обществе всего легче дается людям такое название, которое очень немногие из них заслуживают и которое должно бы быть больше уважаемого ежели бы люди поприлежнее размышляли о потребных для сего названия достоинствах. Люди всего чаще говорят: вот *честной человек*, а всего реже можно найти в нынешнем свете такого, который бы соответствовал сему названию. <...>

Ежели рассмотреть прилежнее, мудрый Маликульмульк, различные состояния людей и войти в подробное исследование всех человеческих слабостей и пороков, которым люди нынешнего века часто себя поработщают и кои причиняют великий вред общественной их пользе, то можно увидеть очень многих, которым щедро дается название *честного человека*, а они нимало того не заслуживают.

Придворный, который гнусным своим ласкательством угождает страстям своего государя, который, не внемля стенанию народа, без всякой жалости оставляет его претерпевать жесточайшую бедность и который не дерзает представить государю о жалостном состоянии, страшась притти за то в немилость, может ли назваться *честным человеком*? Хотя бы не имел он ни малого участия в слабостях своего государя, хотя бы не подавал ему никаких злых советов и хотя бы по наружности был тих, скромн и ко всем учтив и снисходителен; но по таковым хорошим качествам он представляет в себе

честного человека только в обществе, а не в глазах мудрых философов, ибо, по их мнению, не довольно того, чтобы не участвовать в пороках государя; но надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред обществу, хотя бы чрез то должен он был лишиться милостей своего государя и быть навсегда от лица его отверженным.

Богач, который неусыпными стараниями, с изнурением своего здоровья, собрал неисчетное богатство и наполнил сундуки свои деньгами, не подавая бедным нимало помощи, хотя все сии сокровища приобрел позволенными способами; однако ж *честным человеком* назваться может только в обществе, в глазах же философа почитается он скупцом и скрягою, нималого почтения честных людей не достойным.

Мот, который расточает свое имение с такою же прилежностью, с какой скупой старается его сохранять; который то употребляет на роскошь, что должен бы был употреблять на вспоможение несчастным; который живет в изобилии, не чувствуя ни малого сострадания к бедности многих от голода страждущих, коим мог бы он сделать немалую помощь. Такой безумный расточитель ежели на роскошь свою употребляет только свои доходы и не имеет на себе долгов, в обществе называется *честным человеком*; но философы таким его не почитают, а он в глазах их хуже диких варваров, которые и о скотах более имеют соболезнования, нежели он о подобных себе человеках. Надменный вельможа, думающий о себе, что знатное его рождение дало ему право презирать всех людей и что, будучи сиятельным или превосходительным, не обязан оказывать никому ни малого уважения и благосклонности, если платит хорошо своим заимодавцам, если не поступает мучительно с своими подчиненными, а только их презирает, и если при исполнении возложенной на него должности не притесняет народ, правлению его вверенный, то в обществе называется *честным человеком*; но философы почитают его таким, который поступками своими оскорбляет человечество; который будучи надут гордостью, позабывает и самонаименьшие добродетели; не познает самого себя, и его безумное тщеславие столь же порочно и предосудительно, как зверская лютость дикого американца. Многие разумные люди утверждают, что гораздо сноснее быть умерщвлену, нежели презираему; ибо смерть оканчивает все мучения, а к презрению никогда привыкнуть невозможно, и чувствуемое от оного мучительное оскорбление час от часу непрестанно умножается. Чем более кто питает в себе благородных чувств, тем сносимое от других презрение бывает для него мучительнее. Итак, сего высокомерного и гордого вельможу должно почитать чудовищем, которого небо произвело на свет для испытания добродетели и кроткой терпеливости простых людей, ему подчиненных.

В обществе также называется *честным человеком* тот судья, который, не уважая ничьих просьб, делает скорое решение делам, не входя нимало в подробное их рассмотрение; но философы не думают, чтоб единого токмо старания о скорейшем решении судебных дел было довольно для названия судьи *честным человеком*; а по их мнению надлежит, чтоб он имел знание и способность, нужные для исполнения его должности. Судья хотя бы был праводушен и беспристрастен, но производства судебных дел совсем не знающий, в глазах философа тогда только может почтаться *честным человеком*, когда беспристрастие его заставит его почувствовать, сколько он должен опасаться всякого обмана, чтоб по незнанию не сделать несправедливого решения, и побудить его отказаться от своей должности. Если бы все судьи захотели заслужить

истинное название честного человека, то сколько бы присутственных мест оставалось порожними! И если бы для занятия сих мест допускались только люди совершенно достойные, то число искателей гораздо бы поуменилось.

Чтобы быть совершенно достойным названия *честного человека* и чтоб заслужить истинные похвалы, потребно сохранять все добродетели. И самый низкий хлебопашец, исполняющий рачительно должности своего состояния, более заслуживает быть назван честным человеком, нежели гордый вельможа и несмысленный судья. <...>

Почта духов. 1789. Ч. 1.

Крылов И.А. Соч. Т. 1. С. 143—146.

**Похвальная речь в память моему дедушке,
говоренная его другом, в присутствии его приятелей,
за чашею пунша
Любезные слушатели!**

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ — разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день, с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадию прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах: оба были равно полезные обществу, оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью. Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству.

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставял его примером в одной охоте, — нет, это было одно из последних его дарований, кроме сего имел он тысячу других приличных и необхонашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов вырабатывают в год, он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою, он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью. Глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях, искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе

назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя: сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом. Начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдинов, и что никакими выгодами не отличают нашего брата дворянина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои! и если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда, как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию; когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности; когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении; тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужели же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке, мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству, вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство: а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы; ибо более трех сот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства. Наконец, появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения; и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. В этом ребенке будет путь, сказал некогда восхищаясь его отец: он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать; можно отгадать, что он благородной крови. И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с такого благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой когонибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста заметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ; хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унижить до того, чтоб его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот,

может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши. Но Задорка, так звали маленькую собачку, доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения; это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем не кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем. «Друг мой! — сказал беспримерный его родитель, — разве мало вокруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, естли не хочешь быть укушен Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть не разевая рта как разумную тварь».

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод: изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян, по крайней мере, искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных <...>

Чадолубивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи устрашали его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнюю страницу букваря кончил его курс словесных наук. «Этой грамоты для тебя полно, — говорил он ему, — стыдись знать более, ты у меня будешь барин знатной, так не пристойно тебе читать книги».

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву <...>

Зритель. 1792. Ч. III.
345.

Крылов И.А. Соч. Т. 1. С. 337—

И.А. Крылов издавал ряд журналов: «Почта духов, ежемесячное издание или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» (1789), «Зритель» (1792), «С.-Петербургский Меркурий» (1793).

В Хрестоматии приводятся материалы первых двух изданий. «Почта духов» построена в виде переписки вездесущих невидимых существ: гномов (дух земли), сильфов (дух воздуха), ондинов (дух воды) с волшебником Маликульмульком.

Н. М. Карамзин

Н.М. КАРАМЗИН

(1766—1826)

Политика

Известия и замечания

Европа занимается теперь одним предметом: войною французов с англичанами, которая в той и в другой земле имеет все знаки остервенения и злобы. Рим восстал против Карфагена, и Европа смотрит с беспокойным любопытством. Консул¹ пылает мстостью — ораторы его гремят на кафедрах — префекты пишут к нему: «честь и слава века! истреби Англию!» Во всех портах французских строят суда для перевоза войск, и во всех журналах пишут стихи на высадку: стихотворцам на крылатом Пегасе легко перелететь через канал, но армия с пушками не летает... Между тем флегматики англичане берут французские и голландские корабли; скоро доберутся и до гишпанских; скоро возьмут и колонии своих неприятелей; заглянут, может быть, и в Южную Америку... <...> Надобно заметить вообще, что в наше время только три державы играют первую роль в мире: Франция, Англия и Россия. Судьба республики зависит от жизни Консула: впереди мрак и неизвестность — величие Англии есть напряжение — а Россия есть государство новое; в начале пути силы крепки и свежи: сколько надежды для патриотической гордости! <...>

Французы сочили в истории, что 42 высадки удались в Англии; но те ли обстоятельства ныне? Такое ли сопротивление находили римляне, саксонцы, датчане, норманы, какое найдут там французы, если и пристанут благополучно к берегам Великобритании? Но Консул торжественно обязался испытать высадку: Европа слышала; надобно сдержать слово. Уже французские генералы и сенаторы вызвались плыть с ним на одном корабле ... увидим..., но лучше бы не видеть; лучше чтобы великодушное посредство АЛЕКСАНДРА, даровав мир Англии и Франции, утешило человечество и возвеличило славу России.

«Вестник Европы», 1803 г. № 13, С. 71—72, 81, 83—84.

¹ Консул — Наполеон I.

И. П. Пнин

И. П. ПНИН

(1773—1805)

Письмо к издателю*

Милостивый государь мой!

На сих днях нечаянно попалась мне в руки старинная манжурская рукопись. Между многими мелкими в ней сочинениями нашел я одно весьма любопытное по своей надписи: «Сочинитель и Цензор». Немедленно перевел оное и сообщаю вам, милостивый государь мой, сей перевод с просьбою поместить его в вашем журнале.

Сочинитель и цензор

(перевод с манжурского)

Сочинитель

Я имею, государь мой, сочинение, которое желаю напечатать.

Цензор

Его должно наперед рассмотреть. А под каким оно названием?

Сочинитель

Истина, государь мой!

Цензор

Истина? О! ее должно рассмотреть и строго рассмотреть.

Сочинитель

Вы, мне кажется, излишний берете на себя труд. Рассматривать истину? Что это значит? Я вам скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже несколько тысяч лет. Божественный *Кун_*** начертал оную в премудрых своих законах. Так говорит он: «Смертные! любите друг друга, не обижайте друг друга, не отнимайте ничего друг у друга, просвещайте друг друга, храните справедливость друг к другу; ибо она есть основание общежития, душа порядка и, следовательно, необходима для вашего благополучия». Вот содержание моего сочинения.

Цензор

Не отнимайте ничего друг у друга! будьте справедливы друг к другу!.. Государь мой, сочинение ваше непременно рассмотреть должно. (*С живостью*): Покажите мне его скорее.

Сочинитель

Вот оно.

Цензор

(Развертывая тетрадь и пробегая глазами листы):

Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого... этого никак пропустить нельзя! (указывая на место в книге).

Сочинитель

Для чего же, смею спросить?

Цензор

Для того, что я не позволю — и, следовательно, это непозволительно.

Сочинитель

Да разве вы больше, г. Цензор, имеете права не позволить печатать мою Истину, нежели я предлагать оную?

Цензор

Конечно, потому что я отвечаю за нее.

Сочинитель

Как? вы должны отвечать за мою книгу? А я разве сам не могу отвечать за мою Истину? Вы присваиваете себе, государь мой, совсем не принадлежащее вам право. Вы не можете отвечать ни за образ мыслей моих, ни за дела мои; я уже не дитя и не имею нужды в дядьке.

Цензор

Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель

А вы, г. Цензор, не можете заблуждаться?

Цензор

Нет, ибо я знаю, что должно и чего не должно позволить.

Сочинитель

А нам разве знать это запрещается? разве это какая-нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я делаю.

Цензор

Если вы согласитесь (показывая на книгу) выбросить сии места, то вы можете книгу вашу издать в свет.

Сочинитель

Вы, отнимая душу у моей Истины, лишая всех ее красот, хотите, чтобы я согласился в угождение вам обезобразить ее, сделать ее нелепою? Нет, г. Цензор, ваше требование бесчеловечно; виноват ли я, что Истина моя вам не нравится и что вы ее не понимаете?

Цензор

Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель

Почему же? Познание истины ведет к благополучию. Лишать человека сего познания — значит препятствовать ему в его благополучии, значит лишать его способов сделаться счастливым. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляют непрерывную цепь. Исключить из них одну — значит отнять из цепи звено и ее разрушить. Притом же истинно великий муж не опасается слушать истину, не требует, чтоб ему слепо верили, но желает, чтоб его понимали.

Цензор

Я вам говорю, государь мой, что книга ваша без моего засвидетельствования есть и будет ничто, потому что без оногo не может она быть напечатана.

Сочинитель

Г. Цензор! Позвольте сказать вам, что Истина моя стоила мне величайших трудов; я не щадил для нее моего здоровья, просиживал для нее дни и ночи, словом, книга моя есть моя собственность. А стеснять собственность, как говорит премудрый Кун никогда не должно, ибо чрез сие нарушается справедливость и порядок. Впрочем, вернее, засвидетельствование ваше можно назвать ничего не значащим, ибо опыт показывает, что оно нисколько не обеспечивает ни книги, ни сочинителя. Притом, г. Цензор, вы изъясняетесь слишком непозволительно.

Цензор (гордо)

Я говорю с вами, как Цензор с Сочинителем.

Сочинитель

(с благородным чувством)

А я говорю с вами, как гражданин с гражданином.

Цензор

Какая дерзость!

Сочинитель

О Кун! благодетельный Кун! Если бы ты услышал разговор сей, если бы ты видел, как исполняют твои законы; если бы ты видел, как наблюдают справедливость; если бы видел, как споспешествуют тебе в твоих божественных намерениях, тогда бы... тогда бы справедливый гнев твой... Но прощайте, г. Цензор, я так с вами заговорился, что потерял уже охоту печатать свою книгу. Знайте, однако ж, что истина моя пребудет неизменно в сердце моем, исполненном любви к человечеству и которое не имеет нужды ни в каких свидетельствах, кроме собственной моей совести.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики.

М. 1952. Вып. 1. С. 103—106.

И.П. Пнин — «незаконнорожденный» сын видного вельможи — князя Репнина, публицист, литератор, член Вольного общества любителей словесности, наук и

художеств. Его «Письмо к издателю» впервые напечатано в «Журнале российской словесности» (1805. № 12).

Диалог «Сочинитель и Цензор» Пнина был вызван преследованием его произведений, в частности книги «Опыт о просвещении относительно к России», цензурой. Указание на перевод с несуществующего языка — манжурского — сделано из цензурных соображений.

* Вот одно из последних сочинений любезного человека, которого смерть похитила рано и не дала ему оправдать на деле ту любовь к Отечеству, которая пылала в его сердце. Счастлив тот, кто и за гробом может быть любим! (примеч. «Журнала российской словесности»).

** Конфуций (Кун-фу-цзы) (ок. 551—479 гг. до нашей эры) — китайский философ (примеч. Пнина).

А. П. Куницын

А.П. КУНИЦЫН

(1783—1841)

Замечания на нынешнюю войну¹

Когда французы заняли Москву, распространилась глубокая печаль. Князь Кутузов сожалел о взятии столицы неприятелем, но не хотел подвергнуть русской армии невыгодному сражению. Основывая свою славу не на пустом самохвальстве, а на истинном превосходстве гения, он дал Бонапарту случай написать громкую афишку или высокопарную сказку о занятии Москвы. Вероятно, что в Париже и до сего времени полицейские служители — ревностные правозвестники Бонапартовой славы — по всем местам и перекресткам оглушают проходящих сим известием.

Князь Кутузов написал о сем печальном происшествии краткое уведомление, в котором без всяких прикрас уверял, что не предстоит никакой опасности, хотя злодейства неприятеля и причинят много вреда столице^{***}. Расставив наблюдательные отряды войск по дорогам, ведущим от Москвы в разные стороны, сам он зашел неприятелю во фланг и одним движением сделал три дела: *во-первых*, остановил неприятеля, затруднив его сообщение с границей; *во-вторых*, прикрыл от него плодоносные губернии; *в-третьих*, обеспечил продовольствие своей армии и открыл ей способы усилиться. Победительное бездействие Кутузова при Тарутине и Леташевке было пагубно для Наполеона; он не мог получать провианта со стороны Смоленска по причине беспрестанных поисков русских отрядов на сей дороге; шайки французов, посылаемые на грабеж, приносили ему мало прибыли и почти всегда попадались во власть русских.

¹

Таким образом, Наполеон в самой Москве соделался неопасным для русских****. Видя себя в крайнем положении, решился он сделать сильный напор на Калугу, дабы испытать счастье, нельзя ли прорвать русскую линию; но при Малом Ярославце узнал невозможность сего предприятия. Итак, с болезненным сердцем и гладною утробой обратился на прежний свой тракт.

План военных действий Кутузова ныне обнаружился: поелику нельзя было сражаться с французами спереди без значительной потери, то он трудолюбивым своим бездействием при Тарутине и Леташевке поворотил их к себе тылом, дабы удобнее наносить им удары.

В продолжение нынешней войны русская армия приняла вид пасти огромного льва. Нижняя челюсть оной начинается от Москвы и продолжается до Бреста-Литовского, или до Варшавского Герцогства. Верхняя челюсть начинается также от Москвы и оканчивается у Риги. В начале войны пасть сия была сжата, но по мере приближения французов, она раскрывалась. Наполеон безрассудно бросился с своею армиею в средину оной. Может быть, он надеялся разорвать мускулы, которыми сжимаются челюсти, но в этом обманулся. Приблизившись к Москве, он заметил, что пасть начала сжиматься, и вскоре почувствовал, что армия его не может сопротивляться давлению челюстей, происходящему от их сближения. Тщетно спешил он выйти из сего пространныго зева: почти все его войска уже, так сказать, стиснуты; может быть, и сам он не избежит роковых зубов раздраженного им льва.

Наполеон хотел быть новым Самсоном; тактика израильского богатыря благоразумнее тактики корсиканского рыцаря. Первый схватил льва за морду и конец нижней челюсти, дабы избегнуть его зубов, естли не в силах будет разорвать голову сего животного на две части. Наполеон бросился в средину пасти, дабы массою своего тела разорвать мускулы; но не подумал о том, как избавиться от угрызения, естли будет невозможно обессилить мускулы или разорвать челюсти.

Царское село

Русские просветители.

М., 1966. Т. 2. С. 173-175.

ИЗ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

Корреспонденции о военных действиях²

Пишут из армии, что несколько казаков, стоявших на часах при пушке леса, привязали на веревку барана, а сами притаились за кустарником. Откуда ни взялись французские гусары, бросили оружие и начали делить барана. В ту же минуту казаки выскочили из засады и забрали их в плен без всякого труда. При другом случае, когда казаки наши ударили на ряд французской конницы, один гусар соскочил с лошади и пустился бежать. Схватив его, начали спрашивать, по какой причине он оставил лошадь.

«Не удивляйтесь, — сказал он, — я более надеюсь на свои ноги, чем на ноги моего коня; уже давно наши лошади с места не двигаются и я затем только на нее влез, чтобы, сидя повыше, издали вас завидеть».

Говорят, что во время пребывания французов в Москве небольшой их отряд с одной пушкой отправлен был на Калужскую дорогу для сожжения одной деревни. Солдаты за благо рассудили прежде исполнения сего приговора разграбить деревню и, оставив пушку на поле, бросились по домам за контрибуцией. Один крестьянин, выбежав из деревни, увидел, что при пушке нет никого, сел на нее верхом, ударил по всем по трем и прискакал с нею в русский лагерь. Главнокомандующий наградил его, сказывают, знаком отличия военного ордена.

После дела при Дашковке вынесен был с места сражения гренадер, раненный в грудь пулей, оставшейся в нем. Когда лекарь, худо говоривший по-русски, стал его осматривать, то, разглядев рану в груди и желая знать, где пуля остановилась, стал щупать спину, воин, ослабленный, истекший кровью и едва дышащий, сказал бывшим тут офицерам: «Ваше благородие! скажите лекарю, к чему он щупает мне спину? ведь я шел грудью!».

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики.

Вып. I. С. 110.

А.П. Куницын — профессор Царскосельского лицея и Петербургского университета в годы войны и позднее регулярно печатался в «Сыне отечества». Ему принадлежит статья в первом номере журнала «Послание к русским» и другие материалы.

¹ Впервые напечатано в «Сыне отечества» (1812. № 8. Ч. II).

*** Кутузов был ангелом-утешителем для русских в сие печальное время. Сходственно с сим можно поставить на его изображении следующую надпись: *Аз есмь с вами и никто же на вы*» (примеч. Куницына)

**** Спокойствие Кутузова при Тарутине и Леташевке можно выразить следующей надписью: «*Nihil me stante timendum*» (примеч. Куницына; перевод: «Не должно ничего бояться, пока я стою»).

² Корреспонденции о военных действиях впервые опубликованы в «Сыне отечества» (1812. № 3, 5, 8).

К. Ф. Рылеев

К.Ф. РЫЛЕЕВ

(1795—1826)

К временщику¹

Надменный временщик², и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь,
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула достойных хвал венец!
Смеюсь над сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем:
Коль сам с презрением я на тебя гляжу,
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! Лучше скрыть себя в безвестности простой.
Чем с низкими страстями и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых
Что в сани пользы мне и в почестях моих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
И в Цицероне³ мной не консул — сам он чтим
За то, что им спасен от Каталины Рим...
О муж, достойный муж! Почто не можешь снова
Родившись, сограждан спасти от рока злова?
Тиран, вострепещи! Родиться может он!

Иль Кассий, или Брут⁴, иль враг царей Катон⁵!
О, как на лире я потщюсь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
От взора общего причины зла укрыть...
Не зная о своем ужасном положеньи,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленьи,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь:
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея любя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!
«Невский зритель», 1820, кн. 9.

¹ Первое печатное произведение Рыльева, подписанное полным именем.

² Временщик — граф А.А. Аракчеев, фаворит Александра I, организатор военных поселений.

³ Цицерон — римский государственный деятель, оратор и писатель, боровшийся против Катилины, защищая республику

⁴ Кассий и Брут — вожди республиканского заговора против диктатуры Ю. Цезаря.

⁵ Катон — борец против Ю. Цезаря, покончил с собой после водворения монархии.
А. Н. Радищев

А.А БЕСТУЖЕВ

(1797—1837)

Взгляд на русскую словесность

в течение 1824 и начале 1825 годов¹

Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких порождает гениев; они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жажда нового ищет нечерпанных источников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и вещественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей славою и все человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде, кроме России; ибо у нас век разбора предыдет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления.

Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унижить даже и то, что есть. К довершению несчастья мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной ни с нравом русского народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после блестящих произведений, в поре полемических сплетней и приняв за образец бездушных умников века Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось. Говорят: чтобы все выразить, надобно все чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? а мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть все высокое, оценить все великое. Мы выбираем себе авторов по плечу: восхищаемся д'Арленкурами, критикуем Лафаров и Делилев², и заметьте: перебравив все, что у нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться.

Сказав о первых причинах, упомяну и о главной: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но, не занятый политикою, весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены той же болезнью. Мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая критика? Джеффери³ говорит, что «она полезна для периодической критики». Мы не можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало; но между тем листы наполняются, и публика, зевая над статьями вовсе для ней незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей. Справедливо ли, однако ж, так мало заботиться о пользе современников, когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?

Мне могут возразить, что это делается не для наставления неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не писать их?

Говоря это, я не понимаю, однако ж, о критике, которая аналитически вообще занимается установкою правил языка, открывает литературные злоупотребления, разлагает историю, и словом, везде, во всем отличает истинное от ложного. Тем, где самохвальство, взаимная похвальба и незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения самозванцев литераторов. Желательно только, чтобы критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды; чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно.

Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: «отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных?». Предскажу ответ многих, что от *недостатка ободрения!* Так, его нет, и слава богу! — Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Горкватто⁴ из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер⁵ лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение

— их горнило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады... И в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или по крайней мере внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили все внимание толпы, — но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света, — но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества, скрывать искру божества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы, богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!

Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заранее брошены были семена учения и размышления, только в людях, увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уже он деловой, — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, оттого что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бесстенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!⁶

Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! в тишине затворничества зрели их думы. Терновою стезею лишений пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они имели страсти людей; зато имели и взор наблюдателей. Они выкупили свои поступки упроченною опытностию и глубоким познанием сердца человеческого. Не общество увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфиери, неизмеримый Бейрон гордо сбросили с себя золотые цепи фортуны, презрели всеми заманками большого света, — зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие!!

Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения (*quand meme*⁷), которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь

залетели в тридевятую даль по-немецки Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назад остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас образцами. Притом все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно подражать им рабски в других обстоятельствах — невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений. Так чужое высокое понятие порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры!

Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные причины; я бы должен был присовокупить к ним и раннее убаюкивание талантов излишними похвалами или чрезмерным самолюбием; но уже время, оставив причины, взглянуть на произведения.

Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823. Н.М. Карамзин выдал в свет X и XI томы «Истории Государства Российского». Не входя, по краткости сего объема, в рассмотрение исторического их достоинства, смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования. Сими двумя томами началась и заключалась однако ж, изящная проза 1824 года. Да и вообще до сих пор творения почтенного нашего историографа возвышаются подобно пирамидам на степи русской прозы, изредка оживляемой летучими журнальными бедуинами или тяжело движущимися караванами переводов. Из оригинальных книг появились только «Повести» г. Нарезного. Они имели в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия и отделки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес. В роде описательном «Путешествие» Е. Тимковского⁸ чрез Монголию в Китай (в 1820 и 21 годах) по новости сведений, по занимательности предметов и по ясной простоте слога, несомненно, есть книга европейского достоинства <...> Появилось также несколько переводов романов Вальтера Скотта, но ни один прямо с подлинника и редкие прямо по-русски.

История древней словесности сделала важную находку в издании *Иоанна Экзарха Болгарского*⁹, современника Мефодиева. К чести нашего века надобно сказать, что русские стали ревностнее заниматься археологиею и критикою историческою, сими основными камнями истории. Книга сия отыскана и объяснена г. Калайдовичем, неутомимым изыскателем русской старины, и издана в свет иждивением графа Н.П. Румянцева, сего почтенного вельможи, который один изо всей нашей знати не щадит ни трудов, ни издержек для приобретения и издания книг, родной истории полезных. Таким же образом, напечатан и «Белорусский архив», приведенный в порядок г. Григоровичем.

Общество истории и древностей русских издало 2-ую часть записок и трудов своих; появилось еще пятнадцать листов летописи Нестора по Лаврентьевскому списку, приготовленных профессором Тимковским¹⁰.

Стихотворениями, как всегда, протекшие 15 месяцев изобиловали более, чем прозою. В.А. Жуковский издал в полноте рассеянные по журналам свои сочинения. Между новыми достойно красуется перевод Шиллеровой «Девы Орлеанской», перевод, каких от души должно желать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее с настоящими чертами иноземных классиков. Пушкин подарил нас поэмою «Бахчисарайский фонтан»; похвалы ей и критики на нее уже так истерлись от беспрестанного обращения, что мне остается только сказать: она пленительна и своенравна, как красавица Юга. Первая глава стихотворного его романа «Онегин», недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевленная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу. Особенно разговор с книгопродавцем вместо предисловия (это счастливое подражание Гёте) кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком. «Блажен», — говорит там в негодовании поэт:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!

И плод сих чувств есть рукописная его поэма «Цыгане». Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, хотя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой все, что он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молниеносные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою. И все это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. — Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры? — И.А. Крылов порадовал нас новыми прекрасными баснями; некоторые из них были напечатаны в повременных изданиях, и скоро сии плоды вдохновения, числом до тридцати, покажутся в полном собрании. Н.И. Гнедич недавно издал сильный и верный свой перевод (с новогреческого языка) песен клефтов¹¹ с приложением весьма любопытного предисловия. Сходство их с старинными нашими песнями разительное. На днях выйдет в свет поэма И.И. Козлова «Чернец»; судя по известным мне отрывкам, она исполнена трогательных изображений и в ней теплятся нежные страсти. Рылеев издал свои «Думы» и новую поэму «Войнаровский»; скромность заграждает мне уста на похвалу, в сей последней, высоких чувств и разительных картин украинской и сибирской природы. <...>

Русский театр в прошедшем году обеднел оригинальными пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удачно, однако ж, вывел на сцену Вольтера-юношу и Вольтера-

старика в дилогии своей «Ты и вы» и переделал для сцены эпизод Финна из поэмы Пушкина «Людмила и Руслан».

В Москве тоже давали, как говорят, хороший перевод «Школы стариков» (Делавиня)¹² г. Кокошкина и еще кой-какие водевили и драмы, о коих по слухам судить не можно; а здесь некоторые драмы обязаны были успехом своим сильной игре г. Семенов и Каратыгина. Я бы сказал что-нибудь о печатной, но не игранный комедии г. Федорова «Громилов», если бы мне удалось дочесть ее. К числу театральных представлений принадлежит и «Торжество муз», пролог г. М. Дмитриева на открытие большого Московского театра. В нем, хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли. Но все это выкупила рукописная комедия г. Грибоедова «Горе от ума», феномен, какого не видали мы от времен «Недоросля». Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее не смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностью сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится; но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеются и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных.

Удача альманахов показывает нетерпеливую склонность времени не только мало писать, но и читать мало. Теперь ходячая наша словесность сделалась карманною. Пример «Полярной звезды» породил множество подражаний: в 1824 году началось «Мнемозиною», которая если не по объему и содержанию, то по объявлению издателей принадлежит к дружине альманахов. Страсть писать теории, опровергаемые самими авторами на практике, есть одна из примет нашего века, и она заглавными буквами читается в «Мнемозине». Впрочем, за исключением диктаторского тона и опрометчивости в суждениях, в г. Одоевском видны ум и начитанность. Сцены из трагедии «Аргиевны» и пьеса «На смерть Байрона» г. Кюхельбекера имеют большое достоинство. На 1825 год театральный альманах «Русская талия» (издатель г. Булгарин) между многими хорошими отрывками заключает в себе 3-е действие комедии «Горе от ума», которое берет безусловное преимущество над другими. Потом отрывок из трагедии «Венцеслав» Ротру, счастливо переделанной Жандром, и сцены из комедии «Нерешительный» г. Хмельницкого, и «Ворожея» кн. Шаховского. Кроме этого, книжка сия оживлена очень дельною статьей г. Греча «О русском театре» и характеристическими выходками самого издателя. — «Русская старина», изданная гг. Корниловичем и Сухоруковым. Из них первый описал век и быт Петра Великого, а другой — нравы и обычаи поэтического своего народа — казаков. Оба рассказа любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам. — «Невский альманах» (изд. г. Аладьин) — нелестный попутчик для других альманахов. Наконец, «Северные цветы», собранные бароном Дельвигом, блистают всею яркостью красок поэтической радуги, всеми именами старейшин нашего Парнаса. Хотя стихотворная ее часть гораздо богаче прозаической, но и в этой особенно занимательна статья г. Дашкова «Афонская гора» и

некоторые места в «Письмах из Италии». Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукой похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы, — но у всякого свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума «Олег» и «Демон», «Русские песни» Дельвига и «Череп» Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношениях к цели альманахов: «Северные цветы» можно прочесть не улыбувшись.

Журналы по-прежнему шли своим чередом, т.е. все кружились по одной дороге: ибо у нас нет разделения работы, мнений и предметов. «Инвалид» наполнял свои листки и «Новости литературы» лежалою прозою и перепечатанными стихами. Заметим, что с некоторого времени закралась к издателям некоторых журналов привычка помещать чужие произведения без спросу и пользоваться чужими трудами безответно. «Вестник Европы» толковал о старине и заржавленным циркулем измерял новое. Подобно прочим журналам, он, особенно в прошлом году, изобиловал критическою перебранкою; критика на предисловие к «Бахчисарайскому фонтану», с ее последствиями, достойна порицания, если не по предмету, то по изложению. Подобная личность вредит словесности, оправдывая неуважение многих к словесникам... 1825 год ознаменовался преобразованием некоторых старых журналов и появлением новых. У нас недоставало газеты для насущных новостей, которая соединяла бы в себе политические и литературные вести: гг. Греч и Булгарин дали нам ее — это «Северная пчела». Разнообразием содержания, быстротою сообщения новизны, черезден-ным выходом и самою формою — она вполне удовлетворяет цели. Каждое состояние, каждый возраст находит там что-нибудь по себе. Между многими любопытными и хорошими статьями заметил я о романах г. Сомова и «Нравы» Булгарина. Жаль, что г. Булгарин не имеет времени отделять свои произведения. В них даже что-то есть недосказанное; но с его наблюдательным взором, с его забавным сгибом ума он мог бы достичь прочнейшей славы. «Северный архив» и «Сын отечества» приняли в свой состав повести; этот вавилонизм не очень понравился ученым, но публика любит такое смешение. За чистоту языка всех 3-х журналов обязаны мы г. Гречу, ибо он заведывает грамматическою полицею. В Петербурге на сей год издается вновь журнал «Библиографические листки» г. Кеппенем. Это необходимый указатель источников всего писанного о России. В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», изд. г. Полевым. Он заключает в себе все; извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего «Телеграфа», а *смелым владеет бог* — его девиз.

Журналы наши не так, однако ж, дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме *Revue Encyclopedique*?¹³ Немцы уж давно живут только переводами из журнала г. Ольдекопа, у которого, не к славе здешних немцев, едва есть тридцать подписчиков; и одни только англичане поддерживают во всей чистоте славу ума человеческого.

Оканчиваю. Знаю, что те и те восстанут на меня за то и то-то, что на меня посыплется град вопросительных крючков и восклицательных шпилек. Знаю, что я

¹³

изобрел плохую методу — ссориться с своими читателями в предисловии книги, которая у них в руках... но как бы то ни было, я сказал что думал — и «Полярная звезда» перед вами.

Декабристы. Антология. В 2 тт., Л.,
1975. Т. 2. С. 401—416.

¹ Впервые статья опубликована в альманахе «Полярная звезда. Карманная книжка на 1825 год для любительниц и любителей русской словесности, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Статье предшествовали обзоры русской литературы в «Полярной звезде» за 1823 и 1824 год.

² *Д'Аленкур В.* (1789-1856), *Ла Фар Ш.* (1644-1712), *Делиль Ж.* (1738-1813) — французские писатели и поэты.

³ *Джеффери Ф.* (1773—1805) — английский литературный критик.

⁴ *Торквато Тассо* (1544—1595) — итальянский поэт. Был объявлен сумасшедшим и заточен на семь лет в госпиталь.

⁵ *Вольтер* (1694—1778) — французский поэт. В 1717 г. был посажен в Бастилию, где написал поэму «Генриада».

⁶ *Гроб повапленный* — символ безжизненности, от слова «вапа» — бурая краска, которой красили дешевые гробы.

⁷ *quand meme* (фр.) — несмотря ни на что, во что бы то ни стало.

⁸ *Тимковский Е.Ф.* — писатель, чиновник Министерства иностранных дел.

⁹ *Иоанн Экзарх Болгарский* — руководитель болгарской церкви и писатель. *Мефодий* — славянский просветитель. Создатель (вместе с Кириллом) славянской азбуки.

¹⁰ *Тимковский Р.Ф.* — профессор Московского университета.

¹¹ *Клефты* (греч.) — разбойники, воинственные горцы Северной Греции, активно боровшиеся за свободу Греции.

¹² *Де ла Винь К.* (1783—1843) — французский поэт.

Н.М. МУРАВЬЕВ

(1796—1843)

Любопытный разговор¹

Вопрос: Что есть свобода?

Ответ: Жизнь по воле.

Вопрос: Откуда проистекает свобода?

Ответ: Всякое благо от бога. — Создав человека *по подобию своему* и определив добрым делать вечные награды, а злым вечные муки, — он даровал человеку *свободу!* — Иначе несправедливо было бы награждать, *за доброе* по принуждению сделанное, или наказывать за невольное *зло*.

Вопрос: Все ли я свободен делать?

Ответ: Ты свободен делать все то, что не вредно другому. Это твое *право*.

Вопрос: А если кто будет меня притеснять?

Ответ: Это будет тебе *насилие*, противу коего ты имеешь право сопротивляться.

Вопрос: Стало быть, все люди должны быть свободными?

Ответ: Без сомнения.

Вопрос: А все ли люди свободны?

Ответ: Нет. Малое число людей поработило большее.

Вопрос: Почему же малое число поработило большее?

Ответ: Одним пришла несправедливая мысль господствовать, а другим подлая мысль отказаться от природных прав человеческих, дарованных самим богом.

Вопрос: Надобно ли добывать свободу?

Ответ: Надобно.

Вопрос: Каким образом?

Ответ: Надлежит утвердить постоянные правила или *законы*, как бывало в старину на Руси.

Вопрос: Как же бывало в старину?

Ответ: Не было самодержавных государей!

Вопрос: Что значит государь самодержавный?

Ответ: Государь *самодержавный* или *самовластный* тот, который сам по себе держит землю, не признает власти рассудка, законов божиих и человеческих; сам от себя, то есть без причины по прихоти своей властвует.

Вопрос: Кто же установил государей самовластных?

Ответ: Никто. Отцы наши говорили: *поищем себе князя, который бы рядил по праву, а не по самовластью*, своевольству и прихотям. Но государи мало-помалу всяким обманом присвоили себе власть беспредельную, подражая ханам татарским и султану турецкому.

Вопрос: Не сам ли бог учредил самодержавие?

Ответ: Бог во благодсти своей никогда не учреждал зла.

Вопрос: Отчего же говорят: *Несть бо власть аще не от бога?*

Ответ: Злая власть не может быть от бога. *Всякое древо доброе добры плоды творит...* всякое же древо, не приносящее плодов добрых, будет посечено и ввергнуто в огонь. Хищным волкам в одеждах овечьих, пророчествующим во имя господне, мы напомним слова Спасителя: *Николи же знах вас: отъидите от меня, делающие беззакония.*

Вопрос: Есть ли государи самодержавные в других землях?

Ответ: Нет. Везде самодержавие считают безумием, беззаконием; везде поставлены неперменные правила или законы.

Вопрос: Не могут ли быть постоянные законы при самодержавии?

Ответ: Самодержавие или самовластие их не терпит; для него нужен беспорядок и всегдашние перемены.

Вопрос: Почему же самовластие не терпит законов?

Ответ: Потому, что государь властен делать все, что захочет. Сегодня ему вздумается одно, завтра другое, а до пользы нашей ему дела мало, оттого и пословица: *близь царя, близь смерти.*

Вопрос: Какое было на Руси управление без самодержавия?

Ответ: Всегда были народные *вечи*.

Вопрос: Что значит *вечи*?

Ответ: Собрание народа. В каждом городе при звуке вечевого колокола собирался народ или выборные, они совещались об общих всем делах; предлагали требования, постановляли законы, назначали, сколько где брать ратников; устанавливали с общего согласия налоги; требовали на суд свой наместников, когда сии грабили или притесняли жителей. Таковые *вечи* были в Киеве на Подоле, в Новгороде, во Пскове, Владимире, Суздале и в Москве.

Вопрос: Почему же сии вечи прекратились и когда?

Ответ: Причиною тому было нашествие татар, выучивших предков безусловно покорствовать тиранской их власти.

Вопрос: Что было причиною побед и торжества татар?

Ответ: Размножение князей дома Рюрикава, их честолюбие и распри, пагубные для отечества.

Вопрос: Почему же зло сие не кончилось с владычеством татар?

Ответ: Предание рабства и понятия восточные покорили их оружию и причинили еще более зла России. Народ, сносивший терпеливо иго Батыя и Сортана, сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем сим тиранам.

Избранные социально-политические и философские произведения декабристов.

М., 1951. Т. 1. С. 330—332.

¹ Написано в 1822 г. Впервые опубликовано в книге «Восстание декабристов» (М., Л., 1925. Т. 1). «Любопытный разговор» — нелегальное агитационное произведение. По форме восходит к катехизису (греч.) — краткому изложению в вопросах и ответах христианского вероучения. Одновременно смыкается с формами занятий «словесностью» с солдатами русской армии. Вольнолюбивое содержание вложено в форму катехизиса по примеру аналогичных произведений в период войны испанского народа против Наполеона (1808—1810).

А. С. Пушкин

А.С. ПУШКИН

(1799—1837)

О журнальной критике¹

В одном из наших журналов дают заметить, что «*Литературная Газета*» у нас не может существовать по весьма простой причине: «у нас нет литературы». Если б это было справедливо, то мы не нуждались бы в критике; однако ж произведения нашей литературы, как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству. Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч. — «Очистите место для новой статьи моей», — пишет сотрудник. «С удовольствием», — отвечает издатель. И это все напечатано.

Недавно в одном журнале было упомянуто о порохе. «От ужю вам будет порох!» — сказано в замечании наборщика: а сам издатель возражает на сие:

«Могущему пороку — брань,

Бессильному — презрень».

Эти семейственные шутки должны иметь свой ключ и, вероятно, очень забавны; но для нас они покамест не имеют никакого смысла.

Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство: не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между прочим «Иван Выжигин»²), о коих критика могла бы сказать много поучительного и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены? Не говорим уже о живых писателях: Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих. Впрочем, «Литературная Газета» была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. XI. С. 89.

О записках Видока³

В одном из № «Лит. Газеты» упоминали о «Записках» *парижского палача*; нравственные сочинения Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее обратительное, не менее любопытное.

Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека.

Видок⁴ в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (*un bon Francais*), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе, и как ему не только дозволено, но предписано всячески переодеваться, то и щеголяет орденом Почетного Легиона, возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье (*officiers a la demi-solde*). Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностию толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по

расчету; суждения Видока о Казимире де ла Вине⁵, о Б. Констане⁶ должны быть любопытны именно по своей нелепости.

Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). — Он при сем случае пишет на своих *врагов* доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений; раздражительность, смешная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем унижении, все еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода.

Предлагается важный вопрос:

Сочинения шпиона Видока, палача Самсона⁷ и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем, нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 129—130.

Торжество дружбы,

или Оправданный Александр Анфимович Орлов⁸

In arenam cum aequalibus

descend! (Cic)⁹

Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных. Сей назидательный союз ознаменован почтенными памятниками. Фаддей Бенедиктович скромно признал себя учеником Николая Ивановича, Н.И. поспешно провозгласил Фаддея Бенедиктовича *ловким своим товарищем*. Ф.В. посвятил Николаю Ивановичу своего «Дмитрия Самозванца»; Н.И. посвятил Фаддею Бенедиктовичу свою «Поездку в Германию». Ф.В. написал для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное предисловие^{****}; Н. Ив. в «Северной Пчеле» (издаваемой гг. Гречем и Булгариным) напечатал хвалебное объявление об «Иване Выжигине». Единодушие истинно трогательное! — Ныне Николай Иванович, почитая Фаддея Бенедиктовича оскорбленным в статье, напечатанной в № 9 «Телескопа»¹⁰, заступился за своего товарища со свойственным ему прямодушием и горячностью. Он напечатал в «Сыне

Отечества» (№ 27) статью, которая, конечно, заставит молчать дерзких противников Фаддея Бенедиктовича; ибо Николай Иванович доказал неоспоримо:

1) Что М. И. Голенищев-Кутузов возведен в княжеское достоинство в июне 1812 г. (с. 64).

2) Что не сражение, а план сражения составляет тайну главнокомандующего (с. 64).

3) Что священник выходит навстречу подступающему неприятелю с крестом и святою водой (с. 65).

4) Что секретарь выходит из дому в статском изношенномундире, в треугольной шляпе, сошпагой, в белом изношенномисподнем платье (с. 65).

5) Что пословица *vox populi — vox dei*¹¹ есть пословица латинская и что она есть истинная причина французской революции (с. 65).

6) Что «Иван Выжигин» не есть произведение образцовое, но, *относительно*, явление приятное и полезное (с. 62).

7) Что *Фаддей Бенедиктович* живет в своей деревне близ Дерпта и просил его (*Николая Ивановича*) не посылать к нему вздоров (с. 68).

И что, следственно, *Ф.В. Булгарин* своими талантами и трудами приносит честь своим согражданам, что и доказать надлежало.

Против этого нечего и говорить: мы впервые громко одобряем *Николая Ивановича* за его откровенное и победоносное возражение, приносящее столько же чести его логике, как и горячности чувствований.

Но дружба (сие священное чувство) слишком далеко увлекла пламенную душу *Николая Ивановича*, и с его пера сорвались нижеследующие строки:

— «Там — (в № 9 «Телескопа») — *взяли две глупейшие, вышедшие в Москве* — (да, в Москве) — *книжонки, сочиненные каким-то А. Орловым*».

О, Николай Иванович, Николай Иванович! Какой пример подаете вы молодым литераторам? Какие выражения употребляете вы в статье, начинающейся сими строгими словами: «*У нас издавна, и по справедливости, жалуются на цинизм, невежество и недобросовестность рецензентов*!» Куда девалась ваша умеренность, знание приличия, ваша известная добросовестность? Перечтите, Николай Иванович, перечтите сии немногие строки — и вы сами с прискорбием сознаетесь в своей необдуманности.

— «*Две глупейшие книжонки!.., какой-то А. Орлов!*».. Шлюсь на всю почтенную публику: какой критик, какой журналист решился бы употребить сии неприятные выражения, говоря о произведениях живого автора? ибо, слава богу; почтенный мой друг *Александр Анфимович Орлов* — жив! Он жив, несмотря на зависть и злобу журналистов; он жив к радости книгопродавцев, к утешению многочисленных читателей!

— «*Две глупейшие книжонки!..*» Произведения *Александра Анфимовича*, разделяющего с *Фаддеем Бенедиктовичем* любовь российской публики, названы:

глупейшими книжонками! Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная не для моего друга (ибо и он живет в своей деревне близ Сокольников; и он просил меня не посылать ему всякого вздору); но оскорбительная для всей читающей публики!_*****

— *«Глупейшие книжонки»*. Но чем докажете вы сию глупость? Знаете ли вы, Николай Иванович, что более 5000 экземпляров сих *глупейших книжонок* разошлись и находятся в руках читающей публики, что *Выжигины* г. Орлова пользуются благосклонностью публики наравне с *Выжигиными* г. Булгарина; а что образованный класс читателей, которые гнушаются теми и другими, не может и не должен судить о книгах, которых не читает?

Скрепя сердце, продолжаю свой разбор.

— *«Две глупейшие! — (глупейшие!) — вышедшие в Москве — (да, в Москве) — книжонки»*...

В Москве, да, в Москве!.. Что же тут предосудительного? К чему такая выходка противу первопрестольного града?.. Не в первый раз заметили мы сию странную ненависть к Москве в издателях *«Сына Отечества»* и *«Северной Пчелы»*. Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду.

Москва донныне центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих *ibi bene, ibi patria*¹², для коих все равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское, — были бы только сыты.

Чем возгордилась петербургская литература?.. Г. Булгариным?.. Согласен, что сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями и характером, заслужил бессмертную себе славу; но произведения г. Орлова ставят московского романиста если не выше, то, по крайней мере, наравне с петербургским его соперником. Несмотря на несогласие, царствующее между Фаддеем Бенедиктовичем и Александром Анфимовичем, несмотря на справедливое негодование, возбужденное во мне неосторожными строками *«Сына Отечества»*, постараемся сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности.

Фаддей Венед, превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений. Александр Анф. берет преимущество над Фадд. Бенедиктовичем живостию и остротою рассказа.

Романы Фаддея Венед, более обдуманы, доказывают большее терпение***** в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александр Анф. более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венед, более философ; Александр Анф. более поэт.

Фад. Венед, гений; ибо изобрел имя *Выжигина*, и сим смелым нововведением оживил пошлые подражания *Совестодралу* и *Английскому Милорду*¹³, Александр Анф. искусно воспользовался изобретением г. Булгарина и извлек из оногo бесконечно разнообразные эффекты.

Фаддей Венед., кажется нам, немного однообразен; ибо все его произведения не что иное, как Выжигин в различных изменениях: *«Иван Выжигин»*, *«Петр Выжигин»*, *«Дмитрий Самозванец, или Выжигин XVII столетия»*, собственные записки и нравственные статейки — все сбивается на тот же самый предмет. Александр Анф. удивительно разнообразен. Сверх несметного числа *«Выжигиных»*, сколько цветов рассыпал он на поле словесности! *«Встреча Чумы с Холерою»*; *«Сокол был бы Сокол, да Курица его съела, или Бежавшая Жена»*; *«Живые обмороки»*, *«Погребение Купца»*, и проч. и проч.

Однако же беспристрастие требует, чтоб мы указали сторону, с коей Фаддей Венед, берет неоспоримое преимущество над своим счастливым соперником; разумею нравственную цель его сочинений. В самом деле, любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем; сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. Г. Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него — Ножевым, взяточник — Взяткиным, дурак — Глаздуриным, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова — Хлопоухиным, Дмитрия Самозванца — Каторжниковым, а Марину Мнишек — княжною Шлюхиной, зато и лица сии представлены несколько бледно.

В сем отношении г. Орлов решительно уступает г. Булгарину. Впрочем, самые пламенные почитатели Фаддея Венед, признают в нем некоторую скуку, искупленную назидательностью; а самые ревностные поклонники Александра Анф. осуждают в нем иногда необдуманность, извиняемую, однако ж, порывами гения.

Со всем тем Александр Анф. пользуется гораздо меньшею славой, нежели Фаддей Венед. Что же причину сему видимому неравенству?

Оборотливость, любезные читатели, оборотливость Фаддея Бенедиктовича, ловкого товарища Николая Ивановича! *«Иван Выжигин»* существовал еще только в воображении почтенного автора, а уже в *«Северном Архиве»*¹⁴, *«Северной Пчеле»* и *«Сыне Отечества»* отзывались об нем с величайшею похвалою. Г. Ансело¹⁵ в своем путешествии, возбуждившем в Париже общее внимание, провозгласил сего, еще не существовавшего, *«Ивана Выжигина»*, лучшим из русских романов. Наконец *«Иван Выжигин»* явился; и *«Сын Отечества»*, *«Северный Архив»* и *«Северная Пчела»* превознесли его до небес. Все кинулись его читать; многие прочли до конца; а между тем похвалы ему не умолкали в каждом номере *«Сев. Архива»*, *«Сына Отеч.»* и *«Сев. Пчелы»*. Сии усердные журналы ласково приглашали покупателей; ободряли, подстрекали ленивых читателей, угрожали мезтью недоброжелателям, недочитавшим *«Ивана Выжигина»* из единой низкой зависти.

Между тем, какие вспомогательные средства употреблял Александр Анфимович Орлов?

Никаких, любезные читатели!

Он не задавал обедов¹⁶ иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых.

Он не заманивал унижительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии.

Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под.

Но — обезоружил ли тем он многочисленных врагов? Нимало. Вот как отзывались о нем его собратья:

«Автор вышеисчисленных творений сильно штурмует нашу бедную русскую литературу и хочет разрушить русский Парнас не бомбами, но каркасами, при помощи услужливых издателей, которые щедро платят за каждый манускрипт знаменитого сего творца, по двадцати рублей ходячею монетою, как уверяли нас знающие дело книгопродавцы. Автор есть муж — *из ученых*, как видно по латинским фразам, которыми испещрены его творения, а сущность их доказывает, что он, как сказано в «Недоросле»: «Убоясь бездны премудрости, вспять обратился». — Знаменитое лубочное произведение: «Мыши кота хоронят, или небылицы в лицах», есть Илиада в сравнении с творениями г. Орлова, а Бова Королевич — герой, до которого не возвысился еще почтенный автор... Державин есть у нас *Альфа*, а г. Орлов *Омега* в литературе, то есть, последнее звено в цепи литературных существ, потому *заслуживает внимания, как все необыкновенное******. ...Язык его, изложение и завязка могут сравняться только с отвратительными картинами, которыми наполнены сии чада безвкусыя, и с смелостью автора.

Никогда в Петербурге подобные творения не увидели бы света, и ни один из петербургских уличных разносчиков книг (не говорим о книгопродавцах) не взялся бы их издавать. По какому праву г. Орлов вздумал наречь своих холопей, хлыновских степняков Игната и Сидора, детьми Ивана Выжигина, и еще в то самое время, когда автор Выжигина издает другой роман под тем же названием?.. Никогда такие омерзительные картины не появлялись на русском языке. Да здравствует московское книгопечатание!» («*Сев. Пч.*», 1831, № 46).

Какая злонамеренная и несправедливая критика! Мы заметили уже неприличие нападений на Москву; но в чем упрекают здесь почтенного Александра Анфимовича?.. В том, что за каждое его сочинение книгопродавцы платят ему по 20 рублей? что же!

бескорыстному сердцу моего друга приятно думать, что, получив 20 рублей, доставил он другому 2000 выгоды_*****; между тем, как некоторый петербургский литератор, взяв за свою рукопись 30 000, заставил охать погорячившегося книгопродавца!!!

Ставят ему в грех, что он знает латинский язык. Конечно; доказано, что Фаддей Бенедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своею бессмертною славою?

Уверяют, что г. Орлов *из ученых*. Конечно; доказано, что г. Булгарин вовсе не учен, но опять повторяю: разве невежество есть достоинство столь завидное?

Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул он присвоить своим лицам имя, освященное самим Фаддеем Бенедиктовичем? Но разве А.С. Пушкин не дерзнул вывести в своем «Борисе Годунове» все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими местами в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи!)?

Смело ссылаюсь на совесть самих издателей «Сев. Пчелы»; справедливы ли сии критики? виноват ли Александр Анфимович Орлов?

Но еще смелее ссылаюсь на почтенного Николая Ивановича: не чувствует ли он глубокого раскаяния, оскорбив напрасно человека с столь отличным дарованием, *не состоящего с ним ни в каких сношениях, вовсе его не знающего и не писавшего о нем ничего дурного?*

Феофилакт Косичкин

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 204—210.

Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем¹⁷

Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как *Пролаз с Высоносом*, говоря в похвальбу себе и в утешение

«Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе»¹⁸.

Нет; рассердись единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа, перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к таковому ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего А.А. Орлова, попал я на следующее место:

— *«Я решился на сие»* — (на оправдание г. Булгарина) — *«не для того, чтобы оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов»* (см. № 27 «Сына Отечества», издаваемого гг. Гречем и Булгариним).

Изумился и, каким образом мог я пропустить без внимания сии красноречивые, но необдуманные строки! Я стал по пальцам пересчитывать всевозможных рецензентов, у коих менее ума в голове, нежели у г. Булгарина в мизинце, и теперь догадываюсь, кому *Николай Иванович* думал погрозить мизинчиком *Фаддея Бенедиктовича*.

В самом деле, к кому может отнестись это затейливое выражение? Кто наши записные рецензенты?

Вы, г. издатель «Телескопа»? Вероятно, мстительный *мизинчик* указывает и на вас: предоставляю вам самим вступить за свою голову*****. Но кто же другие?

Г-н Полевой? Но несмотря на прежние раздоры, на письма Бригадирши¹⁹, на насмешки славного Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда²⁰ и проч. и проч., *всей Европе* известно, что «Телеграф» состоит в добром согласии с «Северной Пчелой» и «Сыном Отечества»: мизинчик касается не его.

Г-н Воейков? Но сей замечательный литератор рецензиями мало занимается, а известен более изданием Хамелеонистики²¹, остроумного сбора статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плутни. Ловкие издатели «Северной Пчелы» уже верно не станут, как говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и знаменитый вышеупомянутый *мизинчик*.

*Г-н Сомов?*²² Но кажется «Литературная Газета», совершив свой единственный подвиг — совершенное уничтожение (литературной) славы г. *Булгарина*, — почиет на своих лаврах, и г. *Греч*, вероятно, не станет тревожить сего счастливого усыпления, щекотя Газету проказливым *мизинчиком*.

Кого же оцарапал сей мизинец? Кто сии рецензенты, у коих — и так далее? Просвещенный читатель уже догадался, что дело идет обо мне, о Феофилакте Косичкине.

Всему свету известно, что никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века. Сколько глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышло у нас из печати в течение последнего десятилетия (шагнувшего так далеко вперед) и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы! Ни одного из таковых явлений не пропустил я из виду; обо всяком, как известно, написал я по одной статье, отличающейся ученостию, глубокомыслием и остроумием. Если долг беспристрастия требовал, чтоб я указывал иногда на недостатки разбираемого мною сочинения, то может ли кто-нибудь из гг. русских авторов жаловаться на заносчивость или невежество *Феофилакты Косичкина*? Может быть, по примеру г. Полевого я слишком лестно отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя свое под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками, и гг. русские журналисты, вероятно, не укорят меня в шарлатанстве.

И что ж! Г-н *Греч* в журнале, с жадностью читаемом во всей просвещенной Европе, дает понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей! Отзыв слишком для меня оскорбительный! Полагаю себя вправе объявить во услышание всей Европы, *что я ничьих мизинцев не боюсь; ибо не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо, и все пять в совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было. Dixi!*²³

Взявшись за перо, я не имел, однако ж, целию объявить о сем почтеннейшей публике; подобно нашим писателям-аристократам — (разумею слово сие в его ироническом смысле) — я никогда не отвечал на журнальные критики: дружба, оскорбленная дружба призывает опять меня на помощь угнетенного дарования.

Признаюсь: после статьи, в которой так торжественно оправдал и защитил я *А. Орлова* — (статья, принятой московскою и петербургскою публикою с отличной благосклонностию) не ожидал я, чтоб «Северная Пчела» возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу²⁴. Правда, сии нападения уже гораздо слабее прежних, но я не умолкну, доколе не принужу к совершенному безмолвию ожесточенных гонителей моего друга и непочтительного «*Сына Отечества*», издававшегося над нашей древнею Москвою.

«*Северная Пчела*» (№ 201), объявляя о выходе нового «*Выжигина*», говорит: «Заглавие сего романа заставило нас подумать, что это одно из многочисленных подражаний произведениям нашего *блаженного г. А. Орлова*, знаменитого автора... Притом же всякое произведение московской литературы, носящее на себе печать изделия книгопродавцев *пятнадцатого класса*²⁵ ... приводит нас в невольный трепет». «*Блаженный г. Орлов*»... Что значит *блаженный Орлов*? О конечно: если блаженство состоит в спокойствии духа, не возмущаемого ни завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном и благородном труде, в смиренном развитии дарования, данного от бога, — то добрый и небогатый *Орлов* блажен и не станет завидовать ни богатству плута, ни чинам негодяя, ни известности шарлатана!!! Если же слово *блаженный* употреблено в смысле, коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторых людей, старающихся представить смешными вещи, вовсе не смешные, и которые даже не могут извинять неприличия мысли остроумием или веселостию оборота.

Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого класса обличают аристократию чиновных издателей, некогда осмеянную так называемыми аристократическими нашими писателями. Повторим истину, столь же неоспоримую, как и нравственные размышления г. *Булгарина*: «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Филдинг²⁶ и Лабрюер²⁷ не были ни статскими советниками, ни даже коллежскими асессорами. Разночинцы, вышедшие в дворянство, могут быть почтенными

писателями, если только они люди с дарованием, образованностию и добросовестностию, а не фигляры и не наглецы».

Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет последним и что почтенные издатели «Северной Пчелы», «Сына Отечества» и «Северного Архива» не вызовут меня снова на поприще, на котором являюсь редко, но не без успеха, как изволите видеть. Я человек миролюбивый, но всегда готов заступиться за моего друга; я не похожу на того китайского журналиста, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? он человек деловой и расторопный».

Между тем полагаю себя вправе объявить о существовании романа, коего заглавие прилагаю здесь. Он поступит в печать или останется в рукописи, *смотря по обстоятельствам*:

Настоящий Выжигин

историко-нравственно-сатирический роман XIX века

Содержание

Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. **Глава II.** Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. **Глава III.** Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! **Глава IV.** Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. **Глава V.** Ubi bene, ibi patria. **Глава VI.** Московский пожар. Выжигин грабит Москву. **Глава VII.** Выжигин перебегает. **Глава VIII.** Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. **Глава IX.** Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. **Глава X.** Встреча Выжигина с Высухиным. **Глава XI.** Веселая компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. **Глава XII.** Танта. Выжигин попадает в дураки. **Глава XIII.** Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка! **Глава XIV.** Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностью объявляют о том почтенной публике. **Глава XV.** Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. **Глава XVI.** Видок, или маску долой! **Глава XVII.** Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. **Глава XVIII** и последняя. Мышь в сыре.

Ф. Косичкин

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 211—215.

От редакции²⁸

«Современник» будет издаваться и в следующем, 1837 году. Каждые три месяца будет выходить по одному тому.

Цена за все четыре тома, составляющие годовое издание, 25 рублей асс. пересылкою 30 рублей асс.

Подписка в СПб. принимается во всех книжных лавках. Иногородные могут адресоваться в Газетную экспедицию.²⁹

Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова: *литературный журнал* — уже заключают в себе достаточное объяснение.

Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из них объявил, что «Современник» будет иметь целию — уронить «Библиотеку для чтения», издаваемую г. Смирдиным; в «Северной же Пчеле» сказано, что «Современник» будет продолжением «Литературной газеты», издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом.

Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношениях с гг. журналистами, взявшими на себя труд поставить за него программу, и что он никогда им того не поручал. Отклоняя, однако ж, от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную в «Библиотеке для чтения», он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в «Северной Пчеле»: «Современник», по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнений о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением «Литературной газеты».

Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. М, 1976. Т. 6. С. 186.

¹ «О журнальной критике». Впервые напечатано в «Литературной газете» (1830. № 3).

² «Иван Выжигин» — модный роман Ф.В. Булгарина, вышедший в 1829 г.

³ Памфлет «О записках Видока» впервые опубликован в «Литературной газете» (1830, № 20). Этим памфлетом Пушкин начал полемику против Булгарина, намекая на его связь с полицией.

⁴ *Видок* — начальник сыскной парижской полиции. После оставления службы выпустил книгу, в которой рассказал о своей секретной службе сыщика.

⁵ *К. де ла Винь* (1783—1843) — французский поэт.

⁶ *Б. Констан* (1787—1830) — французский писатель.

⁷ «Палач Самсон» (точнее Сансон А.) — парижский палач эпохи революции.

⁸ Памфлет «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» впервые напечатан в журнале «Телескоп» (1831. № 13). Причиной его написания стала полемика между «Телескопом» и «Северной пчелой» о новом романе Булгарина «Петр Иванович Выжигин», который Н.И. Надеждин — издатель «Телескопа» — ставил в один ряд с произведениями автора лубочных романов А.А. Орлова. Выступая якобы в защиту Орлова, Пушкин подвергает издевательской критике произведения Булгарина, моральные принципы Булгарина и Греча.

⁹ «Я вышел на арену вместе с равными мне» (Цицерон, *лат.*).

***** Смотри «Граматику» Греча, напечатанную в типографии Греча (примеч. А.С. Пушкина).

¹⁰ Статья, напечатанная в «Телескопе», — рецензия Н.И. Надеждина на роман Булгарина.

¹¹ «Глас народа — глас божий» (*лат.*).

***** См. разбор «Денницы» в «С [ыне] О [течества]» (примеч. А.С. Пушкина).

¹² «Где хорошо, там и родина» (*лат.*). Намек на Булгарина, служившего в 1812 г. в армии Наполеона.

***** Гений есть терпение в высочайшей степени — сказал известный Бюффон (*Бюффон Ж.* (1707—1788) — французский натуралист). (примеч. А.С. Пушкина).

¹³ *Совестодрал* и *Английский Милорд* — герои лубочных романов XVIII в.

¹⁴ «Северный Архив» — журнал истории, статистики и путешествий, издаваемый Булгариным и Гречем.

¹⁵ *Ансело* — французский поэт, был в России в 1826 г.

¹⁶ «Он не задавал обедов» — намек на обед, который дали Булгарин и Греч Ансело, расхвалившему потом их произведения в своей книге «Шесть месяцев в России».

***** Важное сознание! Прошу прислушать! (примеч. А.С. Пушкина).

***** Историческая истина! (примеч. А. С. Пушкина).

¹⁷ «Несколько слов о мизинце г. Булгариия и о прочем». Впервые напечатано в журнале «Телескоп» (1831. № 15). Греч, защищая Булгарина от критики «Телескопа», заявил в одной из статей, что в мизинце Булгарина ума и таланта больше, чем в головах рецензентов. А.С. Пушкин ответил ему фельетоном. Приведенный в конце его план нового романа «Настоящий Выжигин», где используются факты подлинной биографии Булгарина, был ударом по самолюбию и репутации Булгарина.

¹⁸ Стих из комедии Я.В. Княжина «Чудаки»; *Пролаз* и *Высонос* — действующие лица этой комедии, лакеи.

***** До мизинцев ли мне? Изд. [Н. И. Надеждин].

¹⁹ «Письмо бригадирши» («Северная пчела». 1825. № 8) уличало Полевого в незнании французского языка.

²⁰ *Грипусье*, *Верхогляд* — прозвища, которые давал Булгарин Полевому.

²¹ *Хамелеонистика* — сатирические фельетоны А.А. Воейкова в журнале «Славянин».

²² *Сомов О.М.* (1793—1833) — прогрессивный литературный критик и журналист, издатель «Литературной газеты» в 1830 г. после отстранения от издания Дельвига.

²³ Я кончил (*лат.*).

²⁴ *Первопрестольная столица* — Москва. Греч нападал в своей статье снова на Орлова и «журнальную Москву».

²⁵ «Пятнадцатого класса», т.е. несуществующего класса по Табели о рангах, где самый низший класс — четырнадцатый.

²⁶ *Филдинг Г.* (1707—1754) — английский писатель.

²⁷ *Лабрюер Ж.* (1645—1696) — французский писатель.

²⁸ «От редакции» впервые опубликовано в «Современнике» (1836. № 3).

П.Я. ЧААДАЕВ

(1794—1856)

Философические письма¹

Письмо первое

Сударыня <...> Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесение его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и чистые радости душе, — говоря откровенно, чего вы достигли при всех преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, — у вас нет их и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустройстве жизни, о тех привычках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь,

не важен. Мы и без того обижены судьбою, — не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. — Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпохи сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений.

Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они и самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Это увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созрели в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это — хаотическое брожение в мире духовном, подобно тем переворотам в истории земли, которые предшествуют современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения

человечества, мы также ничего не восприняли и из **преемственных** идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорил Цицерон², если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды сами себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобно тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.

Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде, чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно

недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиций. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своей долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо, касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше, чем психология: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас?

<...> Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем, как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы — кельты, скандинавы, германцы — имели своих друидов,

скальдов и бардов³, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов: среди них встречаются люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, Упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь...

Чаадаев П.Я. Статьи и письма.

М, 1987. С. 35—39, 40—42.

¹ Впервые опубликовано в журнале «Телескоп» (1836. № 15). Письмо обращено к Е.Д. Пановой

² *Цицерон Марк Туллий* (106—43 гг. до н.э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

³ Друиды, скальды, барды-жрецы, поэты и певцы древних кельтов, скандинавов.

Н. В. Гоголь

Н.В. ГОГОЛЬ

(1809—1852)

О движении журнальной литературы

в 1834 и 1835 году¹

Журнальная литература, это живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своеобразный обмен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностью литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно вяло; новых, кроме «Библиотеки для чтения» и впоследствии «Московского наблюдателя» показалось, между тем, как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудность и постный вид наших журналов: «Телеграф» давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение в отношении журналов петербургских. «Телескоп» наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, который один только, к стыду прочих недалезорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, книгопродавец Смирдин решился издать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности г-н Сенковский взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактором г-н Греч, известный постоянным изданием двух журналов: «Северной пчелы» и «Сына отечества». Не знаем, сами ли они взялись за сие дело, или упрощены были г-ном Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякий журналист. С выходом первой книжки

публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнение и мысли *одного*, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны все, чего публика вправе была от него требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа осьмнадцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долг те, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. — Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г-н Сенковский. Имя г-на Греча выставлено было только для формы, по крайней мере, никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г-н Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

<...> Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г-н Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать навверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса*, — *вовсе никакого*. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г-на Кукольника наряду с Гете, и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему задумалось. Стало быть, у него рецензии не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтера Скотта. Можно быть уверены, что г-н Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости, потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г-н Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то страшное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оно выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г-н Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оний*, которые показались ему, неизвестно почему,

неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное *i*, который впоследствии еще не так давно поддерживал один профессор. Книга, в которой г-н Сенковский встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи вроде повестей, своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским, произвели всеобщее изумление, потому что г. Сенковский осуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно также, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б<арона> Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как-то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные. Та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя «Б<иблиотеки> для ч<тения>». Мы почти нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в «Библиотеке для чтения» и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В «Библиотеке» находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была *смесь*, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повести и прочее, — оказывали очень мало вкуса и выбора. В «Библиотеке для чтения» случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявил об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорил он, — в «Библиотеке для чтения», не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так уменьшилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и

упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. «Библиотеку» уже менее читали в столицах, но все так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

«Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось <...> Впрочем, от «Сев<ерной> пчелы» больше требовать было нечего; она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название «Сына отечества и Северного архива», был почти невидимкою во все время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обертке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец просто словесность, география, энтография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую! ужасную программу и подумает, что это крупнейшее энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из «Северной пчелы», следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незамеченным. Имена редакторов гг. Булгарина и Греча стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. <...>

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название этой газеты: «Литературные прибавления к Инвалиду». В ней помещались легонькие повести: беседы деревенских помещиков о литературе, беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель к изумлению своему видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание не длиннее строчки с восклицательным знаком. Г-н Воейков² был чрезвычайно деятельный

ловец, и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частью мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее взглянуть.

В Москве издавался один только «Телескоп», с небольшими листками прибавления, под именем «Молвы»; журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная «Библиотекою для чтения», не могла не задеть за живое других журналов. Но «Северная пчела» была издаваема тем же самым г-ном Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в «Библиотеке» как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что «Северная пчела» должна была хвалить все, помещаемое в «Библиотеке», и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сын отечества» должен был повторять слова «Пчелы». Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г-н Воейков показал в «Литературных прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроты, выраженная отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для чтения», но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливица, шутил над баронством г-на Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности. В «Молве» повторялись те же намеки на Брамбеуса часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, «Телескоп» много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностию издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что «Библиотека для чтения» имела около пяти тысяч подписчиков, что мнения «Библиотеки для чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существуют ли «Телескоп» и «Литературные прибавления», что мнения и сочинения, помещенные в «Библиотеке для чтения», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для чтения», скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики; ибо то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких по количеству подписчиков можно предполагать более между читателями

«Библиотеки», и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие все за чистую истину, что наконец «Библиотека для чтения» имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземпляров «Сев<ерной> пчелы».

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, т.е. для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых «Библиотекою». Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, ибо «Б<иблиотека> д<ля> ч<тения>» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, ибо г-н Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономике и проч., и все это делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

<...> Но рассмотрим, в какой степени «Москов<ский> набл <юдатель>» выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение «Библиотеки для чтения».

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — «Северная пчела» и «Библиотека для чтения», которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следственно, не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки, наконец, он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В «Московском наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом своего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей «Московского наблюдателя». Они забыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости слога, на общепринятости и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала. Но г-н Андросов³ явился в «Московском наблюдателе» вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и «Московский наблюдатель» стал похож на те ученые общества, где члены

ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем, как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей, его украсили стихи Языкова и Баратынского — эти перлы русской поэзии, но при всем том в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи, часто хорошие, делались скучными, потому только, что они тянулись из одного нумера в другой с несносной подписью: «Продолжение впродолжение». Вот каков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для чтения».

«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева⁴ о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых: он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. При том сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и проницательные. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г-ну Шевыреву на бедных покупщиков, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет, спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недалновидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г-н Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на произаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. «Библиотека» отвечала коротко в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, т.е. к подписчикам, она говорила: «Вот какое неблагородство духа показал г-н Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для Денег, тогда как» и проч. ...

<...> Итак, выходка «Московского наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский наблюдатель» замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог «Наблюдатель» дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным «Телеграф», действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. «Наблюдатель» выпустил вслед за тем несколько номеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Через несколько номеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в «Библиотеке» статьи, под именем «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но все же с некоторою застенчивостью, и после сами старались все это как-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что несколько провинились.

Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и «Телескоп» и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостью о ней намекнул и г-н Воейков; она возродила статью и в «Московском наблюдателе». Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость? какими творениями чужих хозяев пользовался, как своими? другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат? Несколько безгласных книжек, выходявших вслед за тем, совершенно погрузили «Московского наблюдателя» в забвение. Даже самая «Библиотека для чтения» перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике; продолжала шутить над важным и неважным и говорить все то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту; какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожил, классиков; «Московский вестник», один из лучших журналов, несмотря на то, что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере стремление к ней было

чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщите. Развернув их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире. <...>

Но довольно. Заключим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере, заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели «Сына отечества», издатель «Телескопа» заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большом старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностью.

Гоголь Н.В. Собр. соч. В 14 т.

М, 1952. Т. 8. С. 156-176.

¹ Впервые опубликована в «Современнике» (1836. № 1) без подписи. Статья дает общую оценку журналистике, главное внимание отводя «Библиотеке для чтения» Сенковского и борьбе против «торгового» направления в печати 30-х гг.

² *Воейков А. Ф.* — издатель и редактор газеты «Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"» в 1831—1836 гг.

³ *Андросов В.П.* — редактор журнала «Московский наблюдатель» в 1835—1837 гг.

⁴ *Шевырев С.П.* — сотрудник журнала «Московский наблюдатель» в 1835—1837 гг. Его статья «Словесность и торговля» была напечатана в «Московском наблюдателе» (1835. Кн. 1. Ч. 1).

В. Г. Белинский

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

(1811—1848)

Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа»

за последнее полугодие (1835) русской литературы¹

<...> «Библиотека для чтения» начинает уже *третий* год своего существования, и, что очень важно, она нисколько не изменяется ни в объеме, ни в достоинстве своих книжек, ни в духе и характере своего направления; она всегда верна себе, всегда равна себе. Всегда согласна с собою; словом, идет шагом ровным, поступью твердою, всегда по одной дороге, всегда к одной цели; не обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянства. Все это чрезвычайно важно для журнала, все это составляет необходимое условие существования журнала и его постоянного кредита у публики; в то же время это показывает, что «Библиотекою» дирижирует один человек, и человек умный, ловкий, сметливый, деятельный — качества, составляющие необходимое условие журналиста; ученость здесь не мешает, но не составляет необходимого условия журналиста, для которого в этом отношении гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы поверхностного, многосторонность познаний, хотя бы и поверхностных, энциклопедизм, хотя бы и мелкий. О «Библиотеке» писали и пишут, на нее нападали и нападают, сперва враги, а наконец, и друзья, поклявшиеся ей в верности до гроба, пожертвовавшие ей собственными выгодами, разумеется, в чаянии больших от союза с сильным и богатым собратом; а «Библиотека» все-таки здравствует, смеется (большею частью молча) над нападками своих противников! — В чем же заключается причина ее неимоверного успеха, ее неслыханного кредита у публики? — Если бы я стал утверждать, что «Библиотека» журнал плохой, ничтожный, это значило бы смеяться над здравым смыслом читателей и над самим собою: факты говорят лучше доказательств; и первенство и важность «Библиотеки» так ясны и неоспоримы, что против них нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ее могущества, ее авторитета. На «Библиотеку», на Брамбеуса и на Тютюнджи-оглу² что все почти тождественно, было много нападков, часто бессильных, иногда сильных, было много атак, часто неверных, иногда впопад, но всегда бесполезных. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что я нашел причину этого успеха, столь противоречащего здравому смыслу и так прочного, этой силы, так носящей в самой себе зародыш смерти, и так постоянной, так не слабеющей. Не выдаю моего открытия за новость, потому что оно может принадлежать многим; не выдаю моего открытия и за орудие, долженствующее быть смертельным для рассматриваемого мною журнала потому что истина не слишком сильное оружие там, где еще нет литературного общественного мнения. «Библиотека» есть журнал *провинциальный* — вот причина ее силы. <...>

Я сказал, что тайна постоянного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал *провинциальный*, и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому умению, тому искусству, с какими он принаровляется и подделывается к провинции. Я не говорю уже о постоянном, всегда правильном выходе книжек, одном из главнейших достоинств журнала; остановлюсь на числе книжек и продолжительности срока их выхода. Я думал прежде, что это должно обратиться во вред журналу; теперь вижу в этом тонкий и верный расчет. Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитать до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая,

словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! — Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системе, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остается пестрая, разнообразная смесь; остаются статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал — клад для провинции?..

Но постойте, это еще не все: разнообразие не мешает и столичному журналу и не может служить исключительным признаком провинциального. Бросим взгляд на каждое отделение «Библиотеки», особенно и по порядку. Стихотворения занимают в ней особое и большое отделение: под многими из них стоят громкие имена, каковы Пушкина, Жуковского; под большею частью стоят имена знаменитостей, выдуманных и сочиненных наскоро самою «Библиотекою»; но нет нужды; тут все идет за знаменитость; до достоинства стихов тоже мало нужды; имена, под ними подписанные, ручаются за их достоинство, а в провинциях этого ручательства слишком достаточно. То же самое в отношении имен должно сказать, и о русских повестях: иностранные подписаны именами, которые для провинций непременно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на самом деле; подписаны именами журналов, громких и известных во всем мире. То же должно сказать и о прочих отделениях «Библиотеки». Теперь скажите, не большая ли это выгода для провинций? — Вам известно, как много и в столицах людей, которых вы привели бы в крайнее замешательство, прочтя им стихотворение, скрывши имя его автора и требуя от них мнения, не высказывая своего; как много и в столицах людей, которые не смеют ни восхититься статьею, ни осердиться на нее, не заглянув на ее подпись. Очень естественно, что таких людей в провинциях еще больше, что люди с самостоятельным мнением попадают туда случайно и составляют там самое редкое исключение. Между тем и провинциалы, как и столичные жители, хотят не только читать, но и судить о прочитанном, хотят отличиться вкусом, блистать образованностью, удивлять своими суждениями, и они делают это, делают очень легко, без всякого опасения компрометировать свой вкус, свою разборчивость, потому что имена, подписанные под стихотворениями и статьями «Библиотеки», избавляют их от всякого опасения посадить на мель свой критицизм и обнаружить свое безвкусие, свою необразованность и невежество в деле изящного. А это не шутка! — В самом деле, кто не признает проблесков гения в самых сказках Пушкина потому только, что под ними стоит это магическое имя «Пушкин»? То же и в отношении к Жуковскому. А чем ниже Пушкина и Жуковского гг. Тимофеев и Ершов? Их хвалит «Библиотека», лучший русский журнал, и принимает в себя их произведения? — Может ли быть посредственна или нехороша повесть г. Загоскина? Ведь г. Загоскин — автор «Милославского» и «Рославлева», а в провинции никому не может прийти в голову, что эти романы, при всех своих достоинствах, теперь уже не то, чем были, или по крайней мере чем казались некогда. Может ли быть не превосходна повесть г. Ушакова, автора «Киргиз-Кайсака», «Кота Бурмосека», бывшего сотрудника «Московского телеграфа», сочинителя длинных, скучных и ругательных статей о театре? Провинция и подозревать не может, чтоб

знаменитый г. Ушаков теперь был уволен из знаменитых вчистую. Кто усумнится в достоинстве повестей гг. Панаева, Калашникова, Масальского? — Да, в этом смысле «Библиотека» — журнал провинциальный!

<...> Я не хочу нападать на явное отсутствие добросовестности и благонамеренности в критическом отделении «Библиотеки», не хочу указывать на беспрестанные противоречия, на какое-то хвастовство уменьем смеяться над всем, над приличием и истиною, обо всем этом много говорили другие, и мне почти ничего не оставили сказать. Скажу только, что недобросовестность критики «Библиотеки» заключается в какой-то непонятной и высшей причине, кроме обыкновенных и пошлых журнальных отношений. Г. Тютюнджи-оглу ненавидит всякой род истинной славы, гонит с ожесточением все, что ознаменовано талантом, и оказывает всевозможное покровительство посредственности и бездарности: гг. Булгарин и Греч у него писатели превосходные, таланты первостепенные, а г. Гоголь есть русский Поль-де-Кок³ и, конечно, нейдет ни в какое сравнение с этими гениями <...>

Но не одной недобросовестностью удивляет отделение «Критики» в «Библиотеке»: оно, сверх того, носит на себе отпечаток какой-то посредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастяжимости ума, которого не становится даже на несколько страниц. Но наш критик умеет этому помочь: на две строки своего сочинения он выписывает две, три, четыре страницы из разбираемой книги, и этим часто избавляет себя от больших затруднений. Да и в самом деле, что бы он стал писать, он, для которого не существует никаких теорий, никаких систем, никаких законов и условий изящного? <...>

Поспешу к «Московскому наблюдателю» <...> Благонамеренность и талант или умение, к несчастью, не одно и то же!..

Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер; альманачная безличность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть органом. У нас в России могут быть только два рода журналов — ученые и литературные; говоря, могут быть, я хочу сказать — могут приносить пользу. Журналы собственно ученые у нас не могут иметь слишком обширного круга действия; наше общество еще слишком молодо для них. Собственно литературные журналы составляют настоящую потребность нашей публики; журналы учено-литературные, искусно дирижируемые, могут приносить большую пользу. Теперь, какие мнения, какое учение должно господствовать в наших журналах, быть главным их элементом? Отвечаем, не задумываясь: литературные, до искусства, до изящного относящиеся. Да — это главное! Вы хотите издавать журнал, с тем чтобы делать пользу своему отечеству, так узнайте же прежде всего его главные, настоящие, текущие потребности. У нас еще мало читателей: в нашем отечестве, составляющем особенную, шестую часть света, состоящем из шестидесяти миллионов жителей, журнал, имеющий пять тысяч подписчиков, есть редкость неслыханная, диво дивное. Итак, старайтесь умножить читателей: это первая и священнейшая ваша обязанность. Не пренебрегайте для того никакими средствами, кроме предосудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом, пережевывайте им пищу, если они слишком слабы, узнайте их привычки, их

слабости и, соображаясь с ними, действуйте на них. В этом отношении нельзя не отдать справедливости «Библиотеке»: она наделала много читателей; жаль только, что она без нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей не видит никого уж ниже себя; крайности во всем дурны; умеете наклониться и заставьте думать, что вы наклоняетесь, хотя вы стоите и прямо. Потом, вторая ваша обязанность: развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного. Это чувство есть условие человеческого достоинства: только при нем возможен ум, только с ним ученый возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды; только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума — остается один пошлый «здравый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма. <...> Цивилизация тогда только имеет цену, когда помогает просвещению, а, следовательно, и добру — единственной цели бытия человека, жизни народов, существования человечества. Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до совершенства, народное богатство усилится; но будет ли у нас религиозное чувство, будет ли нравственность — вот вопрос! Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами; но будем ли людьми — вот вопрос!

Чувство изящного развивается в человеке самим изящным, следовательно, журнал должен представлять своим читателям образцы изящного; потом, чувство изящного развивается и образуется анализом и теорией изящного, следовательно, журнал должен представлять критику. Там, где есть уже охота к искусству, но где еще зыбки и шатки понятия об нем, там журнал есть руководитель общества. Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постоянным его отделением, длиною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею. И это тем важнее, что она для всех приманчива, всеми читается жадно, всеми почитается украшением и душой журнала. Первая ошибка «Наблюдателя»⁴ состоит в том, что он не сознавал важности критики, что он как бы изредка и неохотно принимается за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. Для публики здесь та польза, что, питая доверенность к журналу, она избавляется и от чтения и от покупки дурных книг, и в то же время, руководимая журналом, обращает внимание на хорошие; потом, разве по поводу плохого сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной мысли, разве к разбору вздорной книги нельзя привязать какого-нибудь важного суждения? Для журнала библиография есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину, и за то браните ее как угодно, а у ней всегда будет много читателей. <...>

Белинский В.Г. Полн. собр. соч., В 13 т.,

М., 1953. Т. 2. С. 16—48.

Николай Алексеевич Полевой⁵

(Отрывок)

<...> Полевому предстояла роль деятельная и блестящая, вполне сообразная с его натурою и способностями. Он был рожден на то, чтоб быть журналистом, и был им по призванию, а не по случаю. Чтоб оценить его журнальную деятельность и ее огромное влияние на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояние, в котором находилась тогда литература и особенно журналистика.

<...> «Вестник Европы», вышедший из-под редакции Карамзина, только под кратковременным заведованием Жуковского напоминал о своем прежнем достоинстве. Затем он становился все суше, скучнее и пустее, наконец сделался просто сборником статей, без направления, без мысли, и потерял совершенно свой журнальный характер. <...> В начале двадцатых годов «Вестник Европы» был идеалом мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплесневелости. О других журналах не стоит и говорить: иные из них были, сравнительно, лучше «Вестника Европы», но не как журналы с мнением и направлением, а только как сборники разных статей. «Сын отечества» даже принимал на свои, до крайности сырые и жесткие, листки стихотворения Пушкина, Баратынского и других поэтов новой тогда школы, даже открыто взял на себя обязанность защищать эту школу; но тем не менее сам он представлял собою смесь старого с новым и отсутствие всяких начал, всего, что похоже на определенное и ни в чем не противоречащее себе мнение...

Вообще должно заметить, что война за так называемый романтизм против так называемого классицизма была начата не Полевым. Романтическое брожение было общим между молодежью того времени. Острые и бойкие полемические статейки Марлинского против литературных староверов, печатавшиеся в «Сыне отечества», и его же так называемые обзоры русской словесности, печатавшиеся в известном тогда альманахе⁶; месячный сборник «Мнемозина» — все это выразило собою совершенно новое направление литературы, которого органом был «Телеграф», и все это несколькими годами упредило появление «Телеграфа». Следовательно, Полевой не был ни первым, ни единственным представителем нового направления русской литературы. Но это несколько не уменьшает заслуги Полевого: мы увидим, что он сумел на своем пути стать выше всех соперничеств и даже восторжествовать в борьбе против всех враждебных соревнований...

Романтизм — вот слово, которое было написано на знамени этого смелого, неутомимого и даровитого бойца, — слово, которое отстаивал он даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значение и когда уже не было против кого отстаивать его!..

Вопрос стоил споров, дело стоило битвы. Теперь на этом поле все тихо и мертво, забыты и побежденные и победители; но плоды победы остались, и литература навсегда освободилась от условных и стеснительных правил, связывавших вдохновение и стоявших непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первым поборником и пламенным бойцом является в этой битве Полевой как журналист, публицист, критик, литератор, беллетрист.

«Московский телеграф» был явлением необыкновенным во всех отношениях. Человек, почти вовсе неизвестный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала — и его журнал с первой же книжки изумляет всех

живостию, свежестию, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верною в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Такой журнал не мог бы не быть замеченным и в толпе хороших журналов, но среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени он был изумительным явлением. И с первой до последней книжки своей издавался он, в течение почти десяти лет, с тою постоянною заботливостью, с тем вниманием, с тем неослабеваемым стремлением к улучшению, которых источником может быть только призвание и страсть. Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать с энергиею и талантом, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвещения, образования, литературы. Эта мысль, теперь общее место даже для всякого невежды и глупца, тогда была новостью, которую почти все приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее в общество, сделать ходячею истиною. И это совершил Полевой!

<...> Он был литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. Он никогда не negliжировал изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него страшною способностью. Он постиг вполне значение журнала, как зеркала современности, и «современное» и «кстати» — были в руках его поистине два волшебные жезла, производившие чудеса. Пронесется ли слух о приезде Гумбольдта в Россию, он помещает статью о сочинениях Гумбольдта; умирает ли какая-нибудь европейская знаменитость, — в «Телеграфе» тотчас является ее биография, а если это ученый или поэт, то критическая оценка его произведений. Ни одна новость никогда не ускользала от деятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущею новостью, и каждая статья в ней была на своем месте, была кстати. Поэтому «Телеграф» совершенно был чужд недостатка, столь общего даже хорошим журналам: в нем никогда не было балласту, то есть таких статей, которых помещение не оправдывалось бы необходимостью... И потому, без всякого преувеличения, можно сказать положительно, что «Московский телеграф» был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики. <...>

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. В 13 т.

М., 1955. Т. 9. С. 682—684, 687, 693.

Взгляд на русскую литературу 1846 года⁷

Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о русской литературе 1846 года — значит говорить о современном состоянии русской литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись того, чем она была, чем должна быть. Но мы не вдадимся ни в какие исторические подробности, которые завлекли бы нас

⁷

далеко. Главная цель нашей статьи — познакомить заранее читателей *«Современника»* с его взглядом на русскую литературу, следовательно, с его духом и направлением

как журнала. Программы и объявления в этом отношении ничего не говорят: они только обещают. И потому программа *«Современника»*, по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обещаниями чисто внешними. Предлагаемая статья вместе с статьею самого редактора⁸, напечатанною во втором отделении этого же номера, будет второю, *внутреннею*, так сказать, программу *«Современника»*, в которой читатели могут сами, до известной степени, поверять обещания исполнением.

Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностию, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости. <...>

Карамзин окончательно освободил русскую литературу от ломоносовского влияния, но из этого не следует, чтобы он совершенно освободил ее от риторики и сделал национальною: он много *для этого сделал*, но *этого* не сделал, потому что до *этого* было еще далеко. Первым национальным поэтом русским был Пушкин*¹¹; с него начался новый период нашей литературы, еще больше противоположный карамзинскому, нежели этот последний ломоносовскому. Влияние Карамзина до сих пор ощутительно в нашей литературе, и полное освобождение от него будет великим шагом вперед со стороны русской литературы. Но это не только ни на волос уменьшает заслуг Карамзина, но, напротив, обнаруживает всю их великость. Вредное во влиянии писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не в свое время, необходимо, чтобы в свое время оно было новым, живым, прекрасным и великим.

В отношении к литературе, как и искусству, поэзии, творчеству, влияние Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставив никаких следов. В этом отношении литература наша ближе к той зрелости и возмужалости, речью о которых начали мы эту статью. Так называемую *натуральную школу* нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни. Мы отнюдь не хотим этим сказать, чтобы все новые писатели, которых в похвалу им или в осуждение) причисляют к *натуральной школе* были все гении или необыкновенные таланты; мы далеки от подобного детского оболыщения. За исключением Гоголя, который создал в России новое искусство, новую литературу и которого гениальность давно уже признана не нами одними и даже не в одной России только, — мы видим в *натуральной школе* довольно талантов, от весьма замечательных до весьма обыкновенных. Но не в талантах, не в их числе видим мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они *украшали природу, идеализировали действительность*, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества. Русская повесть в журнале предпочитается переводной, и мало того, чтобы повесть была написана русским автором, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Без русских повестей теперь не может иметь успеха ни один журнал. И это не

прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание: в ней выражается стремление русского общества к самопознанию, следовательно, пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякого таланта русского. Умея отдавать справедливость чужому, русское общество уже умеет ценить и свое, равно чуждаясь как хвастливости, так и уничижения. Но если оно более интересуется *хорошею* русскою повестью, нежели *превосходным* иностранным романом, — в этом виден огромный шаг вперед с его стороны. В одно и то же время уметь видеть превосходство чужого над своим и все-таки ближе принимать к сердцу свое, — тут нет ложного патриотизма, нет ограниченного пристрастия: тут только благородное и законное стремление сознать себя...

Натуральную школу обвиняют в стремлении все изображать с дурной стороны. Как водится, у одних это обвинение — умышенная клевета, у других — искренняя жалоба. Во всяком случае возможность подобного обвинения показывает только то, что натуральная школа, несмотря на ее огромные успехи, существует еще недавно, что к ней не успели еще привыкнуть и что у нас еще много людей карамзинского образования, которых риторика имеет свойство утешать, а истина — огорчать. Разумеется, нельзя, чтобы все обвинения против натуральной школы были положительно ложны, а она во всем была непогрешительно права. Но если бы ее преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностью, и в этом есть своя польза, свое добро; привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически.

Но вне мира собственно беллетристического влияние Карамзина до сих пор еще очень ощутительно. Это всего лучше доказывает так называемая партия *славянофильская*. Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой. Вот источник так называемого славянофильства, которое мы, впрочем, во многих отношениях считаем весьма важным явлением, доказывающим в свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всех занимают вопросы, если даже и важные сами по себе, то не имеющие никакого дельного приложения к жизни. Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если вы с ним вовсе не согласны. Славянофилов у нас много, и число их все увеличивается: факт, который тоже говорит в пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны — славянофилов и неславянофилов. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной котерии² чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на

борьбу с которою обрекла себя. Поэтому нет никакого интереса говорить с славянофилами о том, чего они хотят, да и сами они неохотно говорят и пишут об этом, хотя и не делают из этого никакой тайны. Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных мистических предчувствиях победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь. Но отрицательная сторона их учения гораздо более заслуживает внимания не в том, что она говорит против гниющего будто бы Запада (Запада славянофилы решительно не понимают, потому, что меряют его на восточный аршин), но в том, что они говорят против русского европеизма, а об этом они говорят много дельного, с чем нельзя не согласиться хотя наполовину, как, например, что в русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственного единства; что это лишает нас резко выразившегося национального характера, каким, к чести их, отличаются почти все европейские народы; что это делает нас какими-то междуумками, которые умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски; и что причина всего этого в реформе Петра Великого. Все это справедливо до известной степени. Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него. Этого славянофилы не делали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников. И вот где их истинная заслуга. Заснуть в самолюбивых мечтах, о чем бы они ни были — о нашей ли народной славе или о нашем европеизме, — равно бесплодно и вредно, ибо сон есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервет такой сон. В самом деле, никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем. Мы как-будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее и скорее хотим решить великий вопрос: «Быть или не быть?». Тут уже дело идет не о том, откуда пришли варяги — с Запада или с Юга, из-за Балтийского или из-за Черного моря, а о том, проходит ли через нашу историю какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходит, какая именно; какие наши отношения к нашему прошедшему, от которого мы как-будто оторваны, и к Западу, с которым мы как-будто связаны. И результатом этих хлопотливых и тревожных исследований начинает оказываться, что, во-первых, мы не так резко оторваны от нашего прошедшего, как думали, и не так тесно связаны с Западом, как воображали. Когда русский бывает за границею, его слушают, им интересуются не тогда, как он истинно европейски рассуждает о европейских вопросах, но когда он судит о них, как русский, хотя бы по этой причине суждения его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому он чувствует там необходимость придать себе характер своей национальности и, за неимением лучшего, становится славянофилом, хотя на время и притом неискренно, чтобы только чем-нибудь казаться в глазах иностранцев. С другой стороны, обращаясь к своему настоящему положению, смотря на него глазами сомнения и исследования, мы не можем не видеть, как во многих отношениях смешно и жалко успокоил нас наш европеизм насчет наших русских недостатков, забелив и зарумянив, но вовсе не изгладив их. И в этом отношении поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда решительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная кем и по тому самому с искренним желанием сделаться русскими. Что же все это

означает? Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междоумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою) ?..

Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформы и воротиться к предшествовавшим ей временам, — неужели это значит развиваться самобытно? Смешно было бы так думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весной следовать зиму, а за осенью — лето. Это значило бы признать явление Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года — эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными, каким-то тяжелым сном, который тотчас исчезает и уничтожается, как скоро проснувшийся человек открывает глаза. Но так думать сродно только господам Маниловым. Подобные события в жизни народа слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того чтоб думать о невозможности смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменяемую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями. Не об изменении того, что совершилось без нашего ведома и что смеется над нашею волею, должны мы думать, а об изменении самих себя на основании уже указанного нам пути высшею нас волею. Дело в том, что пора нам перестать *казаться* и начать *быть*, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешности принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое*, и на этом основании все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого. Европейских элементов так много вошло в русскую жизнь, в русские нравы, что нам вовсе не нужно беспрестанно обращаться к Европе, чтобы сознавать наши потребности: и на основании того, что уже усвоено нами от Европы, мы достаточно можем судить о том, что нам нужно.

Повторяем: славянофилы правы во многих отношениях; но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина странных выводов заключается в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листья безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россия так же молода, как и Северная Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошедшем, что в разгаре процесса часто особенно бросаются в глаза именно те явления, которые по окончании процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что

впоследствии должно явиться результатом процесса. В этом отношении Россию нечего сравнивать с старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет и плод. <...>

Прежде всего мы скажем, что решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто внешнею жизнью. В Европе есть одно такое искусственное государство, склеенное из многих национальностей, но кому же не известно, что его крепость и сила до поры и времени?.. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими... Так как русская литература есть главный предмет нашей статьи, то в настоящем случае будет очень естественно сослаться на ее свидетельство <...>

Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое; на «романтизм» прежде смотрели, как на альфу и омегу человеческой мудрости, и в нем одном искали решения всех вопросов; понятие о «народности» имело прежде исключительно литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы; но разница в том, что литература-то теперь сделалась эхом жизни. Как судят теперь об этих предметах — вопрос другой. По обыкновению, одни лучше, другие хуже, но почти все одинаково в том отношении, что в решении этих вопросов видят как будто собственное спасение. В особенности вопрос о «народности» сделался всеобщим вопросом и проявился в двух крайностях. Одни смешали с народностью старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародье, и не любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной избе, о редьке и квасе, даже о сивухе; другие, сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопочут выдумать свое и неясно, намеками указывают нам на *смирение*, как на выражение русской национальности. С первыми смешно спорить; но вторым можно заметить, что смирение есть, в известных случаях, весьма похвальная добродетель для человека всякой страны, для француза, как и для русского, для англичанина, как и для турка, но что она едва ли может одна составить то, что называется «народностью». Притом же этот взгляд, может быть, превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами. Удельный период наш отличается скорее гордынею и драчливостию, нежели смирением. Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание

правительственной системы того времени. Иоанн Калита был хитер, а не смирен, Симеон даже прозван был «гордым», а эти князья были первоначальниками силы Московского царства. Дмитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Федор составляет исключение из правила. И вообще, как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось впоследствии сперва Московским царством, а потом Российской империей, приосенив крыльями двуглавого орла как свое достояние Сибирь, Малороссию, Белороссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ... Конечно, в русской истории можно найти поразительные черты смирения, как и других добродетелей, со стороны правительственных и частных лиц; но в истории какого же народа нельзя найти их, и чем какой-нибудь Людовик XI уступает Феодору Иоанновичу?..

Толкуют еще о *любви* как о национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам, в ущерб галльским, тевтонским и иным западным. Эта мысль у некоторых обратилась в истинную мономанию, так что кто-то из этих «некоторых» решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отделались мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона. Не правда ли, что в этих словах высокий образец ума, зашедшего за разум, вследствие увлечения системой, теорией, несообразною с действительностью?.. Мы, напротив, думаем, что любовь есть свойство человеческой природы вообще и так же не может быть исключительною принадлежностью одного народа или племени, как и дыхание, зрение, голод, жажда, ум, слово... Ошибка тут в том, что относительное принято за безусловное. <...>

Естественно, что подобные крайности вызывают такие же противоположные им крайности. Одни бросились в фантастическую народность, другие — в фантастический космополитизм, во имя человечества. По мнению последних, национальность происходит от чисто внешних влияний, выражает собою все, что есть в народе неподвижного, грубого, ограниченного, неразумного, и диаметрально противоположается всему человеческому... Чувствуя же, что нельзя отрицать в народе и человеческого, противоположного, по их мнению, национальному, они разделяют неделимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая последнему качества, диаметрально противоположные качествам первого. Таким образом, беспрестанно нападая на какой-то *дуализм*, который они видят всюду, даже там, где его вовсе нет, они сами впадают в крайность самого отвлеченного дуализма. Великие люди, по их понятию, стоят вне своей национальности, и вся заслуга, все величие их в том и заключается, что они идут прямо против своей национальности, борются с нею и побеждают ее. Вот истинно русское и в этом отношении резко национальное мнение, которое не могло бы притти в голову европейцу! Это мнение вытекло прямо из ложного взгляда на реформу Петра Великого, который, по общему в России мнению, будто бы уничтожил русскую народность. Это мнение тех, которые народность видят в обычаях и предрассудках, не понимая, что в них действительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляют народности. Разделить народное и человеческое на два совершенно чуждые, даже враждебные одно другому начала — значит впасть в самый абстрактный, в самый книжный дуализм. <...>

Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но к счастью, я надеюсь оставаться на своем месте, не переходя ни к кому <...>

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. И — что всего лучше — эти вопросы решены там самую жизнью, или, если теория и имела участие в их решении, то при помощи действительности. Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим их мы сами собою и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те и требуют другого решения. — Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению, все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль дон-кихотов, горячась из них. Этим мы заслужили бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг себя, — вот где должны мы искать и вопросов и их решения. Это направление будет плодотворно, если и не будет блестяще. И начатки этого направления видим мы в современной русской литературе, а в них — близость ее зрелости и возмужалости. В этом отношении литература наша дошла до такого положения, что ее успехи в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости, она уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней, — а это великий успех с ее стороны.

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 7—33.

Письмо к Гоголю¹⁰

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе неправы, приписавши это Вашим, действительно, не совсем лестным, отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя молчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своей страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградой великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видели самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги Ваши — и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, городничие и т.п.) и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в Вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного далека*; а ведь известно, что ничего нет легче, как издали видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть, потому, что Вы в этом *прекрасном далеке* живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостой плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом сне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так

могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, — совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении.

А выражение: *Ах, ты, неумытое рыло!* Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления: быть *без вины виноватым*. И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или Вы больны — и Вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете? Взгляните себе под ноги, — ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь, — это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православную церковь? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста...

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле

Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихой холодной аскетической созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам, по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас), только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего *прекрасного далека*: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania*¹¹, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили.

«Но, может быть, — скажете мне, — положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений? — Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком¹² с братиею.. Конечно, в Вашей книге более ума и даже таланта (хотя и того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях, но зато они развили общее им с Вами учение с большей энергией и с большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если бы Вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее гибели. Чья же голова могла перевернуть мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержавшим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову¹³, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольствие своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т.д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя и еще больше как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эпюлет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкина, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о

пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению Вашей книги!...

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, — мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом только или гордости или слабоумия, — и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и самом себе — это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнию смерти, черта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек». Неужели Вы думаете, что сказать *всяк* вместо *всякий* — значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант. Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени, и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о себе как писатель, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя мою статью¹⁴ выражением досады за Ваш отзыв обо мне, как об одном из Ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне не хорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели в виду людей, если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главной мыслью Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех более) чистый донос¹⁵. Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это нехорошо! А что Вы ожидали только времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мной была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов.

Но нынешним летом начинающаяся чахотка погнала меня за границу <...>. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполнину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и

тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.

Зальцбрунн 15 июля 1847 г.

Белинский В. Г. Полн. собр. соч.

Т. 10. С. 212—220.

¹ «Ничто о ничем...». Впервые опубликовано в «Телескопе» (1836. № 1—4). Статья написана в форме отчета издателю «Телескопа» Н.И. Надеждину. В ней дается оценка ряда журналов и утверждается такое качество журнала, как единое направление.

² *Брамбеус, Тютюнджи-оглу* — псевдонимы О.И. Сенковского.

³ *Поль де Кок* (1793—1871) — французский писатель.

⁴ «Наблюдатель» — имеется в виду журнал «Московский наблюдатель».

⁵ «Николай Алексеевич Полевой». Впервые отпечатано отдельной брошюрой в 1846 г.

⁶ «в известном тогда альманахе» — речь идет о статьях Бестужева (Марлинского) в альманахе декабристов «Полярная звезда».

⁷ «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Впервые напечатана в «Современнике» (1847. № 1). Статья носила программный характер. В воспроизведенной первой части статьи содержатся важные для уяснения как литературных, так и общественных позиций автора рассуждения.

⁸ «Предлагаемая статья вместе с статьею самого редактора» — имеется в виду статья официального редактора «Современника» А.В. Никитенко «О современном направлении русской литературы», опубликованная в том же номере, что и статья Белинского.

¹¹ Нам могут заметить, ссылаясь на собственные наши слова, что не Пушкин, а Крылов; но ведь Крылов был только баснописец-поэт, тогда как трудно было бы таким же образом, одним словом, определить, какой поэт был Пушкин. Поэзия Крылова — поэзия здравого смысла, житейской мудрости, и для нее, скорее, чем для всякой другой поэзии, можно было бы найти готовое содержание в русской жизни. Притом же самые лучшие, следовательно, самые народные басни свои Крылов написал уже в эпоху

деятельности Пушкина, и, следовательно, нового движения, которое последний дал русской поэзии (примеч. В.Г. Белинского).

⁹ *Котерии* (фр.) — кружок, сплоченная группа.

¹⁰ «Письмо к Гоголю» впервые опубликовано в «Полярной звезде» Герцена (1855. № 1). До этого широко распространялось в рукописях. Письмо — единственное произведение Белинского, написанное без оглядки на цензуру.

¹¹ Религиозная мания (лат.).

¹² *Бурачек С.А.* — издатель реакционного журнала «Маяк».

¹³ *Уваров С.С.* — министр просвещения, идеолог теории «официальной народности».

¹⁴ «...Вы ошиблись, сочтя мою статью» — речь идет о рецензии Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя», опубликованной в «Современнике» в 1847 г. (№ 2).

¹⁵ «...а Вяземский напечатал чистый донос» — имеется в виду статья П.А. Вяземского «Языков — Гоголь» в газете «С.-Петербургские ведомости» (1847. № 90, 91).

А. И. Герцен

А.И. ГЕРЦЕН

(1812—1870)

Письма из Avenue Marigny

Письмо второе¹

Париж, 3 июня 1847 г.

<...> Нельзя понять парижских театров, не пустившись в глубокомысленные рассуждения а la Сизс о том, *ce que c'est le tiers etat?*² Вы идете сегодня в один театр — спектакль неудачный (т.е. неудачный выбор пьес, играют здесь везде хорошо); вы идете на другой день в другой театр — та же беда, то же в десятый день, двадцатый. Только изредка мелькнет изящный водевиль, милая шутка или старик Корнель со стариком

Расином величаво пройдут, опираясь на молодую Рашель и свидетельствуя в пользу своего времени. — Между тем театры полны, длинные «хвосты» тянутся с пяти часов у входа. Стало, парижане поглупели, потеряли вкус и образование; заключение основательное, приятное и которое, я уверен, многим очень понравится; остается узнать, так ли на самом деле; остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж — Париж, стоящий за *ценс*, или Париж, стоящий за *ценсом*³; это различие первой важности.

— Знаете ли, что всего более меня удивило в Париже? — «Ипподром? Гизо?» — Нет! — «Елисейские поля? Депутаты?» — Нет! Работники, швеи, даже слуги, — все эти люди толпы до такой степени в Париже избаловались, что не были бы ни на что похожи, если б действительно не походили на порядочных людей. Здесь трудно найти слугу, который бы веровал в свое призвание, слугу безответного и безвыходного, для которого высшая роскошь сон и высшая нравственность ваши капризы, — слугу, который бы «не рассуждал». Если вы желаете иметь слугу-иностранца, берите немца; немцы охотники служить; берите, пожалуй, англичанина: англичане привыкли к службе, давайте им денег и будете довольны; но француза не советую брать. Француз тоже любит деньги до лихорадочного судорожного стремления их приобрести; и он совершенно прав: без денег в Париже можно меньше жить, нежели где-нибудь, без денег вообще нет свободного человека, разве в Австралии. Пора бы перестать разглагольствовать о корыстолюбии бедных, пора простить, что голодным хочется есть, что бедняк работает из-за денег, из-за «презренного металла»... Вы не любите денег? Однако ж сознайтесь, немножко — деньги хорошая вещь; я их очень люблю. Дело совсем не в ненависти к деньгам, а в том, что порядочный человек не подчиняет всего им, что у него в груди не все продажное. Француз-слуга будет неутомим, станет работать за троих, но не продаст ни всех удовольствий своих, ни некоторого комфорта в жизни, ни права рассуждать, ни своего *point d'honneur*⁴ <...>

Француз-слуга, милый в своем отсутствии логики, хочет служить как человек (т.е. в прямом значении, у нас в слове «человек» заключается каламбур, но я говорю серьезно). Он не обманывает вас своею привязанностью, а с беззаботной откровенностью говорит, что он служит из денег и что, будь у него другие средства, он бы вас покинул завтра; у него до того душа суха и полна эгоизма, что он не может предаться с любовью незнакомому человеку франков за пятьдесят в месяц. Здешние слуги расторопны до невероятности и учтивы, как маркизы; эта самая учтивость может показаться оскорбительною, ее тон ставит вас на одну доску с ними; они вежливы, но не любят ни стоять навтыяжке, ни вскочить с испугом, когда вы идете мимо, а ведь это своего рода грубость. Иногда они бывают очень забавны; повар, нанимающийся у меня, смотрит за буфетом, подает кушанье, убирает комнаты, чистит платье, — стало, не ленив, как видите, но по вечерам, от 8 часов и до 10, читает журналы в ближнем *café*, и это *conditio sine qua non*⁵.

³ Ценз — цензура, цензура — цензура.

⁴ Point d'honneur — честь, достоинство.

⁵ Conditio sine qua non — условие, без которого невозможно.

Журналы составляют необходимость парижанина. Сколько раз я с улыбкой смотрел на оторопелый взгляд новоприезжего помещика, когда *garçon*⁶, подавши ему блюдо, торопливо хватал лист журнала и садился читать в той же зале.

Слуги, впрочем, еще не составляют типа парижского пролетария, их тип — это *ouvrier*, работник, в слуги идет бездарнейшая, худшая часть населения. Порядочный работник, если не имеет внешних форм слуги, то по развитию и выше и нравственнее <...>

Есть бедные, маленькие балы, куда по воскресеньям ходят за десять су работники, их жены, прачки, служанки; несколько фонарей освещают небольшую залу и садик; там танцуют под звуки двух-трех скрипок <...> На этих бедных балах все идет благопристойно; поношенные блузы, полинялые платья из холстинки почувствовали, что тут канкан не на месте, что он оскорбит бедность, отдаст ее на позор, отнимет последнее уважение, и они танцуют весело, но скромно, и правительство не поставило муниципала, в надежде на деликатность — учеников слесарей и сапожников!

В праздник на Елисейских Полях ребенок тянется увидеть комедию на открытом воздухе, но как же ему увидеть из-за толпы?.. Не беспокойтесь, какой-нибудь блузник посадит его себе на плечо; устанет — передаст другому, тот третьему, и малютка, переходя с рук на руки, преспокойно досмотрит удивительное представление взятия Константины с пальбой и пожаром, с каким-то алжирским деєм, которого тамбурмажор водит на веревке. — Дети играют на тротуаре, и сотни прохожих обойдут их, чтоб им не помешать. На днях мальчик лет девяти нес по улице Helder мешок разменной серебряной монеты; мешок прорвался, и деньги рассыпались; мальчик разревелся, но в одну минуту блузники составили около денег круг, другие бросились подбирать, подобрали, сосчитали (деньги были все налицо), завернули и отдали мальчику.

Это все Париж, за ценсом стоящий.

Но не таков *буржуа, проприетер, лавочник, рантье* и весь Париж, за ценс стоящий <...>

Буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лиц хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом — в лице Фигаро; а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных. Во время Бомарше Фигаро был *вне закона*, в наше время Фигаро — *законодатель*; тогда он был беден, унижен, стягивал понемногу с барского стола и оттого сочувствовал голоду и в смехе его скрывалось много злобы; теперь его бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством. У обоих Фигаро общее — собственно одно лакейство, но из-под ливреи Фигаро старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя снять без его кожи <...>

Буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противоположность, как отстаивание

себя. Ее сил стало на борьбу и на победу; но сладить с победою она не могла: не так воспитана. Дворянство имело свою общественную религию; правилами политической экономии нельзя заменить догматы патриотизма, предания мужества, святыню чести; есть, правда, религия, противоположная феодализму, но буржуа поставлен между двумя религиями.

Наследник блестящего дворянства и грубого плебеизма, буржуа соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их. Он богат, как вельможа, но скуп, как лавочник <...>

Но осторожных правил своих Фигаро не оставил: его начали обижать — он подбил чернь вступиться за себя и ждал за углом, чем все это кончится; чернь победила и Фигаро выгнал ее в три шеи с площади и поставил Национальную гвардию с полицией у всех дверей, чтоб не впускать сволочь. Добыча досталась ему — и Фигаро стал аристократом — граф Фигаро-Альмавива, канцлер Фигаро, герцог Фигаро, пэр Фигаро. А религии общественной все нет: она была, если хотите, у их прадедов, у непреклонных и настойчивых горожан и легистов⁷, но она потухла, когда миновала в ней историческая необходимость. Буржуа это знает очень хорошо; чтоб помочь горю, они выдумали себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку <...>

Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.

М., 1954. Т. 5. С. 29-35.

Вольное русское книгопечатание в Лондоне⁸

Братьям на Руси

Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать?

Или неужели мы молчим оттого, что мы не смеем говорить? Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло.

Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.

Открытая, вольная речь — великое дело; без вольной речи — нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое. «Молчание — знак согласия», — оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность.

Открытое слово — торжественное признание, переход в действие. Время печатать по-русски, кажется нам, пришло. Ошибаемся мы или нет — это покажете вы.

Охота говорить с чужими проходит. Мы им рассказали как могли о Руси и мире славянском; что можно было сделать — сделано. Но для кого печатать по-русски за границу, как могут расходиться в России запрещенные книги?

Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда долго не придут еще для России светлые дни.

Ничего не делается само собою, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика <...>

Присылайте, что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фактических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений. Мы готовы даже печатать безденежно.

Если у вас нет ничего готового, своего, пришлите ходящие по рукам запрещенные стихотворения Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Печерина и др.

Приглашение наше столько же относится к панславистам, как ко всем свободномыслящим русским. От них мы имеем еще больше права ждать, потому что они исключительно занимаются Русью и славянскими народами.

Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет — это останется на вашей совести.

Если мы не получим ничего из России — это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи — молчите.

Но я не верю этому — до сих пор никто ничего не печатал по-русски за границею, потому что не было свободной типографии. С первого мая 1853 типография будет открыта. Пока, в ожидании, в надежде получить от вас что-нибудь, я буду печатать свои рукописи.

Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг; но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия. К тому же я был увлечен; много времени, сердца, жизни и средств принес я на жертву западному делу. Теперь я себя в нем чувствую лишним.

Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью — вся моя цель.

Не столько нового, своего хочу я вам рассказывать, сколько воспользоваться моим положением для того, чтоб вашим невысказанным мыслям, вашим затаенным стремлениям дать гласность, передать их братьям и друзьям, потерянным в немой дали русского царства. <...>

Лондон, 21 февраля 1853.

Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.

М., 1954. Т. 12. С. 6-64.

Крещеная собственность²

С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...

В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Соренто, ни Римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелющейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое, незащищенное и кротко грустное. Что-то такое, что поется в русской песне, кровно отзывается в русском сердце.

И какой славный народ живет в этих селах! <...>

Деревенские мещане-собственники составляют на Западе слой народонаселения, который тяжело налег на сельский пролетарий и душит его, по мелочи и на чистом воздухе, так, как фабриканты душат работников гуртом в чаду и смраде своих рабочих домов.

Сословие сельских собственников почти везде отличается изуверством, несообщительностью и скупостью; оно сидит назаперти в своих каменных избах, далеко разбросанных и окруженных полями, отгороженными от соседей. Поля эти имеют вид заплат, положенных на земле. На них работает батрак, бобыль, словом, сельский пролетарий, составляющий огромное большинство всего полевого населения.

Мы, совсем напротив, государство сельское, наши города — большие деревни, тот же народ живет в селах и городах; разница между мещанами и крестьянами выдумана петербургскими немцами. У нас нет потомства победителей, завоевавших нас, — ни раздробления полей в частую собственность, ни сельского пролетариата; крестьянин наш не дичает в одиночестве — он вечно на миру и с миром, коммунизм его общинного устройства, его деревенское самоуправление делают его сообщительным и развязным.

При всем том половина нашего сельского населения гораздо несчастнее западного, мы встречаем в деревнях людей сумрачных, печальных, людей, которые тяжело и невесело пьют зеленое вино, у которых подавлен разгульный славянский нрав, — на их сердце лежит, очевидно, тяжкое горе. Это горе, это несчастье — крепостное состояние. <...>

Зачем наш народ попал в крепость, как он сделался рабом? Это не легко растолковать.

Все было до того нелепо, безумно, что за границей, особенно в Англии, никто не понимает.

Как, в самом деле, уверить людей, что половина огромного народонаселения, сильного мышцами и умом, была отдана правительством в рабство без войны, без

переворота, рядом полицейских мер, рядом тайных соглашений, никогда не высказанных прямо и не оглашенных как закон.

А ведь дело было так, и не бог знает когда, а два века тому назад. Крестьянин был обманут, взят врасплох, загнан правительственным кнутом в капканы, приготовленные помещиками, загнан мало-помалу, по частям, в сети, расставленные приказными; прежде нежели он хорошенько понял и пришел в себя — он был крепостным. <...>

Торг людьми идет не хуже, как в Кубе или в Малой Азии. Правда, стыдливое и целомудренное правительство запретило объявлять о продаже людей. В газетах скромно и бессмысленно печатают: «Отпускается в услужение кучер, лет 35, здорового сложения, с обкладистой бородой и честного поведения, или девка лет 18, прекрасного поведения и годная на всякую службу».

Это лицемерие, этот полустыд, эта неловкая ложь пойманного на деле вора — в устах самодержавия имеет в себе что-то безгранично подлое.

Самое существование несчастного сословия дворовых людей — незаконное, ничем не определенное и зависящее вполне от помещика. Сколько крестьян может взять помещик во двор из деревни, сколько рук отнять у семей? Он может взять жену у мужа и сделать ее прачкой у себя в доме, он может взять последнего сына у старика отца и сделать из него лакея; пока помещик не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека, он прав перед законом и ограничен только одним — топором мужика. Им, вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти <...>

Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасет народ русский; уничтожая ее, вы отдадите его, связанного по рукам и ногам, помещику и полиции. И коснуться до нее, в то время когда Европа оплакивает свое раздробление полей и всеми силами стремится к какому-нибудь общинному устройству!

Говорят, что община поглощает личность и что она несовместна с ее развитием. В этом мнении есть доля правды. Всякий неразвитой коммунизм подавляет отдельное лицо. Но не надобно забывать, что русская жизнь находила сама в себе средства отчасти восполнять этот недостаток. Сельская жизнь образовала рядом с неподвижной, мирной, хлебопашенной деревней подвижную общину работников — артель и военную общину казаков <...>

Само собою разумеется, что ни в коммунизме деревень, ни в казацких республиках мы не могли бы найти удовлетворения нашим стремлениям. Все это было слишком дико, молодо, неразвито, но из этого не следует, что нам должно ломать эти незрелые начинания, — напротив, их надобно продолжать, развивать, образовывать. Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину, в то время как германские народы ее утратили, но это большое счастье, и его не надобно выпускать из рук. <...>

Народ русский ничего не приобрел <...> он сохранил только свою незаметную, скромную общину, т.е. владение сообща землею, равенство всех без исключения членов общины, братский раздел полей по числу работников и собственное мирское управление

своими делами. Вот и все приданое Сандрильоны¹⁰, — зачем же отнимать последнее? <...>

Герцен А.И. Собр. соч. Т. 12. С. 97—112.

Объявление о «Полярной звезде»¹¹

Да здравствует разум!

А. Пушкин

Полярная звезда скрылась¹² за тучами николаевского царствования.

Николай *прошел*, и «Полярная звезда» является снова, в день нашей Великой Пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями.

Русское периодическое издание, выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство.

Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые вопросы возникнут — неужели и они должны затеряться, заглухнуть? — Мы не думаем. Казенная Россия имеет язык и находит защитников даже в Лондоне. А юная Россия, Россия будущего и надежд не имеет ни одного органа.

Мы предлагаем его ей.

С 18 февраля (2 марта) Россия вступает в новый отдел своего развития. Смерть Николая больше, нежели смерть человека, смерть начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела. При его жизни они могли кой-как держаться, упроченные привычкой, опертые на железную волю.

После его смерти — нельзя продолжать его царствования <...>

План наш чрезвычайно прост. Мы желали бы иметь в каждой части одну общую статью (философия революции, социализм), одну историческую или статистическую статью о России или о мире славянском; разбор какого-нибудь замечательного сочинения и одну оригинальную литературную статью; далее идет смесь, письма, хроника и пр.

«Полярная звезда» должна быть — и это одно из самых горячих желаний наших — убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею. Мы в третий раз обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и др., ходящие по рукам, известные всем <...>

Рукописи погибнут наконец — их надобно закрепить печатью <...> 25 марта (6 апреля) 1855.

Герцен А.И. Собр. соч. Т. 12. С. 265—271.

Предисловие к «Колоколу»¹³

«Полярная звезда» выходит слишком редко, мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для этого мы предпринимаем новое повременное издание. Не определяя сроков выхода, мы постараемся ежемесячно издавать *один лист*, иногда *два*, под заглавием «Колокол».

О направлении говорить нечего; оно то же, которое в «Полярной звезде», то же, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда быть со стороны воли против насилия, со стороны разума против предрассудков, со стороны науки против изуверства, со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши.

В отношении к России мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования, чтоб с нее спали, наконец, ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году^{*12}, считаем первым необходимым, неотлагаемым шагом:

Освобождение слова от цензуры!

Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного сословия — от побоев.

Не ограничиваясь, впрочем, этими вопросами, «Колокол», посвященный исключительно русским интересам, будет *звонить*, чем бы ни был затронут, — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное — все идет под «Колокол».

А потому обращаемся ко всем соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим их не только слушать наш «Колокол», но и самим звонить в него!

Появление нового русского органа, служащего дополнением к «Полярной звезде», не есть дело случайное и зависящее от одного личного произвола, а ответ на потребность; мы *должны* его издавать.

Для того чтобы объяснить это, я напомним короткую историю нашего типографского станка.

Русская типография, основанная в 1853 году в Лондоне, была запросом. Открывая ее, я обратился к нашим соотечественникам с призывом, из которого повторяю следующие строки^{*13} <...>

^{*12}

^{*13}

Ожидая, что будет, я принялся печатать свои сочинения и летучие листы, писанные другими. Ответа не было, или хуже — до меня доходили одни порицания, один лепет страха, осторожно шептавший мне, что печатание за границей опасно, что оно может компрометировать и наделать бездну вреда; многие из близких людей делили это мнение. Меня это испугало.

Пришла война. И в то время, когда Европа обратила жадное внимание на все русское и раскупала целые издания моих французских брошюр и перевод моих «Записок» на английском и немецком языках быстро расходился, — русских книг не было продано и *десяти* экземпляров. Они горами валялись в типографии или рассылались нами на наш счет, и притом даром.

Пропаганда тогда только начинает быть действительной силой, когда она окупается; без этого она натянута, неестественна и может разве только служить делу партии, но чаще вызывает наскоро выращенное сочувствие, которое бледнеет и вянет, как скоро слова перестают звучать.

Меньшинство осуществляет часть своего идеала только тогда, когда, по-видимому выделяясь из большинства, оно, в сущности, выражает его же мысль, его стремления, его страдания. Большинство бывает вообще неразвито, тяжело на подъем; чувствуя тягость современного состояния, оно ничего не делает, чтобы освободиться от него; тревожась вопросами, оно может остаться, не разрешая их. Появляются люди, которые из этих страданий, стремлений делают свой жизненный вопрос; они действуют словом как пропагандисты делом, как революционеры — но в обоих случаях настоящая почва тех и других — большинство и степень их сочувствия к нему.

Все попытки издавать журналы в лондонской эмиграции с 1849 года не удались, они поддерживались приношениями, не окупались и лопались; это было явное доказательство, что эмиграции не выражали больше мысли своего народа. Они остановились и вспоминали, народы шли в другую сторону. И в то самое время, как угасал последний французский листок демократической партии в Лондоне, четыре издания прудоновской книги «Manuel du speculateur a la bourse»¹⁴ были расхвачаны в Париже.

Конечно, строгость и свирепые меры очень затрудняли ввоз запрещенных книг в Россию. Но разве простая контрабанда не шла своим чередом вопреки всем мерам? Разве строгость Николая остановила воровство чиновников? На взятки, на обкрадывание солдат, на контрабанду — была отвага; на распространение свободного слова — нет; стало быть, нет еще на него и истинной потребности. Я с ужасом сознавался в этом. Но внутри была *живая вера*, которая заставляла надеяться вопреки собственных доводов; я, выжидая, продолжал свой труд.

Вдруг телеграфическая депеша о смерти Николая.

Теперь или никогда!

Под влиянием великой, благодатной вести я написал программу «Полярной звезды». В ней я говорил^{*14}<...>

В день казни наших мучеников — через 29 лет — вышла в Лондоне первая «Полярная звезда». С бьющимся сердцем ожидал я последствий.

Вера моя начала оправдываться.

Я стал вскоре получать письма, исполненные симпатии — юной, горячей, тетради стихов и разных статей. Началась продажа, сначала туго и медленно возрастая, потом, с выхода *второй книжки* (в апреле 1856 г.), количество требований увеличилось до того, что иных изданий уже совсем нет, другие изданы во второй раз, третьих остается по нескольку экземпляров. От выхода второй книжки «Полярной звезды» и до начала «Колокола» все *расходы по типографии* покрыты продажей русских книг.

Сильнее доказательства на действительную потребность свободного слова в России быть не может, особенно вспомнив таможенные препятствия.

Итак, труд наш не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово раздается в России, будит одних, страшает других, грозит гласностью третьим.

Свободное русское слово наше раздается в Зимнем дворце — напоминая, что сдавленный пар взрывает машину, если не умеют его направить.

Оно раздается среди юного поколения, которому мы передаем наш труд. Пусть оно, более счастливое, нежели мы, увидит на *деле* то, о чем мы только говорили. Не завидуя смотрим мы на свежую рать, идущую обновить нас, а дружески ее приветствуем.

Ей радостные праздники освобождения, нам благовест, которым *мы зовем живых* на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России!

Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.

М., 1954. Т.13. С. 7—12.

Под спудом¹⁵

Мы получили за прошлый месяц ворох писем: сердце обливается кровью и кипит бессильным негодованием, читая, что у нас делается *под спудом*.

Прежде нежели мы начнем страшный перечень злодеяний, мы еще раз умоляем всех особ, пишущих к нам, проникнуться — ради нашего дела, ради смысла и значения, которое мы хотим ему приобрести, — что всякий факт неверный, взятый по слухам, искаженный, может сделать нам ужасный вред, лишая нас доверия и позволяя преступникам прятаться за ошибочно обвиненных.

Одна горячая любовь к России, одно глубокое убеждение, что наш обличительный голос полезен, заставляет нас касаться страшных ран нашего жалкого общественного

быта и их гноя. Мы крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиками, — да будет же крик этот исторгнут одной истинной болью!

Отсутствие николаевского гнета как будто расшевелило все гадкое, все отвратительное, все воруящее и в зубы бьющее — под сенью императорской порфиры. Точно как по ночам поднимается скрытая вонь в больших городах во время оттепели или перед грозой.

Для нас «так это ясно, как простая гамма»: или *гласность* — или все начинания не приведут ни к чему. И не иносказательная гласность повести, намеков, а обличительные акты с именами, с разбором дел и действий лиц и правительственных мест.

Искренно, от души жалеем мы Александра II, его положение действительно трагическое, не рассеять ему туман, скрывающий от него страшное состояние России, он устанет от борьбы, оттого, что борьба всего труднее в безгласную ночь, да еще не с врагами, а с толпой клеветов и мошенников.

Зачем он не знает старой русской пословицы: «Не вели казнить, вели правду говорить»? Это единственное средство *правду узнать!*

Вести, полученные нами, до того страшны, до того гадки — и лучшие из них до того глупы, что мы теряемся, с чего начать. Их все можно разделить на две части: *часть сумасшедшего дома и часть смиренного дома*. Во всех действуют безумные и воры, в разных сочетаниях и переложениях, иногда воры и безумные вместе, иногда безумные, но не воры (нет, это мы обмолвились: все воры), — воры смиренные, воры бешеные, воры цепные, а потом духовные, военные, городские, полевые, садовые воришки; — все это восходит, поднимается от станowych приставов, заседателей, квартальных до губернаторов, полковников, от них до генерал-адъютантов, до действительных тайных советников (2-го класса и 1-го класса) и оканчивается художественно, мягко, роскошно, женственно в Мине Ивановне, этой Сюаса Махима¹⁶ современных гадостей, обложенной бриллиантами, золотой и серебряной работой (Сазикова¹⁷), с народным калачом и православной просвирой*¹⁵ в руке, на которой потомок старинной русской фамилии велел вырезать: «Благословенна ты в женах!» — Хорош архангел, да и пречистая дева не дурна! <...>

Герцен А. И. Собр. соч. Т. 13. С. 80—81.

<Сечь или не сечь мужика ?>¹⁸

*Сечь или не сечь мужика ? That is the question*¹⁹. — Разумеется, сечь, и очень больно. Как же можно без розог уверить человека, что он шесть дней в неделю должен работать на барина, а только *остальные* на себя. Как же его уверить, что он должен, когда вздумается барину, тащиться в город с сеном и дровами, а иногда отдавать сына в переднюю, дочь в спальную?.. Сомнение в праве сечь есть само по себе посягательство

на дворянские права, на неприкосновенность собственности, признанной законом. И, в сущности, отчего же не сечь мужика, если это позволено, если мужик терпит, церковь благословляет, а правительство держит мужика за ворот и само подстегивает?

Неужели в самом деле у нас есть райские души, которые думают, что целая каста людей, делящая с палачом право телесных наказаний и имеющая над ним то преимущество, что она сечет по собственному желанию, из собственного прибытка и притом знакомых, а не чужих, — что такая каста — из видов гуманности и благодости сердечной — бросит розги? Полноте дурачиться <...>

Кто не знает у нас историю... о том, как флигель-адъютант (Эльстон-Сумароков) был отправлен в Нижегородскую губернию на следствие о возмутившихся крестьянах. Дело само по себе замечательно. Крестьяне одного помещика (помнится, Рахманова) предложили за себя взнос, помещик взял деньги, т.е. украл их, а мужиков продал другому, вместо того чтоб отпустить на волю.

Крестьяне, разумеется, отказались повиноваться новому помещику. Трудное ли дело разобрать? Но у нас суд нипочем, надобно комиссии, флигель-адъютанты, аксельбанты, команда, розги. С розгами и послали Эльстон-Сумарокова. Мужики бросились на колени (бунт на коленах!). Он спросил их: «Чьи вы?». Крестьяне сказали имя прежнего помещика, Сумароков же назвал имя нового помещика (кажется, Пашкова или наоборот) и после этого приказал без всякого разбора сечь мужиков. Крестьяне не покорились. Тогда флигель-адъютант до того расхотелся, что дал предписание губернскому правлению одну часть на коленах бунтующих мужиков сослать в Сибирь на поселение, другую в арестанские роты, а третью да саро²⁰ высечь. Губернское правление и радо бы исполнить, но не смело взять на себя такое явное нарушение положительного закона и отнеслось в сенат. За такое понятие о справедливости, за такое знание законов Эльстон-Сумароков сделан вице-директором одного из департаментов военного министерства.

А вы рассуждаете о том, сечь или не сечь мужиков? Секите, братцы, секите с миром! А устанете, царь пришлет флигель-адъютанта на помощь!!!

Герцен А.И. Собр. соч. Т. 13. С. 105—106.

Нас упрекают²¹

Нас упрекают либеральные консерваторы в том, что мы слишком нападаем на правительство, выражаемся резко, бранимся крупно.

Нас упрекают свирепо красные демократы в том, что мы мирволим Александру II, хвалим его, когда он делает что-нибудь хорошее, и верим, что он хочет освобождения крестьян.

Нас упрекают славянофилы в западном направлении.

Нас упрекают западники в славянофильстве.

Нас упрекают прямолинейные доктринеры в легкомыслии и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холод, а летом совсем напротив — на жар.

На сей раз только несколько слов в ответ последнему упреку.

Он вызван двумя или тремя признаниями, что мы *ошиблись*, что мы были *увлечены*; не станем оправдываться тем, что мы ошибались и увлекались со всей Россией, мы не отклоняем ответственности, которую добровольно взяли на себя. Мы должны быть последовательны, *единство* — необходимое условие всякой пропаганды, с нас вправе его требовать. Но, принимая долю вины на себя, мы хотим ее разделить с другими виновниками.

Идти по одной линии легко, когда имеешь дело с спетым порядком дел, с последовательным образом действия, — что трудного взять резкое положение относительно английского правительства или французского императорства? Трудно ли было быть последовательным во время прошлого царствования?

Но мы этого *единства* не находим в действиях Александра II; он то является освободителем крестьян, реформатором, то заступает за николаевскую постройку и грозит растоптать едва восходящие ростки <...>

Как согласить облегчение цензурных пут и запрещение писать об освобождении крестьян с землею?

Как согласить амнистии, желания публичности с проектом Ростовцева, с силой Панина?²²

Фридрих II говорил, что он не боялся ни одного генерала так, как Салтыкова²³, потому что никогда не мог догадаться за минуту вперед, какое движение он сделает; Салтыков все их делал зря.

Шаткость в правительстве отразилась в наших статьях. Мы, следуя за ним, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. В этом была своего рода связь между нами и нашими читателями. Мы не вели, а шли вместе; мы не учили, а служили отголоском дум и мыслей, умалчиваемых дома. Ринутые в современное движение России, мы носимся с ним по переменному ветру, дующему с Невы.

Конечно, тот, кто останавливая надежду и страх, молча выждет результата, тот не ошибется. Надгробное слово — истории — гораздо больше предохранено от промахов, нежели всякое участие в совершающихся событиях.

Доктринеры на французский манер и гелертеры на немецкий, люди, производящие следствия, составляющие описи, приводящие в порядок, твердые в положительной религии или религиозные в положительной науке, люди обдуманые, точные до старости лет, не сбиваясь с дороги и не сделав ни орфографических, ни иных ошибок; а люди, брошенные в борьбу, исходят страстной верой и страстным сомнением, истощаются гневом и негодованием, перегорают быстро, падают в крайность, увлекаются и мрут на полдороге — много раз споткнувшись.

Не имея ни исключительной системы, ни духа партии — все отталкивающего, — мы имеем незыблемые основы, страстные сочувствия, проводившие нас — от ребячества до седых волос, в них у нас нет *легкомыслия*, нет *колебания*, нет *уступок*. Остальное нам кажется второстепенным; средства осуществления бесконечно различны, которое изберется... в этом поэтический каприз истории, — мешать ему неучтиво.

Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение «сверху или снизу» — мы будем за него! Освободят ли их крестьянские комитеты²⁴, составленные из заклятых врагов освобождения — мы благословим их искренно и от души. Освободят ли крестьяне себя от комитетов во-первых, а потом от всех избирателей в комитеты — мы первые поздравим их братски и также от души. Прикажет ли, наконец, государь отобрать именья у крамольной аристократии, а ее выслать, — ну хоть куда-нибудь на Амур к Муравьеву²⁵, — мы столько же от души скажем: «Быть по сему».

Из этого вовсе не следует, что мы рекомендуем эти средства, что нет других, что это лучшие, совсем нет, — наши читатели знают, как мы думаем об этом.

Но так как главное дело, чтоб крестьяне были освобождены с землею, то из-за средств спора мы не поднимем.

При таком отсутствии обязательной доктрины, предоставляя, так сказать, самой природе действовать и сочувствуя каждому шагу, согласно с нашим воззрением, мы можем часто ошибаться, всегда будем очень рады, когда «ученые друзья наши», спокойно сидящие в сторожках на берегу, прокричат нам «правее или левее» держаться; но мы желали бы, чтоб и они не забывали, что им легче делать наблюдения над силой волн и слабостью пловцов, нежели нам плыть... и притом так далеко от берега.

Из-за стен доктрины, как из-за монастырских стен, сполугоря смотреть на треволение мирское. Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... *не увлекают других*.

Герцен А.М. Собр. соч. Т. 13. С. 361—363.

Very dangerous!!!²⁶

В последнее время в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие направительного и назидательного цензурного триумвирата²⁷.

Чистым литераторам, людям звуков и форм, надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало «Обломовых» и антологических стихотворений. <...>

Но вот шаг дальше.

Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждующими, катаются со смеху над *обличительной* литературой, над неудачными опытами *гласности*. И это не то чтоб случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освящывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголове, так она недавно сидела в остроге.

Когда товарищи Поэрио²⁸, встреченные тысячами и тысячами англичан при въезде в Лондон, не знали, что им сказать, и наконец просили простить их нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще от человеческой речи в десятилетних окопах, народ не хохотал им в ответ и «Пунш»²⁹, смеющийся надо всем на свете, над королевой и парламентом, не сделал карикатуры <...>

Без сомнения, смех одно из самых мощных орудий разрушения; смех Вольтера бил и жег, как молния. От смеха падают идолы, падают венки и оклады и чудотворная икона делается почернелой и дурно нарисованной картиной. С этой революционной, нивелирующей силой смех страшно популярен и прилипчив; начавшись в скромном кабинете, он идет расширяющимися кругами до пределов грамотности. Употреблять такое орудие не против нелепой цензурной троицы, в которой Тимашев представляет Святой слух, а ее трезубцем, значит участвовать с ней в отравлении мысли.

Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь. Они еще больше молчали об этом!

Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лет болтовню о всех петербургских камелиях и аспазиях, которые, во-первых, во всем мире похожи друг на друга, как родные сестры, а во-вторых, имеют то общее свойство с котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить об них совершенно нечего.

«Да зачем же обличительные литераторы дурно рассказывают, зачем их повести похожи на дело?» — Это может относиться к лицам, а не к направлению. Тот, кто дурно и скучно передает слезы крестьянина, неистовство помещика и воровство полиции, тот, будьте уверены, еще хуже расскажет, как златокудрая дева, зачерпнув воды в бассейне, облилась, а черноокий юноша, видя быстротекущую влагу, жалел, что она не течет по его сердцу.

В «обличительной литературе» были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь гулом бросить с «Обломовым» на шею в воду? Слишком роскошничаете, господа!

<...> Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего, потерянного человека только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах. Наши литературные фланкеры последнего набора шпыняют теперь над этими слабыми мечтателями, сломавшимися без

боя, над этими праздными людьми, не умеющими найтись в той среде, в которой жили. Жаль, что они не договаривают, — я сам думаю, если б Онегин и Печорин могли, как многие, приладиться к николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию, а сам управлял бы, как Клейнмихель, путями сообщения и мешал бы строить железные дороги.

Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет *лишних* людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свищ или лентяй, И оттого очень естественно Онегины и Печорины делаются Обломовыми.

Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуяло в них *свои страдания*, отвернется от Обломовых.

Это сущий вздор, что у нас нет общественного мнения, как говорил недавно один ученый публицист, *доказывая, что у нас гласность не нужна*, потому что нет общественного мнения, а общественного мнения нет потому, что нет *буржуазии!*

У нас общественное мнение показало и свой такт, и свои симпатии, и свою неумолимую строгость даже во времена общественного молчания. Откуда этот шум о чаадаевском письме, отчего этот фурор от «Ревизора» и «Мертвых душ», от рассказов Охотника, от статей Белинского, от лекций Грановского? И, с другой стороны, как оно зло опрокидывалось на свои идолы за гражданские измены или шаткости. Гоголь умер от его приговора; сам Пушкин испытал, что значить взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамбы бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического нёба!

Пример Сенковского еще поразительнее. Что он взял со всем своим остроумием, семитическими языками, семью литературами, бойкой памятью, резким изложением?.. Сначала — ракеты, искры, треск, бенгальский огонь, свистки, шум, веселый тон, развязный смех привлекли всех к его журналу, — посмотрели, посмотрели, поохотали и разошлись мало-помалу по домам. Сенковский был забыт, как бывает забыт на фоминой неделе какой-нибудь покрытый блестками акробат, занимавший на святой от мала до велика весь город, в балагане которого не было места, у дверей которого была давка...

Чего ему недоставало? А вот того, что было в таком избытке у Белинского, у Грановского, — того вечно тревожащего демона любви и негодования, которого видно в слезах и смехе. Ему недостаточно такого убеждения, которое было бы *делом* его жизни, *картой*, на которой все поставлено, страстью, болью. В словах, идущих от такого убеждения, остается доля магнетического демонизма, под которым работал говорящий, оттого речи его беспокоят, тревожат, будят... становятся силой, мощью и двигают иногда целыми поколениями.

Но мы далеки от того, чтоб и Сенковского осуждать безусловно, он оправдывается той свинцовой эпохой, в которой он жил.

<...> Что же похожего на то время, когда балагурничал Сенковский под именем Брамбеуса, с нашим временем? Тогда *нельзя* было ничего делать; имей себе гений Пестеля и ум Муравьева — веревки, на которых Николай вешал, были крепче. Возможность мучеников, как Конарский, как Волович, была, и только. Теперь все, везде

зовет живого человека, все в почине, в возникновении, и, если ничего не сделается, в этом никто не виноват — ни Александр II, ни его цензурный терцет, ни квартальный вашего квартала, ни другие сильные мира сего, — виной будет ваша слабость, пеняйте на себя, на ложное направление и имейте самоотвержение сознать себя выморочным поколением, переходным, тем самым, которое воспел Лермонтов с такой страшной истиной!..

Вот потому-то в такое время пустое балагурство скучно, неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда привешивает свои ослиные бубенчики не к той тройке из царских конюшен, которая называется *Адлерберг*, *Тимашев* и *Муханов*, а к той, которая, в поту и выбиваясь из сил, вытаскивает — может, иной раз оступаясь — нашу телегу из грязи!

Не лучше ли в сто раз, господа, вместо освистываний, неловких опытов, вывести на торную дорогу — самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью?

Мало ли на что вам есть точить желчь — от цензурной тройцы до покровительства кабаков, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех: на обличительную литературу, милые паяцы забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*

Может, они об этом и не думали — пусть подумают теперь!

Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.

М., 1958. Т. 14. С. 116—121.

От редакции³⁰

Предисловие к Письму из провинции

М.г.

Я долго сомневался, печатать ваше письмо или нет... и наконец решился, но считаю необходимым *сперва* сказать несколько слов об этом.

Вы говорите, что я уже печатал письмо моих врагов, отчего же не напечатать письма одного из друзей «не совершенно согласное с моим мнением», как прибавляет приложенная к вашему письму записка.

Мне не раз случалось поместить враждебную статью, но это не достаточная причина, чтоб помещать дружеские письма, с которыми мы не согласны. Печатая враждебные обвинения, мы садимся на лавку подсудимых и, как все подсудимые, ждем суда и вперед радуемся, если он будет в нашу пользу. Скажу больше, я предчувствовал, с которой стороны будет общественное мнение, и от всей души желал этого.

Но этого-то я и не желаю в отношении к статьям наших друзей, с которыми мы расходимся. Нам будет больно, если мнение выскажется против нас, и больно, если против них; торжество над своими не веселит. К тому же в наше бойкое время нельзя

давать много места междоусобному спору, нельзя слишком останавливаться, а надобно, избравши дорогу, идти, вести, пробиваться.

Россия вышла из той душевной эпохи, в которую людям только и оставалось теоретически обсуживать гражданские и общественные вопросы, и, что ни говорят, мы не вошли снова в гамлетовский период сомнений, слов, спора и отчаянных средств.

Дело растет, крепнет, и вот почему мы не можем быть беспристрастной нейтральной ареной для бойцов; мы сами бойцы и люди партии.

Впрочем, это замечание к вашему письму мало относится. Мы расходимся с вами не *в идее*, а в средствах; не *в началах*, а образе действия. Вы представляете *одно из крайних* выражений *нашего* направления; ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу; у нас негодование так же молодо, как у вас, и любовь к народу русскому так же жива теперь, как в юношеские лета.

Но к *топору*, к этому *ultima ratio*³¹ притесненных, мы звать не будем *до тех пор*, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без *топора*.

Чем глубже, чем дольше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие, и в ряд событий, который привел к нам Европу, тем больше растет у нас *отвращение от кровавых переворотов*; они бывают иногда необходимы, ими отделяется общественный организм от старых болезней, от удушающих наростов; они бывают роковым последствием вековых ошибок, наконец, делом мести, племенной ненависти, — у нас нет этих стихий; в этом отношении наше положение беспримерно.

Императорство со времени Петра I так приотпало и выпололо прежнее государственное устройство, как этого не сделал 92 и 93 год во Франции, так что его нет в живых, что его надобно отыскивать в пыльных свитках, в летописях, оно для нас больше чужое, чем Франция Людовика XIV.

И это не вся отрицательная заслуга его, — важнее этого, может быть, то, что оно и не заменило его ничем прочным органическим, что бы бросило глубокие корни и выросло бы помехой будущему. Совсем напротив, осадное положение императорства было вместе с тем постоянной *реформой*.

Сломавши все старое, императорская власть принималась обыкновенно ломать вчерашнее: Павел — екатерининское, Александр — павловское, Николай — александровское и, наконец, ныне царствующий государь, сто раз повторяя, что он будет царствовать в духе своего отца, ничего не оставил от военно-смирительного управления его, кроме сторожей, истопников и привратников.

Императорская власть столько же и строила, сколько ломала, но строила по чужим фасадам, из скверного кирпича, наскоро, здания его разваливались прежде, чем покрывались крышей, или ломались по приказу нового архитектора. Оттого-то никто не верит теперь не только в прочность Грановитой палаты и теремов, растреллиевских дворцов и присутственных мест, но даже казарм и крепостей.

³¹

Если что-нибудь уцелело под ударами императорского тарана, то это *сельская община*; она казалась немецкому деспотизму до того нелепой и слабой, что ее оставили, как детскую игрушку, зная вперед, что она исчезнет, как только благотворные лучи цивилизации ее коснутся.

Другая Россия — Россия правительственная, *дворянская* — по той мере только и сильна, по которой она идет заодно с правительством.

Они поссорились на вопросе об освобождении крестьян, и одной неловкости правительства следует приписать то, что оно не умеет воспользоваться этим.

Дворянская Россия — искусственная, подражательная, и оттого она бессильна как аристократия. Подумайте о разнице между крестьянским понятием о своем праве и понятием дворянским. Право на землю так кажется естественным и прирожденным крестьянину, что он в крепостной неволе *не верит*, что оно утрачено. В то время как дворяне знают, что права их высочайше пожалованные и притом добровольно дарованные <...>

Где же у нас та среда, которую надобно вырубать топором? Неверие в собственные силы — вот наша беда, и, что всего замечательнее, неверие это равно в правительстве, дворянстве и народе.

Мы за какими-то картонными драконами не видели, как у нас развязаны руки. Я не знаю в истории примера, чтобы народ с меньшим грузом переправлялся на другой берег.

К метлам! надобно кричать, а не к топорам! <...>

Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится? Есть ли все это у вас?

Одно вы мне можете возразить: а что будем делать, если народ, увидя, что его надувают освобождением, сам бросится к топору? Это будет великое несчастье, но оно возможно благодаря бесхарактерности правительства и характерности помещиков, — тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его совесть велит, как *его любовь велит*... но, наверное, и тогда не *из Лондона* звать к топорам. Будемте стараться всеми силами, *чтоб этого не было!*

Вот все, что я хотел вам сказать.

В заключение одно слово насчет того, что вы называете моим «гимном» Александру II.

Одной награды, кажется мне, я мог бы требовать за целую жизнь, посвященную одному и тому же делу, за целую жизнь, проведенную, как под стеклянным колпаком, — чтоб, наконец, не сомневались в чистоте моих убеждений и действий.

Я могу ошибаться в пути, много раз ошибался даже, но наверное не сворочу ни из страха перед фельдъегерской тройкой, ни из благоговения перед императрицыной каретой!

Сказавши это, я вас спрашиваю: да полно, ошибся ли я? Кто же в последнее время сделал что-нибудь путного для России, кроме государя? Отдадимте и тут кесарю кесарево!..

Прощайте и не сердитесь за длинное предисловие.

25 февраля 1860.

И-р.

<Письмо из провинции>

Милостивый государь,

на чужой стороне, в далекой Англии вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царской властью, вы показали России, что такое свободное слово... и за то, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостию, с восторгом встретило начало вашего предприятия, и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия; и что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге... Вы взяли на себя великую роль, и потому каждое ваше слово должно быть глубоко взвешено и рассчитано, каждая строка в вашей газете должна быть делом расчета, а не увлечения. Увлечение в деле политики бывает иногда хуже преступления... Помните ли, когда-то вы сказали, что России при ее пробуждении может предстать опасность, если либералы и народ не поймут друг друга, разойдутся, и что из этого может выйти страшное бедствие — новое торжество царской власти. Может быть, это пробуждение недалеко, царские шпицрутены, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков, разбудят Россию скорее, чем шепот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего «Колокола»... Но чем ближе пробуждение, тем сильнее грозит опасность, о которой вы говорили... и об отвращении которой вы не думаете. По всему видно, что о России настоящей вы имеете ложное понятие, помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и потому теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца, машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу³². Война шла дурно, удар за ударом, поражение за поражением — глухой ропот поднимался из-под земли! Вы писали в первой «Полярной Звезде», что народ в эту войну шел вместе с царем и потому царь будет зависеть от народа. Из этих слов видно только, что вы в вашем прекрасном далеко забыли, что такое русские газеты, и на слово поверили их возгласам о народном одушевлении за отечество. Правда, иногда случалось,

что крепостные охотно шли в ополчение, но только потому, что они надеялись за это получить свободу. Но чтоб русский народ в эту войну заодно шел с царем, — нет. Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения — крепостные от помещицкой неволи, раскольники ждали от них свободы вероисповедания. Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая, а вместе с тем о раздражении людей образованных, нагло на каждом шагу оскорбляемых николаевским деспотизмом, и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою. Да, как говорит какой-то поэт, «счастье было так близко, так возможно». Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом; а теперь это возможно и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду — как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Поднялся такой чад от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть, но, опустившись к земле (что делают крестьяне во время топки в курных избах), можно еще было не отчаиваться. Вслушиваясь в крестьянские толки, можно было с радостью видеть, что народ не увлечет 12 лет рабства под гнетом переходного состояния и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане. А либералы? Профессора, литераторы пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю. Догадливы наши либералы! Да и теперь большая часть из них еще не разрешила себе вопроса насчет крестьянской земли. А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большей части губернских комитетов положили страшные цены на земли, центральный комитет делает черт знает что, сегодня решает отпустить с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о переходном состоянии. Среди этих бесполезных толков желания крестьян растут — при появлении рескриптов можно было еще спокойно взять за землю дорогую цену, крестьяне охотно бы заплатили, лишь бы избавиться от переходного состояния, теперь они спохватились уже, что нечего платить за вещь 50 целковых, которая стоит 7. Вместе с этим растут и заблуждения либералов, они все еще надеются мирного и безобидного для крестьян решения вопроса, одним словом, крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят, теперь с каким-то особенным ожесточением готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще. Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае если народ без руководителей возьмется за топор, пуганица, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами, Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному движению и руководить им? Если выйдет первое, то ужасно, если второе, то, разумеется, жалеть нечего. Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о *демокраси* в Америке и не знающих, что делать дома, — об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уверенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя, в сущности, не выйдет из них-то ничего... Но об этих господах толковать нечего, есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и с пылкими надеждами, увлеченные в общий водоворот

умеренности, ждут всего от правительства и дождутся, когда их Александр засадит в крепость за пылкие надежды, если они будут жаловаться, что последние не исполнились, или народ подведет под один уровень с своими притеснителями. Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии... Зато с особенною яростию напали на Орловых, Паниных, Закревских³³. В них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне жаль его, видите, его принуждают так окружать себя — бедное дитя, мне жаль его! Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы, — вы, автор «С того берега» и «Писем из Италии», поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ... Как ни чисты ваши побуждения, но я уверен — придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания безымянную гласность; но чуть дело коснется дела, тут и прихлопнут... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, переменили же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, не вам ее поддерживать. С глубоким к вам уважением

Русский человек.

Герцен А. И. Собр. соч. Т. 14.

С. 238—244, 538—514.

Ископаемый епископ, допотопное правительство

и обманутый народ³⁴

*Шесть часов до своей кончины, в декабре 1846, воронежский архиерей Антоний вспомнил, что за *шестьдесят* лет умер его предшественник Тихон, и «вменил себе в священный долг, по особому внушению, засвидетельствовать *архиерейской совестью* перед Николаем Павловичем о сладостном и претрепетном желании, да явлен будет перед очию всех сей светильник веры и добрых дел, лежащий теперь под спудом».*

Затем все сделали свое дело: Антоний умер, Николай не обратил никакой внимания на предсмертный бред монаха — он же полагал, что Митрофаном отделался навсегда от мощей и воронежской епархии; покойник продолжал покоиться под спудом.

Настали другие времена — времена прогрессов, освобождений и обличений. *Шесть лет* после воцарения Александра II и в *шестой* (кажется) день святительства адмирала

Путятин³⁵, корчемствующего судно светского просвещения к берегам вечной и нетленной Японии, синод и государь, Бажанов³⁶ и государыня нашли *благовременным* приступить к *необходимым* распоряжениям для *обличения* нетленности тела святителя Тихона. Эта палеонтологическая работа была поручена Исидору киевскому (ныне петербургскому), какому-то Паисию и другим экспертам. Думать надобно, что известный читателям «Колокола» крепостник и во Христе сапер Игнатий³⁷ заведовал земляными работами. Следствие вполне удалось, и ископаемый епископ, «во благоухании святыни почивший», пожалован государем в святые, а тело его, за примерное нетление, произведено в мощи, с присвоением всех прав состояния, т.е. пользования серебряной ракой, лампадой, восковыми свечами и, главное, кружкой для сбора, коею иноцы будут руководствоваться по *особому* внушению божию и по крайнему разумению человеческому.

Мы останавливаемся перед этой нелепостью и спрашиваем: для чего эта роскошь изуверства и невежества, эта невоздержность идолопоклонства и лицемерия?

Может, инок Тихон был честный, почтенный человек — но зачем же эта синодальная комедия, несообразная с нашими понятиями, зачем же тело его употреблять как аптеку, на лекарство? Ведь в *врачебные свойства* Тихона, несмотря на «сорок восемь обследованных чудес»^{*16}, никто не верит: ни Исидор, прежде киевский, а теперь петербургский, ни Паисий, ни Аскоченский³⁸, ни Путятин, ни камилавки, ни ленты через плечо.

Да это и *не для них* делается — а *ими!*

Чудесам поверит своей детской душой крестьянин, бедный, обобранный дворянством, обворованный чиновничеством, обманутый освобождением, усталый от безвыходной работы, от безвыходной нищеты, — он поверит. Он слишком задавлен, слишком несчастен, чтобы не быть суеверным. Не зная, куда склонить голову в тяжелые минуты, в минуты человеческого стремления к покою, к надежде, окруженный стайей хищных врагов, он придет с горячей слезой к немой раке, к немому телу — и этим телом, и этой ракой его обманут, его утешат, чтоб он не попал на иные утешения. И вы, развратители, ограбивши несчастного до рублища, не стыдитесь употреблять эти средства? Вы хотите сделать его духовным нищим, духовным слепцом, подталкивая его в тьму изуверства, — какие вы все черные люди, какие вы все злодеи народа!

А тут толкуют о старообрядцах, о раскольниках, об их изуверстве, об их обманах, пишут побасенки в клевету и уничижение гонимых, которые не могут ответ держать. Нет, ваша полицейская церковь не выше их образованием, она только ниже их жизнию. Их убогие священники, их иноки делили все страдания народа — но не делили награбленной добычи. Не они помазывали миром петербургских царей, не они проповедовали покорность помещикам, не они кропили войска, благословляя на неправые победы; они не стояли, в подлом уничижении, в передней бироновских немцев,

они не совокупляли насильственным браком крепостных, они не загоняли народ в свою молельню розгой капитан-исправника, их пеших иерархов не награждали цари кавалериями!

...О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской — до тебя, которого та Русь, Русь лакеев и швейцаров, презирает, которого ливрея зовет *черным* народом и, издеваясь над твоей одеждой, снимает с тебя кушак, как прежде снимала твою бороду, — если б до тебя дошел мой голос, как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким царем. Ты их не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен их евангельским словом — пора их вывести на свежую воду!

Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь, — ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе³⁹. Он облыжным освобождением сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги.

А пастыри-то твои в стороне — по своим Вифаниям да Халкидонам. Вот оттуда-то мы и желали бы «претрепетно» явить перед очию всех добрые дела духовных светильников твоих.

После вековых страданий — страданий, превзошедших всю меру человеческого долготерпения, занялась заря крестьянской свободы. Путаясь перевязанными ногами, ринулась вперед, насколько веревка позволяла, наша литература; нашлись помещики, нашлись чиновники, отдавшие всем телом и духом великому делу; тысячи и тысячи людей ожидали с трепетом сердца появления указа; нашлись люди, которые, как М.П. Погодин, принесли наибольшую жертву, которую человек может принести, — пожертвовали здравым смыслом и до того обрадовались манифесту, что стали писать детский бред.

Ну, а что сделала, в продолжение этого времени, всех скорбящая, сердобольная заступница наша, *новообрядческая* церковь наша со своими иерархи? С невозмущаемым покоем ела она свою семгу, грузди, визигу; она выказала каменное равнодушие к народному делу, то возмутительное, преступное бездушие, с которым она два века смотрела из-под клубуков своих, перебирая четки, на злодейства помещиков, на насилия, на прелюбодеяния их, на их убийства... не найдя в пустой душе своей ни одного слова негодования, ни одного слова проклятья!

Европа вострепелась; в Англии, во Франции чужие приветствовали начало освобождения, показали участие. Укажите мне слово, письмо, проповедь, речь — Филарета, Исидора, Антония, Макридия, Мельхиседека, Агафатокла? Где молитва благодарности, где радостный привет народу, заступничество за него перед остервенелым дворянством, совет царю? Ничего подобного — то же афонское молчание, семга, визига, похороны, освящение храма, купеческие кулебяки да вино — благо гроздия вино-лозы постные суть. А тут, лет через двадцать пять, «претрепетное желание», и они выставят «во благоухании почившего» какого-нибудь Трифона или

Тихона, с кружечкой для благодатных дателей! Что у вас общего с народом? Да что у вас общего с людьми вообще? С народом разве борода, которой вы его обманываете. Вы не на шутку ангельского чина, в вас нет ничего человеческого^{*17}.

Новообрядческая церковь отделилась, на первый случай, острым словом московского Филарета; в одной из своих *привратных* речей, которыми он мешает своим помазанникам входить в Успенский собор, он отпустил цветословие о том, что другие властители покоряют народы пленением, а ты, мол, «покоряешь освобождением». Говорили, правда, речи архиереи после объявления манифеста, и то по губернаторскому наряду, т.е. так же добровольно являлись они за наложником, как жандармы являются к разъездам. Да и что же замечательного было ими высказано?

Медаль перевернулась скоро. Михаил Петрович еще бредил и не входил в себя от радости, а уже из обнаженной и многострадальной груди России сочилась кровь из десяти ран, нанесенных русскими руками, и согбенная спина старика крестьянина и несложившаяся спина крестьянина-отрока покрывались свежими рубцами, темно-синими рубцами освобождения.

Крестьяне не поняли, что освобождение обман, они поверили слову царскому — царь велел их убивать, как собак; дела кровавые, гнусные совершились.

Что же, кто-нибудь из иерархов, из кавалерственных архиереев пошел к народу объяснить, растолковать, успокоить, посетовать с ним? Или бросился кто из них, как в 1848 католический архиерей Афр, перед одичалыми опричниками, заслоня крестом, мощами Тихона, своей грудью неповинного крестьянина, поверившего в простоте души царскому слову? Был бы хоть один? Кто? Где? Назовите, чтоб я в прахе у него попросил прощения... Я жду!

А покамест еще раз скажу народу: нет, это не твои пастыри; под платьями, которые ты привык уважать по преданию, скрыты клеветы враждебного правительства, такие же генералы, такие же помещики; их зачерствелое, постное сердце не болеет о тебе. Твои пастыри — темные, как ты, бедные, как ты; они говорят твоим языком, верят твоим упованиям и плачут твоими слезами. Таков был пострадавший за тебя в Казани инок Антоний⁴⁰; мученической, святою кровью запечатлел он свое болезненное родство с тобою. Он верил в волю вольную, в волю истинную для русского земледельца — и, поднявши над головою ложную грамоту, пал за тебя.

Об открытии его мощей не попросит, за *шесть* часов, ни один архиерей и не дозволит ни один петербургский царь. Да оно и не нужно — он принадлежит к твоим святителям, а не к их. Тела твоих святителей не сделают сорока восьми чудес, молитва к ним не вылечит от зубной боли; но живая память об них может совершить одно чудо — твое освобождение.

Герцен А.И. Собр. соч. Т. 15. С. 133—138.

Н.Г. Чернышевский⁴¹

Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!

«Инвалид»⁴² недавно спрашивал, где же *новая Россия*, за которую бил Гарибальди. Видно, она не вся «за Днепром», когда жертва падает за жертвой... Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор «Инвалида» о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартыанова, Красовского, Грувелье⁴³, двадцать других, наконец, Чернышевского в каторжную работу.

И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!

И.р.

Р. С. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца экзекуции: «Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венок — ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему «прощай!» и был арестован. Ссылая Михайлова и Обручева, они делали выставку в 4 часа утра, теперь — белым днем!..»

Поздравляем всех различных Катковых — над этим врагом они восторжествовали! Ну что, легко им на душе?

Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа^{*18} — а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?

Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть!

Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.

М, 1959. Т.18.С.221—222.

¹ «Письма из avenue Marigny. Письмо второе» впервые опубликовано в «Современнике» (1847. № 10). В Письме отразились наблюдения Герцена над французской буржуазией накануне революции 1848 г.

² Что такое третье сословие? (*франц.*).

³ Речь идет об имущественном цензе.

⁴ Достоинства (*франц.*).

⁵ Непременное условие (*франц.*).

⁶ Официант (*франц.*).

⁷ *Легисты* — борцы против феодалов.

⁸ «Вольное русское книгопечатание в Лондоне» впервые опубликовано в 1853 г. отдельной листовкой. Подписано: Александр Герцен (Искандер).

⁹ «Крещеная собственность». Литографированный листок, выпущенный Герценом перед открытием Вольной русской типографии в Лондоне (1855).

¹⁰ *Сандрильона* — Золушка.

¹¹ «Объявление о "Полярной звезде"». Отрывок. Впервые напечатано отдельной листовкой в 1855 г.

¹² «Полярная звезда скрылась...» — имеется в виду альманах «Полярная звезда», издававшийся в 1823—1825 гг. К. Рылеевым и А. Бестужевым.

¹³ «Предисловие к "Колоколу"» — впервые опубликовано в «Колоколе» (1857. № 1).

*¹² Программа «Полярной звезды» (примеч. Герцена).

*¹³ Далее шли выдержки из листовки Герцена «Вольное русское книгопечатание в Лондоне». — *Сост.*

¹⁴ Справочник игрока на бирже (*франц.*).

*¹⁴ Далее шли выдержки из «Объявления об издании «Полярной звезды». — *Сост.*

¹⁵ «Под спудом». Впервые опубликовано в «Колоколе» (1857. № 5).

¹⁶ *Мина Ивановна* — любовница всемогущего в то время министра двора гр. Адлерберга, открыто бравшая громадные взятки с лиц, желающих получить ее покровительство или содействие в делах. *Cloaca Maxima* — большая труба для спуска нечистот в Древнем Риме.

¹⁷ *Сазиков* — владелец мастерской по изготовлению серебряных и золотых изделий.

*¹⁵ Тоже Сазикова работы (примеч. Герцена).

¹⁸ Статья «Сечь или не сечь мужика?» вызвана выступлениями помещиков-крепостников за сохранение телесных наказаний. Впервые опубликована в «Колоколе» (1857. № 6).

¹⁹ «Вот в чем вопрос». Шекспир. «Гамлет» (*англ.*).

²⁰ *Снова* (*итал.*).

²¹ Статья «Нас упрекают» была написана в ответ проф. Б.Н. Чичерину, выступившему с резкой критикой «Колокола» с позиций умеренного либерализма. Впервые опубликована в «Колоколе» (1858. № 27).

²² «Как согласить амнистии, желания публичности с проектом Ростовцева, с силой Панина?» — речь шла о проекте разделения страны на генерал-губернаторства в целях укрепления власти на местах. Панин — министр юстиции, реакционер, противник отмены крепостного права.

²³ *Генерал Салтыков* — командующий войсками во время Семилетней войны, выиграл ряд сражений.

²⁴ «...комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения» — имеются в виду губернские дворянские комитеты, разрабатывающие проекты отмены крепостного права.

²⁵ *Муравьев* — генерал-губернатор Восточной Сибири

²⁶ Статья «Very dangerous!!!» — Очень опасно!!! (*англ.*); впервые опубликована в «Колоколе» (1859. № 44). В оглавлении «Колокола» она имела подзаголовок: О нападках на обличительную литературу. Статья — первое полемическое выступление Герцена

против критики так называемого «обличительного направления», либеральной гласности, проводившейся на страницах «Современника» (особенно «Свистка») и других русских журналов в 1857—1859 гг.

²⁷ Цензурным триумvirатом Герцен называет правительственный комитет по делам книгопечатания, в состав которого входили А.В. Адлерберг, А.Е. Тимашев и А.А. Муханов.

²⁸ «Товарищи Поэрио» — неаполитанские политические деятели и эмигранты, поплатившиеся за свой либерализм тюремным заключением.

²⁹ «Пунш» — английский сатирический журнал.

³⁰ «От редакции». Предисловие к Письму из провинции Герцена является одновременно и ответом анонимному автору. Подлинное имя автора Письма до сих пор не установлено. Впервые опубликовано в «Колоколе» (1860. № 64).

³¹ Последний довод (*лат.*).

³² «Николай... при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу» — по свидетельству ряда мемуаристов, Николай I покончил с собой, приняв яд, данный ему лейб-медиком Мандтом.

³³ Орлов, Панин, Закревский — типичные представители реакционной бюрократии эпохи Николая I, продолжавшие оставаться у власти в первые годы царствования Александра II.

³⁴ «Ископаемый епископ...» Впервые опубликовано в «Колоколе» (1861. № 105). Поводом для статьи явился царский указ о признании Тихона Затонского святым и открытием его мощей. Однако содержание статьи шире разоблачения религиозных «чудес». Ее главный смысл в том, что народ обманут реформой.

³⁵ Адмирал Путянин, возглавлявший русскую экспедицию в Японию незадолго до написания Герценом этой статьи был назначен министром просвещения.

³⁶ Бажанов — придворный священник.

³⁷ «Во Христе сапер Игнатий» — архиерей, бывший офицер инженерных войск. О нем Герцен писал в статье «Во Христе сапер Игнатий».

^{*16} Кто делал следствие, как? Хоть бы достать восемь, — ужасно интересно было бы для характеристики наших шаманов (примеч. Герцена).

³⁸ *Аскоченский* — журналист реакционного направления, ханжа и мракобес, издатель журнала «Домашняя беседа».

³⁹ «...ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе» — имеется в виду подавление солдатами бездненского и кандеевского восстаний 1861 г.

^{*17} Мы говорим о высшем духовенстве; вероятно, из священников нашлись многие, сочувствовавшие народу. Мы помним, сверх того, молодого архимандрита Казанской академии Иоанна, поместившего в январской книжке 1859 «Православного собеседника» «Слово об освобождении», но статья его тотчас вызвала дикий и уродливый ответ во Христе сапера (примеч. Герцена)

⁴⁰ «...пострадавший за тебя в Казани инок Антоний» — имеется в виду крестьянин Антон Петров, расстрелянный по приговору суда за руководство крестьянским восстанием в с. Бездне Казанской губернии в 1861 г.

⁴¹ «Н. Г. Чернышевский». Впервые опубликовано в «Колоколе» (1864. № 186).

⁴² «Инвалид» — газета «Русский инвалид», орган военного ведомства.

⁴³ *М.И. Михайлов* был приговорен в 1861 г. к каторжным работам за распространение прокламации «К молодому поколению»; *В.А. Обручев* — сотрудник «Современника», осужденный в 1861 г. на каторжные работы за распространение прокламации «Великорусе»; *П.А. Мартьянов* — крепостной крестьянин по происхождению, будучи в Лондоне, опубликовал в «Колоколе» письмо к Александру II, в котором убеждал его созвать Земский собор. По возвращении в Россию был арестован и приговорен к каторжным работам; *А.А. Красовский* — полковник, осужденный на каторгу за пропаганду среди солдат; *В.В. Трувелье* — офицер. В 1862 г. был осужден на каторжные работы за попытку распространить среди матросов прокламации, напечатанные в типографии Герцена.

^{*18} Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста (примеч. Герцена).

Н. П. Огарёв

Н.П. ОГАРЕВ

(1813—1877)

Что нужно народу?¹

Очень просто, народу нужна земля да воля.

Без земли народу жить нельзя, да без земли нельзя его и оставить, потому что она его собственная, кровная. *Земля никому другому не принадлежит*, как народу. Кто занял землю, которую зовут Россией? кто ее возделал, кто ее спокон веков отвоевывал да отстаивал против всяких врагов? Народ, никто другой, как народ. Сколько погибло народа на войнах, того и не перечесть! В одни последние пятьдесят лет куда более миллиона крестьян погибло, лишь бы отстоять народную землю. Приходил в 1812 году Наполеон, его выгнали, да ведь не даром: слишком восемь сот тысяч своего народа уложили. Приходили вот теперь в Крым англо-французы; и тут слишком пятьдесят тысяч людей было убито или умерло от ран. А кроме этих двух больших войн, сколько в этих же пятьдесят лет уложили народа в других малых войнах? Для чего же все это? Сами цари твердили народу: «для того, чтобы *отстоять свою землю*». Не отстаивай народ русской земли, не было бы и русского царства, не было бы и царей и помещиков.

И всегда так бывало. Как придет к нам какой-нибудь недруг, так народу и кричат: давай солдат, давай денег, вооружайся, отстаивай родную землю! Народ и отстаивал. А теперь и царь и помещики будто забыли, что народ тысячу лет лил пот и кровь, чтоб выработать и отстоять свою землю, и говорят народу: «покупай, мол, еще эту землю, за деньги». Нет! это уж искариотство. Коли торговать землей, так торговать ею тому, кто ее добыл. И если цари и помещики не хотят заодно, нераздельно с народом владеть землей, так пусть же *они* покупают землю, а не народ, ибо земля не ихняя, а народная, и пришла она народу не от царей и помещиков, а от дедов, которые заселили ее во времена, когда о помещиках и царях еще и помину не было.

Народ, спокон веков, *на самом деле* владел землей, *на самом деле* лил за землю *пот и кровь*, а приказные *на бумаге чернилами* отписывали эту землю помещикам да в царскую казну. Вместе с землей и самый народ забрали в неволю и хотели уверить, что это и есть закон, это и есть божеская правда. Однако никого не уверили. Плетью народ секли, пулями стреляли, в каторгу ссылали, чтобы народ повиновался приказному закону. Народ замолчал, а все не поверил. И из неправого дела все же не вышло дела правого. Притеснениями только народ и государство разорили.

Увидели теперь сами, что по-прежнему жить нельзя. Задумали исправить дело. Четыре года писали да переписывали свои бумаги. Наконец, решили дело и объявили народу свободу. Послали повсюду генералов и чиновников читать манифест и служить по церквам молебны. Молись, мол, богу за царя, да за волю, да за свое будущее счастье.

Народ поверил, обрадовался и стал молиться.

Однако, как зачали генералы да чиновники толковать народу *Положения*², оказывается, что воля дана только на словах, а не на деле. Что в новых положениях — прежние приказные законы только на другой бумаге, другими словами переписаны. И барщину и оброки отбывай помещику по-прежнему, хочешь получить свою избу и землю — выкупай их на свои собственные деньги. Выдумали переходное состояние. Не то на два года, не то на шесть, не то на девять лет определили для народа новое крепостное состояние, где помещик будет сечь через начальство, где суд будет творить начальство, где все перепутано так, что если б в этих царских положениях и нашлась какая-нибудь льготная крупица для народа, то ею и воспользоваться нельзя. И государственным крестьянам по-прежнему их горькую судьбу оставили, и землей и народом оставили владеть все тех же чиновников, а хочешь на волю так выкупай свою землю. Слушает народ, что ему толкуют генералы и чиновники про волю, и понять не может — какая это воля без земли под помещичьими и чиновничьими розгами. Верить не хочет народ, чтоб его так бесчестно обманули. Быть, говорит, не может, чтоб царь своим словом четыре года ласкал нас свободой, а теперь, на деле, подарил бы прежней барщиной и оброком, прежними розгами и побоями.

Хорошо, кто не поверил, да смолчал: а кто не поверил, да стал тужить по несбывшейся воле, тех пришли вразумлять плетьюми, штыками да пулями. И полилась по Руси безвинная кровь.

Вместо молитвы за царя, раздались стоны мучеников, падающих под плетьюми и пулями да изнемогающих под железами по сибирской дороге.

Так-то опять плетьюми да каторгой хотят заставить народ верить, что новый приказный закон есть божеская правда.

Да еще глумятся царь да вельможи, говорят, что через два года будет воля. Откуда же она будет воля-то? Землю урежут, да за урезанную заставят платить втридорога, да отдадут народ под власть чиновников, чтоб и сверх этих тройных денег еще втрое грабежом выжимали; и чуть кто не даст себя грабить, так опять плети да каторга. Ничего они не то, что через два года, — а *никогда* для народа не сделают, потому что их выгода — рабство народное, а не свобода <...>

Землю от народа отписали за себя. Все что народ ни выработает — подавай ко двору, да в казну, да дворянам; а сам вечно сиди в гнилой рубахе, да в дырявых лаптях.

Свободу отняли. Шагу не смей сделать без чиновничьего позволения, без паспорта или билета, и за все плати.

Ничему народ не учили. Деньги, что собирают на народное ученье, сорят на царские конюшни и псарни, на чиновников и ненужное войско, которое стреляло бы по народу.

Понимают сами, что так быть нельзя, что с таким искарיותством и народ сгубишь, и царство сгубишь, и самих себя не при чем оставишь. Сами сознаются перед народом, что надо дать ему поправиться, а как до дела дойдет, алчности-то своей преодолеть не могут. Жалко царю своих бесчисленных дворцов с тысячами лакеев и арапов, жалко царице своих парчей и бриллиантов. Еще не сумели они полюбить народа более, чем своих охотничьих

собак, чем золотую посуду, чем пиры и забавы. Вот и не могут они отрешить и унять своих вельмож и чиновников, которые помогают им собирать с народа миллионы рублей, да и сами на себя тянут столько же. Не могут победить своей алчности, вот и двоедушничают. И пишет царь такие манифесты, которых народ в толк взять не может. На словах будто добр и говорит с народом по совести; а как слова на деле исполнять приходится, держится с вельможами все той же алчности. На словах от царской доброты народу радость и веселье, а на деле все прежнее горе да слезы. На словах народу от Царя воля, а на деле за эту же волю царские генералы секут народ да в Сибирь ссылают, да расстреливают.

Нет! двоедушничать с народом и обманывать его — бесчестно и преступно. Торговать землей и волей народа — не то ли же, что Иуде торговать Христом? Нет, дело народа должно быть решено без торга, по совести и правде. Решение должно быть простое, откровенное, всякому понятное; чтобы слов решения, раз произнесенных, ни царь, ни помещики с чиновниками перетолковывать не могли. Чтобы ради глупых, бестолковых, изменнических слов не лилось неповинной крови.

Что нужно народу?

Земля, воля, образование.

Чтобы народ получил их на самом деле, необходимо:

1) Объявить, что все крестьяне свободны с той землей, которою теперь владеют. У кого нет земли, например, у дворовых и некоторых заводских, тем дать участки из земель государственных, то есть народных, никем еще не занятых. У кого из помещичьих крестьян земли не в достачу, тем прирезать земли от помещиков или дать земли на выселок. Так, чтоб ни один крестьянин без достаточного количества земли не остался. Землей владеть крестьянам сообща, т.е. общинами. А когда в какой общине народится слишком много народу, так что тесно станет, дать той общине для крестьян сколько нужно земли на выселок из пустопорожних удобных земель. В тысячу лет русский народ заселил и завоевал земли столько, что ему ее на многие века хватит. Знай плодись, а в земле отказа быть не может.

2) Как весь народ будет владеть общей народной землей, так, значит, весь народ за пользование этой землей будет платить и подати на общие народные нужды, в общую государственную (народную) казну. Для сего освобожденных с землей крестьян обложить такою же податью, какую ныне платят государственные крестьяне, но не более. Подати те вносить крестьянам сообща, за круговую порукою; чтоб крестьяне каждой общины отвечали друг за друга.

3) Хотя помещики триста лет и владели неправо землей, однако народ их обижать не хочет. Пусть им казначейство выдает ежегодно, в пособие или вознаграждение, сколько нужно, примерно хоть шестьдесят миллионов в год, из общих государственных податей. Лишь бы народу осталась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет, с которой кормится и отапливается, с которой скот свой кормит и поит, да лишь бы подати ни в каком случае не повышали, а то народ на отсчитывание вознаграждения помещикам из податей согласен. А сколько кому из отсчитываемых на это из податей денег приходится, помещики сами промеж себя по губерниям согласиться могут. Народу это все равно, лишь бы подать не повышали. Помещичьих крестьян по последней

ревизии считается всего 11 024 108 душ. Если их обложить одинаковою податью с государственными крестьянами, т. е. рублей по семи с души в год, то, отсчитав из этих семи рублей около 1 руб. 50 коп. серебром, которые помещичьи крестьяне ныне платят в казну (подушными и разными повинностями), останется затем с каждой души около 5 руб. 40 коп. сер., а от всех помещичьих крестьян в России — около шестидесяти миллионов рублей серебром. Значит, есть чем пособить и вознаградить помещиков; больше этого им и желать стыдно, и давать не следует.

4) Если при такой подати до полных 60 миллионов, следующих помещикам, чего не хватит, то для покрытия недостатка все-таки никаких лишних податей требовать не надо. А следует убавить расход на войско. Русский народ живет в миру со всеми соседями и хочет жить с ними в миру; стало, ему огромного войска, которым только царь тешится да по мужикам стреляет, не надо. А потому войско следует сократить наполовину. Теперь на войско и на флот тратится 120 миллионов, а все без толку. С народа собирают на войско денег кучу, а до солдата мало доходит. Из ста двадцати миллионов сорок миллионов идет на одних только военных чиновников (на военное управление), которые еще, кроме того, сами знатно казну разворовывают. Как сократить войско наполовину, да в особенности сократить военных чиновников, так и солдатам будет лучше, да и излишек от расходов на войско большой останется — миллионов в сорок серебром. С таким излишком, как бы ни было велико вознаграждение помещикам, а уплатить будет чем. Податей не прибавится, а распределятся они разумнее. Те же деньги, которые народ теперь платит на лишнее войско, чтоб царь тем войском по народу стрелял, пойдут не в смерть, а в жизнь народу, чтоб выйти народу спокойно на волю с своею землею.

5) И собственные расходы царского правительства надо сократить. Вместо того, чтоб строить царю конюшни да псарни, лучше строить хорошие дороги, да ремесленные, земледельческие и всякие пригодные народу школы и заведения. Притом, само собой разумеется, что царю и семье царской нечего напрасно присваивать себе удельных и заводских крестьян и доходы с них; надо, чтоб крестьянство было одно и платило бы одинаковую подать, а из подати и будут отсчитывать, сколько царю за управление положить можно.

6) Избавить народ от чиновников. Для этого надо, чтоб крестьяне, и в общинах и в волостях, управлялись бы сами, своими выборными. Сельских и волостных старшин определяли бы своим выбором и отрешали бы своим судом. Между собой судились бы своим третейским судом или на миру. Сельскую и волостную полицию справляли бы сами своими выборными людьми. И чтоб во все это, равно как и в то, кто какою работою или торговлею и промыслом занимается, отныне ни один помещик или чиновник не вмешивался бы, лишь бы крестьяне вовремя вносили свою подать. А за это, как сказано, отвечает круговая порука. Для легкости же круговой поруки крестьяне каждой общины промеж себя сделают складчину, то есть составят мирские капиталы. Случится ли с кем беда, мир ссудит его из этого капитала и не даст погибнуть; запоздал ли кто податью, — мир внесет за него подать в срок, даст ему время поправиться. Понадобилось ли для всей общины построить мельницу или магазин, или купить машину, общественный капитал поможет им сладить общепольное дело. Общественный капитал и хозяйству сельскому поможет, да и от чиновников спасет, так как при исправном платеже податей ни один чиновник никого и притеснить не может. Тут-то важно, чтоб все стояли за одного. Дашь одного в обиду — всех обидят. Само собой разумеется, не надо, чтоб до этого капитала

чиновник пальцем дотронулся; а те, которым мир его поручит, — те в нем отчет миру и дадут.

7) А для того, чтобы народ, получив землю и волю, сохранил бы их на вечные времена; для того, чтобы царь не облагал произвольно народ тяжкими податями и повинностями, не держал бы на народные деньги лишнего войска и лишних чиновников, которые давили бы народ; для того, чтобы царь не мог прокучивать народные деньги на пиры, а расходовал бы их по совести на народные нужды и образование, — надо, чтобы подати и повинности определял бы и раскладывал промеж себя сам народ через своих выборных. В каждой волости выборные от сел решат промеж себя, сколько надо собрать с своего народа денег на общие нужды волости и выберут промеж себя доверенного человека, которого пошлют в уезд, чтоб вместе с выборными от других волостей, и землевладельцев, и городских обывателей, решить, какие нужны подати и повинности по уезду. Эти выборные на уездном сходе выберут промеж себя доверенных людей и пошлют их в губернский город, чтобы решить, какие народу принять повинности по губернии. Наконец, выборные от губерний съедутся в столицу к царю и порешат, какие повинности и подати должны быть отбываемы народом для нужд государственных, т.е. общих для русского народа.

Доверенные от народа люди не дадут народа в обиду, не позволят брать с народа лишних денег; а без лишних денег не из чего будет содержать и лишнего войска и лишних чиновников. Народ, значит, будет жить счастливо, без притеснений.

Доверенные люди решат, сколько податей платить народу и как платить их, чтобы никому не было обидно. Как соберутся выборные да столкнутся, им уж можно будет порешить, чтобы подать платилась не с души, а с земли. У какой общины земли более да земля получше, той, значит и платить податей придется более; а кто землей беднее — те и платить будут менее. Тут и помещики с своей земли платить будут. Значит, дело будет справедливее и для народа льготнее. Доверенные же решат, как по справедливости отбывать рекрутскую повинность; как по справедливости отбывать дорожную, постоянную и подводную повинности; оценят их деньгами и разложат по всему народу безобидно. Разочтут всякую народную копейку, на какое именно дело ей итти: сколько денег на правительство, сколько на войско, сколько на суды, сколько на училища народные, сколько на дороги. И что решат, то только и будет. Как пройдет год, так в каждой копейке подай отчет народу — куда она истрачена. Вот что нужно народу, без чего он жить не может.

Да кто же будет ему таким другом, что доставит ему все это?

До сих пор народ веровал, что таким другом ему будет нынешний царь. Что не в пример прежних царей, которые отписали землю от народа и отдали его в неволю вельможам, помещикам и чиновникам, новый царь осчастливит народ. Только как пришли генералы с солдатами расстреливать народ за волю и сечь шпицрутенами, так пришлось и про нового царя сказать то же, что пророк Самуил говорил народу израильскому, когда советовал ему обойтись без царя: «И поставит (царь) тебе сотники и тысячники; и дочери ваши возьмет в мироварницы и поварницы; и селы ваши и винограды ваши и маслична ваша драгия возьмет и отдаст рабам своим; и семена ваша и винограды ваша одесятствует; и стада ваша благая возьмет и одесятствует на дела своя; и

пажити ваша одесятствует, и вы будете ему рабы»^{*19}. Иными словами: не жди от царя никакого добра, а только одного зла, так как по алчности своей цари и волю и достаток народа обирают неминуемо. И наш царь, что приказывает стрелять по народу, оказывается, значит, царем самуиловским. Того и смотри, что он не друг, а первый враг народа. Говорят, что он добрый: да что же бы он мог хуже теперешнего сделать, когда б он был злой? Пусть же народ подождет молиться за него, а своим чутьем да здравым смыслом поищет себе друзей понадежнее, друзей настоящих, людей преданных.

Пуще всего надо народу сближаться с войском. И отец ли, мать ли снаряжает сына в рекруты — не забывай народной воли, бери с сына клятву, что по народу стрелять не будет, не будет убийцей отцов, матерей и сестер кровных, кто бы ни дал приказ стрелять, хотя бы сам царь, потому что такой приказ, хотя бы и царский, все же приказ окаянный. За тем ищи друзей и повыше.

Когда найдется офицер, который научит солдат, что стрелять по народу грех смертный — знай, народ, что это друг его, который стоит за землю мирскую да за волю народную.

Найдется ли помещик, который тотчас отпустит крестьян на волю со всею их землею, самым льготным способом и ни в чем не обидит, а во всем поможет; найдется ли купец, который не пожалеет своих рублей на освобождение; найдется ли такой человек, у которого ни крестьян, ни рублей нет, но который всю жизнь и думал, и учился, и писал, и печатал только для того, как бы лучше устроить землю мирскую да волю народную — знай народ: это все друзья его.

Шуметь без толку и лезть под пулю вразбивку нечего; а надо молча собираться с силами, искать людей преданных, которые помогали бы и советом, и руководством, и словом, и делом, и казной, и жизнью, чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную, да правду человеческую.

Огарев Н. П. Избр. социально-политические и философские произведения
М., 1952. Т. 1. С. 527—536.

¹ Статья «Что нужно народу?» была написана Огаревым при участии Н.Н. Обручева, А.А. Слепцова и других членов тайного общества «Земля и Воля». Она рассматривалась как набросок программы этого общества. После публикации в «Колоколе» (1861. № 102) статья была издана в виде листовки и получила широкое распространение в России.

² «Толковать народу Положения» — имеется в виду Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

*19 1-я книга Царств, гл. VIII (примеч. Н.П. Огарева).

К.С. АКСАКОВ

(1817—1860)

Опыт синонимов

Публика — народ

Было время, когда у нас не было публики... Возможно ли это? скажут мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было *публики*, а был *народ*. Это было еще до построения Петербурга. Публика — явление чисто западное, и была заведена у нас вместе с разными нововведениями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом; выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется перед ними, как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за это огромною ценою: временем, связью с народом и самою истинною мысли. Публика является над народом, как будто его привилегированное выражение; в самом же деле публика есть искажение идеи народа.

Разница между публикою и народом у нас очевидна (мы говорим вообще, исключения сюда нейдут).

Публика подражает и не имеет самостоятельности: все, что принимает она, чужое, — принимает она наружно, становясь всякий раз сама чужою. Народ не подражает и совершенно самостоятелен; а если что примет чужое, то сделает это своим, *усвоит*. У публики свое обращается в чужое. У народа *чужое* обращается в свое. Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика танцует, народ молится. Средоточие публики в Москве — Кузнецкий мост. Средоточие народа — Кремль.

Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ — по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ в русском. У публики — парижские моды. У народа — свои русские обычаи. Публика (большею частию, по крайней мере) ест скоромное; народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большею частию ногами по паркету); народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтора года лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике — грязь в золоте, в народе — золото в грязи. У публики — свет (*monde*, балы и пр.); у народа — мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас — почтеннейшая, а народ — православный.

Публика, вперед! Народ, назад! так воскликнул многозначительно один хожалый¹.

Хрестоматия по истории русской журналистики XIX века.

¹

М., 1965. С. 171—172.

К. С. Аксаков — сын известного писателя С.Т. Аксакова, публицист-славянофил, поэт, критик. «Опыт синонимов» впервые опубликован в газете «Молва» (1857. № 36) без подписи.

¹ *хожальный* — полицейский солдат.

И. С. Аксаков

И.С. АКСАКОВ

(1823—1886)

Об издании в 1859 году газеты «Парус»¹

С 1-го января 1859 г. будет выходить в Москве, еженедельно, газета под названием «Парус».

При современном обилии газет и журналов в России общество вправе требовать от каждого вновь предпринимаемого периодического издания точного определения его направления и цели. Как ни законно это требование, но дать удовлетворительный ответ на такой общественный запрос в тесных рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких условных признаков того или другого направления, — и неудобно, и трудно. Тем не менее мы постараемся, в немногих словах, объяснить публике существенный характер нашего издания.

В самом деле, было время, когда «содействовать просвещению нашего отечества» вообще, «сообщать полезные сведения» *безразлично*, «возбуждать и удовлетворять потребность чтения в русской публике», ставить ее в постоянный уровень с живою заграничною «современностью» *во всех* отношениях и даже посредством картинок парижских мод, — было задачею не только просто литературных, но и учено-литературных наших журналов. Было время, когда всякое подобное предприятие приветствовалось с радостью и, не заботясь о содержании, общество повторяло вместе с известным русским поэтом:

Дай бог нам более журналов,

Плодят читателей они...

Где есть *поветрие* на чтение,

В чести там грамота, перо, и проч.²

Журналы походили на магазины, в которых держались товары на всякий вкус и потребность. Такое положение литературы вполне оправдывалось историческим ходом

нашего образования и многими другими обстоятельствами, о которых распространяться было бы здесь неуместно.

Это время проходит, если еще не совсем прошло. Русская журналистика вступает в новый период своего существования. Ее задача теперь уже не в том, чтоб создать орудие гласности и возбужденной деятельности, употреблять в дело уже созданное орудие на пользу знания и жизни, участвовать в разрешении общественных вопросов. С каждым днем появляются новые издания, посвященные специальной разработке той или другой науки, выделяются более и более особенности и оттенки разных стремлений, и даже каждый труд мысли, каждое отдельное мнение пытается выразить себя гласно, во всей своей личной самостоятельности, не теряясь, как прежде, в робкой неопределенности общепринятых, условно-приличных форм и положений.

При всем том мы должны сознаться, что такое направление, освобождающее личную мысль и чувство от рабства перед авторитетами и модою (ибо мода и в сферах умственных), такое направление, говорим мы, еще далеко не получило полных прав гражданственности в нашей литературе. Еще виден некоторый страх в проявлениях самобытности, еще постоянно слышится боязнь прослыть односторонним, исключительным, принадлежащим к партии и — сохрани боже! несовременным, неуважительным «к европейской мысли», «к науке и ее началам». Под защиту этих неопределенных выражений еще любит укрываться у нас литературная деятельность и усиленно держится в области какого-то отвлеченного космополитизма. В этом несколько раболепном отношении к «современности» и «науке» сказывается тот особенный разлад, который существует у нас между наукой и жизнью, между теорией и действительностью, между просвещением и народностью, между «образованным обществом» и простым народом. Такое подчинение мысли авторитету «современности» (как будто современное *нынче* не перестает быть современным *завтра*), такое слепое благоговение к последнему слову науки (как будто наука есть что-то завершенное и установившееся) ставит большую часть наших мыслителей в зависимость от каждой новой почты, приходящей из Западной Европы в Россию и привозящей, вместе с модными товарами, свежесовременное воззрение, новое последнее слово науки, нередко вносящее смущение и хаос в мир «начал», только что усвоенных ее русскими поклонниками. Иначе и быть не может там, где мысль не имеет жизненной народной почвы и где мыслители, в подобострастном служении мысли, возвращенной чужою жизнью, не только исполнены презрения к нашей умственной самобытности, но готовы насиловать самую жизнь, стеснять ее свободу и деспотически предписывать ей чуждые и несвойственные формы.

Вполне уважая европейскую мысль и науку и сознавая необходимым постоянно изучать смысл современных явлений, редакция «Паруса» считает своею обязанностью прямо объявить, что «Парус», будучи вполне отдельным и самостоятельным изданием, принадлежит к одному направлению с «Русской беседой»³, к тому нередко осмеянному и оклеветанному направлению, которое с радостью видит, что многие выработанные им положения принимаются и повторяются теперь самыми горячими его противниками.

Итак, не боясь ложных упреков в исключительности, мы смело ставим наше знамя.

Наше знамя — РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ.

Народность вообще — как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития, как символ права, до сих пор попираемого теми же самими, которые стоят и ратуют за право личности, не возводя своих понятий до сознания личности народной.

Народность русская, как залог новых начал, полнейшего жизненного выражения общечеловеческой истины.

Таково наше знамя. Мы не имеем гордой мысли быть его вполне достойными. Не давая никаких пышных обещаний, ограничимся теперь кратким изложением нашей программы.

Характер нашей газеты — по преимуществу *гражданский*, т.е. она по преимуществу должна разрабатывать вопросы современной русской действительности в народной и общественной жизни и так далее. Статьи ученого содержания будут помещаться только тогда, когда они обобщают предмет, делают его доступным для общего понимания. Чисто литературные статьи, то есть произведения так называемой изящной словесности, всегда найдут себе место в нашей газете, если не противоречат духу и направлению издания. Но мы особенно приглашаем всех, и каждого сообщать нам наблюдения над бытом народным, рассказы из его жизни, исследования его обычаев и преданий и т.п.

Сверх того, мы открываем в «Парусе»:

1) Отдел библиографический, в котором предполагаем отдавать краткий, но по возможности полный отчет о выходящих в России книгах и периодических изданиях.

2) Отдел *областных известий*, то есть писем и вестей из губерний. Наши провинции не имеют центрального органа для выражения своих нужд и потребностей; мы предлагаем им нашу газету.

3) Отдел славянский, или — вернее сказать, отдел писем и известий из земель славянских. С этою целию мы пригласили некоторых литераторов польских, чешских, сербских, хорватских, русинских⁴, болгарских и так далее быть нашими постоянными корреспондентами. Выставляя нашим знаменем русскую народность, мы тем самым признаем народности всех племен славянских. Вот что, между прочим, мы писали ко всем славянским литераторам:

«Во имя нашего племенного родства, во имя нашего духовного славянского единства, мы, русские, протягиваем братские руки всем славянским народностям: пусть развивается каждая из них вполне самобытно! пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело славянского просвещения! пусть каждое свободно, смело, невозбранно совершает свой собственный подвиг, возвестит свое слово, обогатит своею посильною данью общую сокровищницу славянского духа! Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгары, словенцы, словаки, русины, лужичане⁵, все мы, выражая собою разные стороны многостороннего духа славянского, взаимно пополняем друг друга и только дружною совокупностью трудов можем достигнуть полноты славянского развития и отстоять свою умственную и нравственную самобытность. Не

внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого. Не одно материальное преуспеяние, но познание, изучение, хранение и разработка основных начал славянских — вот что необходимо славянским народам, дабы они могли явиться *самостоятельными* деятелями общечеловеческого просвещения и обновить ветшающий мир новыми силами... Да мы твердо верим, что наш искренний призыв не останется без отклика и что многочисленные племена славянские хотя в области науки и литературы войдут друг с другом в общение мысли и возобновят союз племенного и духовного братства! Ждем ответа!»

Будем надеяться, что общество не откажет в сочувствии нашему предприятию...

Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика.

М., 1981. С. 252—255.

И. С. Аксаков — брат К.С. Аксакова, публицист, общественный деятель, журналист-издатель.

¹ «Об издании...» впервые напечатано в журнале «Русская беседа» (1858. Т. 6. Кн. 12. Приложение). Желание издавать газету «Парус» появилось у И.С. Аксакова после закрытия в конце декабря 1857 г. газеты славянофилов «Молва» за публикацию статьи К.С. Аксакова «Публика и народ». Газета «Парус» была, в свою очередь, закрыта на втором номере за требование свободы слова и критику некоторых действий правительства.

² Четверостишье взято из стихотворения П.А. Вяземского «На новый 1828 год».

³ «Русская беседа» (1856—1860) — славянофильский журнал.

⁴ *русины* — так называли славян, живших в Галиции, Буковине, Закарпатье.

⁵ *лужичане* — славяне, жившие на территории Германии.

Н. Г. Чернышевский

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(1828—1889)

Русский человек на *rendez—vous*¹

Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»

«Рассказы в деловом, избличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление».

Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случалось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести — люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные, проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию, которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые святые ожидания.

Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастьем которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба, — для этого Ромео должен только сказать: «Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» и Джульетта прошепчет: «Да...» И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, — это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, — эта рука

холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться, но бледные губы ее не могут улыбаться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, — и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы передо мной виноваты, — говорит он ей; — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чем *она* виновата? Разве тем, что считала *его* порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодяя.

Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу <...>.

Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева <...> Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, — большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро» и «при том же они — честные люди», и не только честные, но и очень смирные и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что

все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч.

<...> Хотя и со стыдом, должны мы признаваться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что недолго уже останется нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его братьям. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные благоразумные граждане, а сами они теперь непригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», — нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объяснено их положение.

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг — она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дожидаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими воспользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были

вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем для вас вопрос о счастии или несчастьи навеки...

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.

М., 1950. Т. 5. С. 156—160, 171—173.

Новые периодические издания²

«Время», журнал политический и литературный, № 1

Из новых периодических изданий, которые должны были возникнуть с начала нынешнего года, особенное ожидание возбуждалось тремя: «Русскою речью», «Веком» и «Временем». «Век» и «Русская речь» — еженедельные газеты; чтобы оценить их надлежащим образом, надобно подождать, пока дадут они по нескольку номеров, судить о них теперь было бы слишком опрометчиво. <...>

Но о «Времени» можем сказать мы уже и теперь, что это издание заслуживает внимания публики. Толстая книга журнала, выходящего раз в месяц, представляет столько материала, что по одному номеру нового журнала не трудно бывает определить его направление и количество сил, каким он располагает для исполнения своей задачи. «Время» ставит одним из главных своих достоинств — независимость от литературного кумовства, дающую ему простор прямо и резко высказывать свои мнения о других периодических изданиях и тех писателях, откровенно рассуждать о которых часто стеснялись другие журналы. Нельзя не сознаться, что у каждого из старых журналов, пользующихся хорошою репутациею, действительно образовались самою силою времени тесные отношения к тем или другим писателям, так что новый журнал не совсем несправедливо присваивает себе в этом случае преимущество. Но мы надеемся доказать «Времени» этою статьею, что и для нас литературное кумовство не имеет особенной драгоценности и уже никак не мешает нам хвалить то, что заслуживает похвалы, — не мешать нам ставить прямодушную правду выше всяких авторитетов <...>

Мы заговорились о первом отделе журнала, между тем как вовсе не думали останавливаться на нем, начав нашу статью с намерением обратить внимание только на второй отдел книжки, только на статьи, собственно так называемые журнальные: критические, библиографические и т.д. Преимущественно ими определяется направление журнала, — и, судя по всему, преимущественно ими должно держаться «Время». В первой книжке оно выдерживает свою программу: тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем. В числе других порядком достается и нам; если бы была у нас склонность претендовать, когда кто судит о нас так же резко, как мы часто судим о других, мы могли бы обидеться (как, без всякого сомнения, уже обиделись многие иные). Но это обстоятельство нисколько не уменьшает нашей склонности поддержать «Время» на том пути прямых и смелых суждений, которым думает оно идти <...>

Впрочем, это все еще нейдет к делу, — а дело наше в том, чтобы несколько познакомить читателей с направлением «Времени». Достигнуть этой цели можно бы двумя способами; во-первых, можно было бы пересмотреть все содержание второго отдела книжки, коснуться всех главных мыслей, развиваемых в нем; но это было бы слишком длинно. Лучше будет взять в пример один вопрос, по взгляду на который легко будет отгадать характер «Времени». Мы берем для этой пробы понятие о так называемой гласности, которую вернее было бы назвать косноязычностью. Всему свету известно, что с русской гласностью, несмотря на юность и невинность этой скромной институтки, а может быть именно по причине ее чрезмерной стыдливости, произошло немало неприличных историй, конфузящих бедняжку до слез. До сих пор ее все еще экзаменуют и находят — не то, что она мало знает и почти ничего не говорит, нет, находят, что она держит себя непристойно и ставят ей дурные баллы за поведение. В образованных странах такого обращения с девицами не допускают нравы, — да и гласность там уже не девица, стыдящаяся всего на свете, робеющая каждого упрека, а очень бойкая дама, которая не даст спуска никому. Там все ее хвалят, потому что она сживает с белого света того, кто вздумал бы хоть заикнуться против нее. У нас не то: всякий норовит обидеть бедную девушку; и сплетница-то она, и нахалка-то она, и скандалезница-то она, — чуть кто посильнее, прямо зажимает ей рот, да еще дает пощечины (это считается хорошим средством примирить с собою, заставить полюбить себя); а кому не доставалась привилегия раздавать по своему усмотрению пинки и зажимать рот неприятному для него существу, тот, по крайней мере, подбивает других на это криками о том, что гласность зазорно держит себя, что надобно обуздать эту гадкую девчонку. Добро бы держали себя так становые и частные приставы, которым, точно, достается иногда от гласности и, надобно сказать, достается с нарушением всякой справедливости, как будто они — уж и в самом деле бог знает как виноваты в наших бедах и неурядицах, когда они-то в сущности еще гораздо невиннее многих. Нет, позорят и подводят под сюркуп нашу жалкую, колотимую всяким встречным и поперечным гласность сами журналисты, которым, по-видимому, следовало бы защищать ее. В общих фразах они действительно превозносят ее; но чуть только явится в печати что-нибудь неприятное какому-нибудь журналисту, он тотчас же начинает толковать о злоупотреблении гласности, о том, что она вышла в этом случае за пределы, в которых бывает полезна и может быть терпима, словом сказать, начинает рассуждать тоном людей, враждебных гласности, и дает им в руки оружие против нее: «вот посмотрите (говорят после таких статей враги гласности), сами писатели находят, что литература слишком своевольничает». <...> «Время» справедливо находит, что разоблачать перед публикою общие черты наших общественных недостатков литература не может, если не станет указывать на частные факты, которыми обнаруживаются общие недостатки; а касаясь частных фактов, она по необходимости должна выставлять и лица, в них участвующие; что с каждым делом неразлучны некоторые случайные ошибки; но что неприлично благородному человеку или рассудительному изданию делать возгласы против самого дела по неудовольствию на мелкие частности его; что если бы когда и подвергалось неосновательному порицанию лицо, бывшее правым, то сама литература не замедлила бы показать факт в истинном виде и дать несправедливо оскорбленному кем-нибудь полнейшее удовлетворение и т. д. Этот благородный и справедливый взгляд проведен через всю собственно журнальную часть первого номера «Времени» с последовательностью,

которой не слишком много примеров представляют наши издания и которая тем больше чести приносит новому журналу.

Сколько мы можем судить по первому номеру, «Время» расходится с «Современником» в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, «Время» так же мало намерено быть сколком с «Современника», как и с «Русского вестника». Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей <...>

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.

Т. 7. С. 949—952, 955—956.

Не начало ли перемены?³

<...> Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе⁴, мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы вспомните, что было кое-что о том же предмете замечено и другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким выставлением других подробностей народной жизни. А г. Успенский заботливо всмотрелся в эту главную черту и дал нам вдоволь полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем другим более разнообразным или живым.

<...> Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ, поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами эту черту народа без всякого смягчения. Да понимал ли он, что делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее, чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными патриотами, а сами принадлежащие к их числу. Ведь г. Успенский выставил нам русского простолюдина простофилю. Обидно, очень обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки объясняет нам ход народной жизни и, к величайшей досаде нашей, ничем другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?

Холодно, странничек, холодно,

Холодно, родименький, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?

Голодно, странничек, голодно,

Голодно, родименький, голодно!

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?

С холоду, странничек, с холоду,

С холоду, родименький, с холоду!

Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?

С голоду, странничек, с голоду,

С голоду, родименький, с голоду!⁵

Жалкие ответы, — слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? — «Жену я бью, потому что рассержен холодом». Да разве жена в этом виновата? — «Я в кабак иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилю. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп <...>

Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, хорошо ли идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет дурно и чем можно поправить ее, скоро ли и легко ли растолкуешь им это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь чье-нибудь дельное толкование, если еще не понимаешь. Вот только об этом мы говорим; только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны, просто сказать, тупоумны...

<...> Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа <...>

Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не

может же навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении. Это все равно, что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение). Ездит, ездит лошадь смиренно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смиренной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки без нескольких таких выходок не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломленные оглобли и усталость самой лошади.

Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы имеем в виду, укажем достославный пример из отечественной истории, именно незабвенный 1812 год, когда были такие удивительные морозы.

<...> Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа Духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука избаловать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного.

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.

Т. 7. С. 873—876, 884.

Письма без адреса⁶

Источником тех затруднений во внутренней жизни русского народа, о которых я упоминал в конце первого письма, считается многими, не только в вашем, милостивый государь, но и в нашем кругу, так называемый крестьянский вопрос.

<...> Крымская война сделала необходимою освобождение крестьян. Связь этих двух фактов такова: военные неудачи обнаружили для всех слоев общества несостоятельность того порядка вещей, в котором оно жило до войны. Я не имею надобности перечислять вам, мил. гос., те силы, которые могуществом своим должны были, по-видимому, обеспечить торжество русского оружия: вам лучше, нежели мне,

известна громадность средств, которыми располагала тогда Россия. Многочисленность наших войск была безмерна; храбрость их несомненна. При тогдашнем непоколебимом и, смею сказать, беспечном до слепоты доверии к нашей денежной системе и к нашим кредитным учреждениям и при нашем порядке установления налогов не могло, по-видимому, быть недостатка в денежных средствах. Потому русское общество нимало не превосходило меру возможного, когда ожидало в начале войны, что мы возьмем Константинополь и разрушим Турецкую империю. Когда война получила совершенно иной ход, этого разочарования нельзя было приписать ничему, кроме непригодности механизма, располагавшего нашими силами. Открылась надобность изменить неудовлетворительное устройство. Самую заметную чертою его считалось тогда крепостное право. Конечно, оно было только одним частным приложением принципов, на которых был устроен весь прежний порядок; но внутренней связи этого частного факта с общими принципами большинство нашего общества тогда еще не понимало. Потому общие принципы прежнего порядка⁷ были оставлены в покое и вся реформационная сила общества обратилась против самого осязательного из его внешних применений.

Надобно заметить вам, м. г., что это настроение общественного мнения страдало самую неудачную непоследовательностью <...> Тяжела была для крепостных крестьян и вредна для государства законная сущность крепостного права. Но она сообразна была всему порядку нашего устройства; потому сам в себе он не мог иметь силы, чтобы отменить ее. А между тем общество предполагало отменить крепостное право силою старого порядка.

Эта ошибка, столь заметная ныне для всех, показывает, что причина, заставившая общество приняться за опыт отмены крепостного права, была недостаточно сильна для возбуждения в обществе совершенно отчетливых понятий об основаниях прежней его жизни. Да и действительно, вы лучше меня знаете, м. г., что Крымская война, при всех своих неудачах и при всей своей обременительности, не нанесла России удара слишком тяжелого.

<...> Англо-французы (как мы тогда называли союзников) прорвали небольшую прореху в нашем платье, и мы думали на первый раз, что надобно только починить ее; но, начав штопать, мы постепенно замечали ветхость материала на всех местах, до которых приходилось нам дотрагиваться; и вот вы видите теперь, милостивый государь, что все общество начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое: штопать оно не хочет. Говоря проще, наше общество, занявшись отменением крепостного права, принялось за дело очень серьезное. Принялось оно за него с легкомысленною и беспечною недалекостью, думая, что отделаться от этой задачи можно столь же незначительными переделками прежних внутренних наших трактатов, сколь ничтожны были переделки прежних дипломатических трактатов, оказавшиеся достаточными для заключения Парижского мира. Но внутреннее дело вышло не таково, как внешнее. Над ним поневоле стало учиться наше общество серьезности. Пришлось обществу много думать, и вы видите теперь, м. г., как широко развивается труд пересоздания, которому первоначально поставлялись такие узкие границы <...>

Крепостное право было создано и распространено властью; всегдашним правилом власти было опираться на дворянство, которое и образовалось у нас не само собою и не в борьбе с властью, как во многих других странах, а покровительством со стороны власти, добровольно дававшей ему привилегии. Почему же власть принималась за отмену той из установленных ею самой привилегий, которою наиболее дорожило дворянство? Ответ уже дан во втором моем письме. Неудачная политика, подвергнувшая страну несчастной войне, доставила силу так называемой либеральной партии, требовавшей уничтожения крепостного права. Таким образом, власть принимала на себя исполнение чужой программы, основанной на принципах, несогласных с характером самой власти.

Из этого разноречия сущности предпринимаемого дела с качествами элемента, бравшегося за его исполнение, должно было произойти то, что дело будет исполнено неудовлетворительно. Источником неизбежной неудовлетворительности был привычный, произвольный способ ведения дела. Власть не замечала того, что берется за дело, не ею придуманное, и хотела остаться полною хозяйкою его ведения. А при таком способе ведения дела оно должно было совершаться под влиянием двух основных привычек власти. Первая привычка состояла в бюрократическом характере действий, вторая — в пристрастии к дворянству.

Дело было начато с желанием требовать как можно менее жертвований от дворянства. А бюрократия по самой сущности своей всего более занимается формалистикою. Поэтому и результат оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений. Этим думают удовлетворить помещиков.

Но тотчас же оказалось, что решение сделано было неудобноисполнимое. Предполагалось сохранить сущность крепостного права, отменив его формы. Но без форм нельзя сохранить и сущности. И что же вышло? Помещики увидели себя не в состоянии пользоваться выгодами, которые были оставляемы за ними; выгоды эти исчезали без всякого вознаграждения для них, потому что власть и не предполагала, чтобы выгоды эти на самом деле исчезали.

А между тем дворянство видело, что власть старалась сделать для него все, что могла. Из этого естественно следовал вывод: итак, власть не в состоянии ничего сделать для сохранения собственности помещиков или для их вознаграждения. И из этого вывода еще легче следовал другой: итак, помещики должны сами позаботиться о сохранении той части собственности, которая может остаться за ними, и о получении вознаграждения за ту часть, которую теряют. А из этого вывода неизбежно следовал третий: но до сих пор помещики держались не собственною силою, а постороннею опорою; теперь, когда прежняя опора оказывается слишком слаба, надобно им отыскать для себя новые опоры. Выбор тут был незатруднителен.

Мы видели, что при начале крепостного вопроса масса других сословий, до которых не касался он прямо, оставалась равнодушна к нему. Но нельзя ей было сохранить равнодушие, когда она увидела развязку, приготовленную бюрократическим решением дела. Крепостные крестьяне не поверили, чтобы обещанная им воля была ограничена теми формальными переменами, какими ограничило ее бюрократическое решение. Из этого повсюду произошли столкновения между крепостными крестьянами и властью, старавшеюся провести свое решение. Произошли сцены, которых нельзя было видеть

хладнокровно. Массою других сословий овладело сострадание к крепостным крестьянам. А между тем крепостные крестьяне, несмотря на все внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно ждать им другой, настоящей воли. От этого их расположения должны будут произойти новые столкновения, если надежда их не исполнится. Таким образом, страна подверглась смутам и опасается новых смут. А смутное время бывает тяжело для всех. Из этого стала развиваться в массе других сословий мысль, что нужно изменить решение крестьянского вопроса для отклонения смут. Раз, будучи принуждены обстоятельствами думать об общественных делах, все сословия, естественно, перешли от частного вопроса, давшего их мыслям такое направление, к общему положению вещей и, разумеется, не затруднились сообразить, согласно ли оно с их собственными выгодами. Тотчас же заметили они, что находятся в настоящем порядке черты, одинаково невыгодные для всех сословий, и соединились в желании изменить эти черты.

Вам известно, м. г., каких общих перемен стали желать все сословия, которых прямо не касался частный вопрос о крепостном праве. Все они чувствовали обременение от произвольной администрации, от неудовлетворенности судебного устройства и от многосложной формалистичности законов. Дворянство точно так же страдало от этих недостатков, как и другие сословия. Таким образом, само собою открывался ему способ найти нужную для него опору. Оно сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий.

Вот в каком положении находятся ныне дела. После сделанных мною объяснений, могу ли я надеяться, м. г., что вы избежите двух заблуждений, последствия которых были бы прискорбны.

Во-первых, м. г., вы не припишете каким-либо частным [или] сословным побуждениям дворянства тех желаний общей реформы, представителем которых оно теперь выступает. <...> Если бы другие сословия имели законные органы для выражения своих мыслей, они высказались бы по этим предметам в том же самом смысле, как и дворянство, только с большею решимостью, потому что всякое другое сословие еще более дворянства чувствует обременительность тех общих недостатков нынешнего устройства, об устранении которых говорит дворянство. Если вы, м. г., спросите купечество или духовенство, мещан или крестьян, или даже массу чиновников (за исключением немногих чиновников, которым нынешний порядок выгоден), вы услышите от каждого из этих сословий те же самые мысли о законодательстве, администрации и суде.

Если бы вы пожелали убедиться в этом, вы отстранили бы от себя всякую возможность другого важного заблуждения. Вы совершенно освободились бы от мысли, что можно принимать какие-нибудь меры против общего стремления, начинающего обнаруживаться. Его проявления кажутся еще слабыми, но ведь это потому только, что они еще первые. Присмотревшись к делу, вы заметите, что сила их очень быстро растет; очень жаль, что, при отдаленности вашей от маленьких людей, вы лишены удобств лично делать эти наблюдения. А мы, — наблюдающие вблизи жизнь всех слоев общества, кроме вашего круга, — мы видим очень быстрое распространение мыслей, о которых я имею честь беседовать с вами, и замечаем, что общество уже недалеко от решительного или единодушного заявления их. <....>

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.

Т 10. С. 93—96, 98—101.

¹ «Русский человек на rendez-vous». Впервые опубликована в журнале «Атеней» (1858. № 18). Статья направлена против нерешительности либералов, у которых слово расходится с делом, в вопросе освобождения крестьян. Такая трактовка повести Тургенева «Ася» могла обидеть Тургенева и, чтобы избежать конфликта в редакции, Чернышевский не опубликовал ее в «Современнике»; rendez-vous — свидание (франц.).

² «Новые периодические издания», впервые опубликовано в «Современнике» (1861. № 1).

³ «Не начало ли перемены?». Первоначально статья напечатана в «Современнике» (1861. № 11). Она посвящена сборнику рассказов из народного быта Н. Успенского.

⁴ «Три-четыре страницы о народе» — имеется в виду рассказ «Обоз».

⁵ Цитируются стихи из поэмы Некрасова «Коробейники».

⁶ «Письма без адреса» — статья предназначалась для № 2 «Современника» (1862), но не была пропущена цензурой. Впервые напечатана в журнале «Вперед!» (1874. Т. 2). Адресат писем — Александр II.

⁷ «Общие принципы прежнего порядка» — самодержавие.

Н. А. Добролюбов

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

(1836—1861)

Литературные мелочи прошлого года¹

<...> Уже несколько лет все наши журналы и газеты трубят, что мгновенно, как бы по мановению волшебства, Россия вскочила со сна и во всю мочь побежала по дороге прогресса, так, что ее теперь даже с собаками не догонишь... Несколько лет уже каждая статейка, претендующая на современное значение, непременно начинается у нас словами: «*В настоящее время, когда поднято столько общественных вопросов*»² и т.д. следует изложение вопросов. Несколько лет уже русская литература льстила обществу,

уверяя, что в нем теперь пробудилось самосознание, раскаяние в своих пороках, стремление к совершенствованию; а русское общество похвалило литературу за то, что она так старается вызолотить горькие пилюли, которые наконец заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и самообольщение — таковы были главные качества *современности* в литературных явлениях последнего времени. Странно сказать это о литературе в то время, когда она из кожи лезла, по собственному признанию, *преследуя и обличая, карая и вырывая с корнем* всякое зло и непотребство на земле русской. Но всмотритесь пристальнее в характер этих обличений, — вы без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся разве только нежности, обнаруженной во взаимных отношениях тех достойных друзей, один из которых у Гоголя мечтает о том, как «высшее начальство, узнав об их дружбе, пожаловало их генералами». «Конечно это плохо, это гадко, безумно, отвратительно», — говорят все обличители, не скупясь на сильные эпитеты, — и вы думаете: вот молодцы-то, вот энергические-то деятели!.. Погодите немножко: это в них говорит Собакевич; но Манилов не замедлит вступить в свои права, и у них тотчас явится и мостик через речку и огромный дом с таким высоким бельведером, что оттуда можно видеть даже Москву.

— Конечно, чиновники берут взятки, но ведь это единственно от недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взятки не будет в России... Невозможно же допустить предположение, чтобы взятки брали и те чиновники, которые по своему чину и месту служения получают хорошие оклады. Нет, как можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками низших судебных инстанций, получающими ничтожное жалованье.

— Просвещение плохо продвигается, — правда. Но ведь вся беда в том только, что в гимназиях учителя и ученики плохи. Но если бы гимназии приготавливали достойных слушателей для наших великих профессоров, да если бы профессора и академики удостоили заняться составлением учебников, — о! тогда у нас мгновенно водворилось бы лучезарное просвещение. «Общества нет в деревне; надобно в город ездить, чтобы увидаться с образованными людьми, — как говорит Манилов. — Но, конечно, если бы соседство близкое, если бы такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку... словом, если бы такой образцовый человек, как вы, Павел Иванович... о! тогда наша деревня и уединение имели бы много приятностей...»

— Ремесленный класс у нас в дурном положении, — жаль. Но это зависит, впрочем, от личности хозяев, и больше ни от чего; надо только запретить хозяевам бить и морить голодом мальчишек, — и ремесленники наши будут блаженствовать.

— Промышленность у нас развивается слабо, торговля не в блестящем положении... Ах, это очень просто: конкуренция слаба, оттого что тариф высок. Пониженный тариф — это универсальная и радикальная мера для развития нашей промышленности и торговли.

[— Мужики живут плохо. Что делать? Мужики, во-первых, грубы и необразованны; а вследствие того, во-вторых, они мало имеют потребностей и неспособны к высшим, деликатным наслаждениям. Они привыкли к своей судьбе и ею довольны; значит, об этом и толковать нечего. Следует только позаботиться об уничтожении *злоупотреблений* их положения.]

— Пропивается сильно русский человек... Это грустное явление... Но ведь тут вся беда оттого происходит, что система винных сборов несовершенно устроена. Стоит завести акциз вместо прежнего откупа (и даже с небольшою надбавкою), и все пойдет отлично.

В таком виде представляются нам почти все русские обличители. Кричат, кричат против каких-то злоупотреблений, каких-то дурных порядков... подумаешь, у них на уме и бог знает какие обширные соображения. И вдруг, смотришь, у них самые кроткие и милые требования; мало этого — оказывается, что они и кричат-то вовсе не из-за того, что составляет действительный, существенный недостаток, а из-за каких-нибудь частных и мелочей.

<...> Преимущественное внимание всех газет и журналов было в прошлом году обращено на крестьянский вопрос. Как же он был ведён в литературе? Далеко не с тем достоинством, какого бы следовало ожидать. Мы не говорим о тех отсталых людях, которые проповедовали *status quo*³ в этом вопросе, как, например, гг. Григорий Бланк, князь Голицын, Николай Безобразов⁴ и т.п. Против них восставали наши же журналы и газеты: в этом надобно отдать литературе полную справедливость. Не говорим и о той неверности, с которою шла разработка вопроса в литературе, то останавливаясь, то начинаясь сызнова, то опять затихая: все это могло быть следствием внешних и случайных причин. Нет, мы предлагаем человеку, истинно любящему народ наш, перебрать *все*, что было в прошлом году писано у нас по крестьянскому вопросу, и, положив руку на сердце, сказать: *так ли* и *о том ли* следовало бы толковать литературе? Вспомним, что у нас долгое время дело стояло на том, что свободный труд производительнее обязательного!.. Да и этой простой истины не хотели понять многие!.. Затем литература все мешалась на том: нужно ли выкупать *душу*, или уж так отпустить на покаяние? Да ведь это не в статьях Григория Бланка, не в «Печатной правде»⁵, — а в «Русском вестнике», например!.. Мы помним, что там было до десятка статей, рассматривавших вопрос с той точки зрения, что получить выкуп за душу было бы *выгоднее для помещика*, нежели не получать!.. На этом основании один господин утверждал даже (в № 14 «Русского вестника», с. 108), что в промышленных губерниях не следует отчуждать даже усадьбы в собственность крестьян, потому что крестьяне-промышленники разбредутся на промыслы, оставив в усадьбах жен своих, и «что же тогда ожидает помещика? Продав в собственность, с выручкою в определенный срок, *положим, даже дорогою ценою (!)* усадебную землю, он *лишится затем* всякого дохода от имения...» ... Так рассуждает в «Русском вестнике» г. *Дмоховский*, и подобных суждений очень много найдется в почтенном журнале, стяжавшем себе заслуженную репутацию прогрессивного и гуманного... Относительно выкупа личности в нем есть одно неподражаемое место, не лишенное, впрочем, некоторого цинизма в выражении; оно находится в проекте г. *Власовского*, который предлагает — прежде всего «*ценность ревизской мужеского пола души с усадьбою и огородом (уж лучше бы огорода с усадьбою и душою!)* определить по губерниям» <...>

Вообще во многих печатных рассуждениях по поводу эманципации мы видим, что рассуждающие, при всем своем желании, не отрешились еще сами от точки зрения крепостного права. Находилось много и таких, которые явно придавали крепостному состоянию значение рабства и во всех своих положениях отправлялись от той мысли, что раб есть вещь... И ведь против этого никто почти не протестовал; крестьяне менее нашли себе защиты у передовых людей наших, нежели евреи. Не говорим уж о том, что писалось в «Журнале землевладельцев», на сочувствие которого постоянно опирались мнения, подобные мнениям г. Головачева⁶. Но переберите другие журналы; в них найдете то же самое. «Атеней» писал (в № 8), что для обеспечения исправного платежа оброка освобождающимися крестьянами необходимо предоставить помещику право наказывать крестьян самому; потому что если он станет жаловаться земской полиции, то, «не говоря уже о недостаточной благонадежности полицейских чиновников, самое вмешательство посторонней власти должно непременно произвести *некоторое расстройство хозяйственных отношений*», невыгодное для помещика (с. 511). Автор, пользующийся почетной известностью⁷ в нашей литературе, не развил в подробности своего мнения, а то, может быть, дело дошло бы и до того, чем впоследствии так прославился князь Черкасский⁸...

Впрочем, действительно, — мысль о помещичьих правах и выгодах так сильна во всем пишущем классе, что как бы ни хотел человек, даже с особенными натяжками, *перетянуть* на сторону крестьян, — а все *не дотянет*. Гуманнейший и дельнейший журнал по крестьянскому вопросу есть, конечно, «Сельское благоустройство». Но посмотрите, с чем же оно выступило на свою работу. В № 1 его за прошлый год помещены были вопросы г. Кошелева, и между ними есть следующий: «Как составить урочные положения? *С согласия ли крестьян или по усмотрению помещиков?*». Как вы полагаете: ведь этот глубокомысленный вопрос, представленный в разделительной форме, предполагает возможность и такого ответа: «Конечно — по усмотрению помещиков, без согласия крестьян»... Правда, что он может предполагать и ответ радикально противоположный... <...>

В таком роде целый год подвизалась наша литература относительно вопросов об освобождении крестьян. Говорим вообще: «литература», потому что приведенные нами примеры представляют — если не точную характеристику прошлогодних рассуждений о крестьянском деле, то, уже во всяком случае, и не исключения... Мы не хотим подбирать более фактов, потому что это очень неприятно; но ежели бы потребовалось, мы могли бы представить не десятки, а сотни указаний на статьи, в которых плантаторская точка зрения, примененная к понятию о праве и *законности*, находилась в совершеннейшем разладе с *духовно-нравственным чувством*, против которого вооружался г. Головачев в «Русском вестнике». Теперь заметим только одно: литература наша только с нынешнего года занялась вопросом о мерах к выкупу земли; в прошлом году почти не тронут был этот вопрос. Вопрос же о предоставлении крестьянам гражданских прав, прежде чем пойдет речь об экономических сделках с ними и по поводу их, — этот вопрос до сих пор еще не поставлен в нашей литературе. А исключивши эти два предмета — о чем же

могла говорить литература, как не о нравственных и хозяйственных ущербах, какие могут потерпеть помещики от освобождения крестьян?..

Добролюбов Н.А. Собр. соч. В 9 т.

М.: Л., 1962. Т. 4. С. 50—95.

Что такое обломовщина?²

<...> По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью, в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — *обломовщина*; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени. <...>

В самом деле — как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего Дела. Бельтов и Рудин, люди с стремлениями действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, стремительной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому, опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей и лезли на дерево — отчасти, чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они исцарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмоглись с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока,

чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло, — не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединилось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнорзости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот мало-помалу дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже — Обломовы в собственном смысле... А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. — Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «Э, да вы все Обломовы!». И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать... «Ай, ай, — не делайте этого, оставьте, — кричат они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. — Помилуйте, ведь мы можем убится, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы делаете?» Но путники уже слышали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам еще есть средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» — повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение.

А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно — Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и нынче живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается — доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в

некоторой части общества не созрело сознание о том, как ничтожны все эти quasi¹⁰-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является перед нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на Мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: *что он делает? в чем смысл и цель его жизни?* — поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало или настает неотлагательно время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова *знамение времени*. <...>

Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушали, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы полюбоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, — они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а впрочем — как там хотят, наше дело — сторона... Пока не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше — можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством — и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурою с необъятными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их...

Теперь загадка разъяснилась,

Теперь им слово найдено¹¹.

Слово это — *обломовщина*.

Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, — я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности *тихого шага* и т.п., я не сомневаюсь, что он Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего мы давно надеялись и желали, — я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, гораздо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неумножающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, — я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...

Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство, — они скажут: «Да как же это так вдруг?». Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать? — Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. <...> Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины.

Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом: «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», — говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово.

<...> Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь — *в настоящее время*, когда и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:

Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штолец. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, — и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, — задвигаются мускулы его, напрягутся жилы намерения преобразуются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот вот

стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!

Не правда ли, образованный и благородно-мыслящий читатель, — ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало) <...>

Добролюбов Н.А. Собр. соч. Т. 4. С. 307—343.

Из письма С.Т. Славугинскому¹²

первая половина марта 1860

Петербург

<...> Мы вот уже третий год из кожи лезем, чтоб не дать заснуть обществу под гул похвал, расточаемых ему Громекой и К^{о13}; мы всеми способами смеемся над «нашим великим временем, когда», над «исполинскими шагами», над бумажным ходом современного прогресса, имеющим гораздо меньший кредит, чем наши бумажные деньги. И вдруг Вы начинаете гладить современное общество по головке, оправдывать его переходным временем (да ведь других времен, кроме переходных, и не бывает, если уж на то пошло), видеть в нем какое-то сознательное и твердое следование к какой-то цели!.. Я не узнал Вас в этой характеристике общества. Я привык находить в Вас строгий и печально-недоверчивый взгляд на всякого рода *надежды и обещания*. А тут у Вас такой розовый колорит всему придан, таким блаженством неведения все дышит, точно будто бы Вы в самом деле верите, что в пять лет (даже меньше: Вы сравниваете нынешний год с прошедшим) с нами чудо случилось, что мы поднялись, точно сказочный Илья Муромец... Точно будто в самом деле верите Вы, что мужикам лучше жить будет, как только редакционная комиссия¹⁴ кончит свои занятия, и что простота делопроизводства водворится всюду, как только выгонят за штат тысячи несчастных мелких чиновников (Вы знаете, что крупных не выгонят)... Нет, Степан Тимофеевич, умоляю Вас, оставьте эти радужные вещи <...> У нас другая задача, другая идея. Мы знаем (и Вы тоже), что современная путаница не может быть разрешена иначе как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хоть в этой части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не

усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — до того, чтобы противно стало читателю все это богатство грязи, и чтобы он задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи «Современника», и «Свисток»...

Добролюбов Н.А. Собр. соч. В 9 т.

М.: Л., 1964. Т. 9. С. 407—408.

¹ Статья «Литературные мелочи прошлого года» критикует либеральную гласность, не касающуюся основ существующего строя. Впервые напечатана в «Современнике» (1859. № 1). Слова, заключенные в квадратные скобки, в журнале были сняты цензурой.

² «В настоящее время, когда» — ироническая фраза, которая пародировала штампы либеральной фразеологии журналистики.

³ Существующее положение (лат.).

⁴ Г. Бланк, кн. С. Голицын, Н. Безобразов — представители реакционного лагеря, выступавшие против освобождения крестьян.

⁵ «Печатная правда» — брошюра крепостнического содержания, ее автором был кн. Голицын.

⁶ А.Г. Головачев — публицист, печатался в «Русском Вестнике», защищал интересы помещиков.

⁷ «Автор, пользующийся почетной известностью» — либерал Б.Н. Чичерин.

⁸ «Прославился князь Черкасский» — князь отстаивал телесные наказания для крестьян после освобождения.

⁹ «Что такое обломовщина?». Впервые опубликована в «Современнике» (1859. № 5). Разбор романа И.А. Гончарова «Обломов» превратился в осуждение либералов, неспособных к действию.

¹⁰ Мнимо (лат.).

¹¹ Перефразированные слова Пушкина:

Ужель загадку разрешила?

Ужели слово найдено? (Евгений Онегин).

¹² «Из письма С. Т. Славутинскому» (Славутинский — сотрудник «Современника»). Впервые опубликовано в сборнике «Огни» (1916. Кн. 1).

¹³ С.С. Громека — либеральный публицист, сотрудник «Отечественных записок».

¹⁴ Комиссия для разработки условий отмены крепостного права, утвержденная царем в 1859 г.

Содержание

Назад • Дальше

Д. И. Писарев

Д.И. ПИСАРЕВ

(1840—1868)

Московские мыслители¹

(Критический отдел «Русского вестника» за 1861 год)

<...> В первой же книжке «Русского вестника» за 1861 год, в статье «Несколько слов вместо современной летописи»² редакция отнеслась очень сурово к тем журналам, «где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедывалась теория, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя» (с. 480). Этих уголовных преступников против законов эстетики и художественной критики редакция «Русского вестника» обещала преследовать со всею надлежащею строгостью. «Мы не откажемся также, — говорит она, — от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести» (с. 484). Не могу удержаться, чтобы в этом месте не заявить «Русскому вестнику» моего полнейшего сочувствия; великие истины понятны и доступны каждому, начиная от развитого деятеля науки и кончая простым, бедным тружеником; ловить беспутных

бродяг и воришек из любви к искусству не согласится не только редактор «Русского вестника», но даже и простой хожалый; даже и тот понимает, что этим искусством надо заниматься в интересе дела, т.е. чтобы подуматься казенный паек и жалование, или в интересе чести, т.е. чтобы дослужиться до унтер-офицерских нашивок. Конечно, редакция «Русского вестника» понимает интересы дела и чести не совсем так, как понимает их хожалый, может быть, даже не так, как понимает их английский полисмен; масштабы не те; между хожалым, сажающим в будку бездомного пьяницу, и русским ученым, издающим уважаемый журнал³ и принимающим на себя, в интересе дела и чести, свою долю полицейских обязанностей в литературе, лежит, конечно, неизмеримое расстояние, неизмеримое до такой степени, что бедный хожалый, не привыкший группировать явления и сортировать их по существенным признакам, никогда не дерзнул бы подумать, что между ним и редактором ученого журнала есть так много общего. Признаюсь, я в этом отношении разделял неведение хожалого; я до сих пор думал в невинности души, что между обязанностями хожалого и занятиями литератора нет ни малейшего сходства.

<...> «Русский вестник» из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь поубийственнее побранить кого-нибудь из литераторов, пишущих в «Современнике»; где можно зацепить полицейскою алебардою двоих или троих разом, там он цепляет; где надо для большей силы обвинения прибавить, там он прибавляет; где надо прикинуться наивным, там он наивничает с неподражаемою естественностью. Почему и для чего он так поступает — не знаю. Что нам за дело до побуждений, руководящих г. Катковым, что нам за дело до степени его искренности? Мы видим результаты; эти же результаты видит общество, испытывающее на себе их влияние в том или в другом направлении; об этих результатах и следует говорить, нимало не пускаясь в психологические изыскания.

Может быть, редакция «Русского вестника» за свои убеждения готова (выражаясь высоким слогом) излить последние капли своей благородной крови, а может быть и то, что она проводит не свои идеи по разным, нелитературным расчетам. В первом случае редакция «Русского вестника» только заблуждается; во втором — она действует неискренно; но в том и другом случае результат выходит один и тот же: под зеленоватою оберткою «Русского вестника» появляются статьи, толкующие вкривь и вкось о таких вопросах, на которых сходятся между собою все сознательно-честные люди в России; эти статьи с насмешкою и с порицанием относятся к стремлениям и к мыслям, выражаемым этими сознательно-честными людьми; с уважением и с подобострастием говорят они о том, что эти люди считают старым хламом; болгаринские тенденции скрываются в этих статьях под неясными терминами и оборотами, которыми любит драпироваться сомнительная ученость людей, не умеющих переварить в своей голове набранный запас сырых материалов и фактов.

<...> Г. Гроту⁴ захотелось бы, чтобы все наши писатели, при спорах между собою, все-таки сулили друг другу лавровые венки и говорили друг о друге в печати таким образом: «Почтенный автор в своей прекрасной статье, которой основную мысль мы, однако, осмелимся найти не вполне справедливою, доказывает со свойственным ему остроумием» и т.д. Да, во время оно, когда писатели говорили между собою таким

языком, уцелевшим теперь только в официальных изданиях ученых обществ, было приятно и душеспасительно заниматься литературой. Теперь обмен сладостей между писателями сделался невозможным; одна часть русских литераторов превратилась, по словам «Русского вестника», в бродяг и воришек; другая, к которой не без самодовольства примыкает «Русский вестник», поступила на службу в литературную полицию.

<...> я дам себе право обратить внимание <...> на то поразительное бессилие, на ту печальную безжизненность, которые обнаруживаются в критике «Русского вестника». У нее есть только один *mot d'ordre*⁵: преследование свистунов⁶; когда она заговорит о свистунах, тогда она сколько-нибудь оживляется, начинает браниться, смеяться принужденным смехом, вздыхать о горькой участи русской литературы. Все эти различные оттенки негодования остаются нам довольно непонятными в своей исходной точке, в побудительной причине; все эти проявления возмущенного нравственного чувства похожи скорее на лирические излияния, чем на солидные выражения продуманных убеждений; в них авторы статей выражают свои собственные чувства и не стараются поднять себя на высоту невозможной и неестественной объективности, которая, как две капли воды, похожа на отсутствие собственного убеждения, на добровольное или вынужденное критическое молчалинство. Там, где речь идет не о свистунах, там критические статьи «Русского вестника» состоят из выписок, из вариаций на эти выписки, из библиографических или биографических указаний и из фраз, более или менее лестных для автора разбираемой книги. Часто в его рецензиях видно много эрудиции, часто они представляют очень тщательный разбор очень мелких фактов, но при этом общая идея автора всегда ускользает от рецензента и никогда не наводит его на критические размышления. Мысль расплывается в бесцветных фразах или задыхается под грудой мелких фактов.

<...> Пора, давно пора кончить. Надеюсь, что нам не придется больше встречаться с «Русским вестником» на поприще журнальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклонностях, что мы можем прожить целый век, не встречаясь между собою, не пробуя до чего-нибудь договориться и не чувствуя ни малейшего желания сблизиться между собою на каком бы то ни было вопросе.

Писарев Д.И. Соч. В 4 т.

М., 1956. Т. 1. С. 274-319.

Пчелы⁷

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазывают и затыкают все отверстия, кроме одной маленькой дырочки, через которую поддерживается сообщение улья с внешним миром. На молодых побегах разных деревьев пчелы находят клейкую массу, и этою-то массой они как можно плотнее законопачивают щели; если в улей вставлено стекло, то они замазывают его, стараясь таким образом сделать свое жилище недоступным не только для внешних врагов, но преимущественно для действия

внешнего света. Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка. Вылетая из улья, пчела является свободным, усердным работником; у себя дома она подавлена, принесена в жертву внешней стройности государственного тела, и потому, чтобы покоряться таким тягостным условиям, чтобы нести безропотно лишения и труды, не пользуясь своею долею наслаждений, ей необходимо *игнорировать* настоящее положение дел, не видеть и не понимать того, как проводят время царица и трутни. Первый луч света пугает работницу, освещая грязь и бедность ее вседневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписывает свое неприятное ощущение не тому зрелищу, которое осветил ворвавшийся луч, а именно самому лучу; она старается устранить его, как мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнение; если любопытный натуралист вставит в улей стеклянное окошечко, его замажут, если он для своих наблюдений вынет замазанное стекло, то в улье начнется волнение при первых лучах света; трутни толпами побегут к отверстию, стараясь закрыть его собственными телами; рабочие полетят за замазкою и начнут заклеивать; внутри улья послышится жужжание, и дела придут в прежнее положение только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будет постоянно прочищать отверстие заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освещение улья будет продолжаться, несмотря на сопротивление всех сословий пчелиного царства, то все дела мало-помалу придут в расстройство. Рабочие перестают работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кормят личинок и не обращают внимание на королеву. Жужжание их усиливается; они собираются в кучки и как будто рассуждают о чем-то, к великому ужасу ториев-трутней и крайнему огорчению царицы, начинающей чувствовать голод и одиночество. Вылетающие рабочие возвращаются без меда, каждая из них сама съедает благоприобретенное имущество; наконец многие из рабочих совершенно покидают улей, начинают жить на просторе, среди цветущей природы, совершенно в свое удовольствие. Королева умирает с голоду, трутни рассеиваются, личинки погибают, и только стены опустелого улья свидетельствуют о недавнем существовании гражданственного или стадного элемента <...>

Пчелы как-то инстинктивно понимают всю важность материальных условий; чтобы развить в молодом существе известные наклонности, чтобы утвердить в нем такие свойства, которые ему придется прикладывать к делу в течение всей своей жизни, они начинают кормить его известною пищею, отводят ему просторное помещение, заботятся о его чистоте, — и цель достигается вполне; из скромного, трудолюбивого, бесстрастного и добродушного пролетария делается гордая, властолюбивая, жестокая к своим соперницам королева, совершенно неспособная работать, но зато чрезвычайно плодовитая и в высшей степени расположенная к чувственным наслаждениям. При своем трезвом мирозерцании пчелы могли бы сделать великие открытия в области естественных наук, но, к сожалению, забота о насущном хлебе поглощает все живые силы мыслящей части пчелиного народа; у пчел нет ни сословия ученых, ни академий, ни университетов; у них нет даже начатков литературы и поэзии. Они не делают даже самых простых выводов из тех фактов, которые находятся постоянно перед их глазами; они не умеют, например, рассуждать таким образом: ведь рабочая личинка может превратиться в королеву, если я буду кормить ее хорошим сытным кормом; ведь королева — то же

самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнее развита; отчего же не кормить всех одинаково, чтобы все могли в равной мере пользоваться жизнью и производить детей? До этого простого рассуждения пчела никак не умеет дойти, вероятно, потому, что спешная работа не дает ей времени пофилософствовать.

Le travail est un frein»⁸, — говорил Гизо⁹ в 30-х годах нашего столетия, и, вероятно, его изречение, которое он великодушно применял к французским ремесленникам, может быть приложено не только к людям, но и к насекомым. Задавленные работою, которая не дает им ни отдыха, ни срока с самой минуты их рождения, пролетарии пчелиного королевства не составляют социальных теорий, не задумываются о смысле жизни, и бытовые формы улья остаются неизменными, незыблемыми и неподвижными. Движения мысли нет; постоянного прогресса незаметно; ни один обычай, ни одно учреждение не оказывается устарелым и не заменяется новым. Но спокойствие в улье сохраняется только тогда, когда припасов достаточно, когда кругом улья лежат цветущие луга, на которых тысячи пчел могут находить себе ежедневно обильную добычу. Как только наступает дождливая осень, как только полевые цветы увядают и осыпаются, так обитатели улья начинают чувствовать беспокойство; являются экономические недоразумения; трутни сталкиваются в своих интересах с пролетариями, и это столкновение ведет к страшным, кровавым результатам, ясно показывающим несостоятельность той конституции, которою управляются пчелы.

Не мешает заметить, что запасы меда, набранные в улье, принадлежат рабочим пчелам, которые горю стоят за свою собственность и не позволяют кому бы то ни было завладеть их экономическими суммами. На это никто и не решается, покуда окрестные луга покрыты цветами; трутни отправляются завтракать и обедать за пределы улья; но, с наступлением осени, такого рода образ жизни становится невозможным; даже рабочие пчелы возвращаются часто в улей с пустым желудком и не приносят на ножках ни меда, ни цветочной пыли; благородные трутни, тяжелые на подъем и не любящие дальних отлучек от родного улья, не находят возможности кормиться и, покружившись над пожелтевшею травою, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда в улье начинаются волнения, смысл которых можно, для большей наглядности, передать в виде совещаний и разговоров между представителями различных сословий, партий и мнений в улье.

Трутни собираются в кучки и с ворчливым жужжанием передают друг другу неутешительные сведения о бесплодии окружающих лугов и еще более неутешительные мнения о том, что при подобном положении дел надо ожидать голодной смерти.

«Мы — привилегированное сословие, — восклицает один из трутней, гордо расправляя крылья. — Мы пользуемся отменным расположением нашей милостивой повелительницы. Работники должны заботиться о нашем пропитании. Это их прямая обязанность; во время летних дней они набрали много меда, и в этом запасе мы должны иметь свою долю. Мы имеем прирожденное право пользоваться общественным достоянием. Теперь, к величайшему сожалению, мы видим, что неразвитая толпа подвергает сомнению наши права. Рабочие пчелы полагают, что запас принадлежит им

одним на том основании, что они одни собирали мед и складывали его в клеточки. Тут они явно выворачивают наизнанку самые элементарные основания логики и права. Эти запасы принадлежат обществу, и наше пчелиное государство имеет право распоряжаться ими по своему благоусмотрению, для покрытия своих насущных потребностей. А разве поддержание нашей жизни и нашего благоденствия не может и не должно быть названо насущною потребностью государства? Разве может существовать улей без трутней, без привилегированного сословия? Запасы принадлежат нам — нам прежде всего. Обеспечив свое существование, мы охотно отдадим часть нашего излишка голодным беднякам-рабочим, но надо же нам сначала утолить свой голод и упрочить за собою продовольствие на будущее время. Пойдемте к королеве, изложим ей наши желания и представим на ее рассмотрение предъявляемые нами права».

Речь предприимчивого оратора приходится по душе слушателям: она соответствует потребностям времени, она разрешает удовлетворительным образом страшный вопрос, поставленный обстоятельствами, вопрос: есть или не есть? — и вследствие этого встречает себе единодушное сочувствие.

Депутаты от благородного сословия трутней отправляются к королеве, и королева не только не съедает их, подобно тому как жители Сандвичевых островов съели европейских парламентариев, но, напротив того, обходится с ними чрезвычайно милостиво и выслушивает с величайшим вниманием их всеподданнейшие прошения. Затем она отвечает им в таком духе, что господам трутням ничего не остается желать.

«Я всегда, — говорит она, окидывая всех присутствующих благосклонным взором, — была убеждена в том, что для прочности и благоденствия государства необходимо существование наследственного сословия пэров; с уничтожением этого сословия распадутся в прах все правительственные основы общества. Вы служили мне верно, вы были привязаны к моей особе, и ваши доблести вполне заслуживают награды. Вы, без всякого сомнения, прежде всех других имеете право пользоваться накопленными запасами. Я, как повелительница ваша, даю вам честное слово: ваши интересы нисколько не пострадают от наступающих бедствий. Не обращайтесь на ропот рабочих пчел; их назначение — работать, и пока они исполняют свое дело с подобающим усердием, я сохраняю в отношении к ним милостивое расположение. Но вы, пэры мои, не должны заботиться о своем пропитании; у вас есть более высокое и благородное призвание; не забывайте этого и предоставляйте мелкие заботы о насущном хлебе низшим существам, менее вас облагодетельствованным дарами природы. В заключение изъясляю вам, господа пэры, искреннее мое благоволение за то, что вы с таким полным доверием обратились к вашей королеве».

Трутни торжествуют и прославляют величие, благодушие и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тем пролетарии, встревоженные увяданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать...

Писарев Д.И. Соч. В 4 т.

М., 1956. Т. 2. С. 98—119.

<О брошюре Шедо-Ферроти>¹⁰

Глупая книжонка Шедо-Ферроти¹¹ сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука, которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от них зависим, мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам.

Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесенное слово. Правительство наше, которое все наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно сослать Михайлова и Павлова¹², сослать-то он их сослал, но, боже мой, чего это стоило его чувствительному сердцу! — Студенту Лебедеву¹³ проломил голову, но правительству тут же сделалось так прискормно, что оно напечатало в газетах объяснение: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножами жандармской сабли.

Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно-прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как-то: печатную гласность. Валуев и Никитенко сооружают газету¹⁴ с либеральным направлением, и при этом продолжают все-таки преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками. Публицист III отделения, барон Фиркс, Шедо-Ферроти тож, по поручению русского правительства пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; великодушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещенного товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официального разрешения, правительство упрочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает свое великодушие. О, как все это тонко, остроумно и политично! А между тем журналам не позволяют разбирать книжонку; Шедо-Ферроти, как в прошлую осень Борис Чичерин, объявляются личностями священными и неприкосновенными. Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподлять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать так же печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружен противник. Наше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но

посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделивают, а того она не видит, за что его отделивают. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены. Подло, глупо и бесполезно! — Заказывая своему наемному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мыслям Шедо-Ферроти, не допускаются к печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное оружие, которым оно могло и хотело бы воспользоваться. Обществу остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева¹⁵. Хорошо, мы и на это согласны: это все отзовется в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова.

Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что, при всей своей щедрости, правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностями. Приятно видеть, что правительство не умеет выбирать себе умных палачей, сыщиков, доносчиков и клеветников; еще приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по-человечески мыслить и чувствовать.

Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена¹⁶, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена как пустого самохвала и как загордившегося выскочку.

Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III отделение не решится убить его. Процесс доказательства идет так: убивают только таких людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подметные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, подымает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун. — Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик. — Во-первых, правительства ежегодно убивают несколько таких людей, которые могли бы остаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого захватили обманом, Михайлов, Обручев, поручик Александров вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство живо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит

жизнью отдельного человека, чтобы казнить и миловать с строгим разбором. Ведь турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархическим неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, по тому же произволу, подослать убийцу? Где Разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений, Чтобы подданные его не знали о своих естественных человеческих правах, надо держать их в невежестве — вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушили субординации, надо действовать насилием — вот еще преступление; чтобы иметь в руках орудие власти — войско надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей — опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступить от убийства. Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова¹⁷, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, истории со студентами — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место. — Если бы наше правительство потихоньку отправило бы Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не нашли бы ничего удивительного те люди, которые знают, что делалось в Варшаве и Казанской губернии. Но допустим даже, что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого еще вовсе не следует, чтобы III отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадною бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом покончить все эти нелепые проделки, Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, подсылавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу не хватило; замолчать тоже не хотелось; ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустить против Герцена книжонку Шедо-Ферроти; родственное сходство между Шедо-Ферроти и сочинителями подметных писем не подлежит сомнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух языках отстаивает перед Россией и перед Европою нравственную чистоту III отделения. Свой своему поневоле друг.

Шедо-Ферроти плохо защитил правительство: он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения известить Герцена или по крайней мере запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена еще более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлетист, силится доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует

с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письмо Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казенным либерализмом и с его пристрастием к III отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богадельню для нравственных уродов и умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферроти. Панегирист III отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе»; в случае отказа он грозит Герцену, что будет издавать свои произведения отдельно с надписью: «Запрещено цензурою Колокола». Вот испугал-то! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Рафаила Зотова, Скарятин, Модеста Корфа и многих других достойных представителей русской вицмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!». Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум», и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны разума противоречит основной идее деятельности Герцена. Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачок, верующий в возможность помирить стремления к лучшему с существованием нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью болтовню. Но теперь, когда все знают, что Шедо-Ферроти наемный агент III отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.

Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот будто бы сравнивает себя с коронованными особами. В этом упреке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником Божиим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе со своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто-нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьезно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чем же Шедо-Ферроти основывает свое обвинение. «Вы убеждены, — пишет он Герцену, — что вы не только либерал, но социалист-республиканец, враг монархическому началу, а поминутно у вас выскакивают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову¹⁸, сказав, что вы не допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил против нас спадассинов¹⁹, вы присовокупляете: «Я бы не сделал этого ни в каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за моря и горы «den Dolch im Gewande»²⁰, и цитируя стих

Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским. Наконец, самые оглавления (заглавия) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности, «Бруты и Кассии III отделения» содержат сравнение с одним из колоссальнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».

Шедо-Ферроти как умственный пигмей и как сыщик III отделения вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придрчивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо-Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.

Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо-Ферроти и Герценом. Шедо-Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признает вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание для того, чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором. — Шедо-Ферроти как адвокат III отделения старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями и что от него должны исходить для Великой, Малой и Белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возможности переворота или, по крайней мере, старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастья.

Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.

Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы долгие терпеть насилие, прикрывающееся устарелой фирмой божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам²¹, правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты²², тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается! Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи,

подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.

То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; и нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы.

Писарев Д.И. Соч. В 4 т.

Т. 2. С. 120—126.

Реалисты²³

(Отрывок)

<...> Реалист — мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом. Из этого определения читатель видит ясно, что реалистами могут быть в настоящее время только представители умственного труда. Конечно, труд тех людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен, но эти люди совсем не реалисты. При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных и железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль. В настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало и не принимает до сих пор никакой определенной формы. Это — туманное пятно, из которого вырабатываются новые миры, но о котором до сих пор решительно нечего говорить. Заниматься с любовью материальным трудом — это в настоящее время почти немыслимо, а в России, при наших допотопных приемах и орудиях работы, еще более немыслимо, чем во всяком другом цивилизованном обществе. Таким образом, самый реальный труд, приносящий самую осязательную и неоспоримую пользу, остается вне области реализма, вне области практического разума, в тех подвалах общественного здания, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли. Что ж нам делать с этими подвалами? Покуда приходится оставить их в покое и обратиться к явлениям умственного труда, который только в том случае может считаться позволительным и полезным, когда прямо или косвенно, клонится к созиданию новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы.

Из всех реалистов только одни естествоиспытатели, раздвигающие пределы науки новыми открытиями, работают для человечества вообще, без отношения к отдельным национальностям и к различным условиям места и времени. Остальные реалисты работают также для человечества, но задачи и приемы их деятельности должны изменяться сообразно с обстоятельствами и приспособляться к потребностям отдельных человеческих обществ. Местные и временные условия нашей русской жизни заявляют свои определенные требования, и русский реалист не может оставлять их без внимания.

Этим требованиям он непременно должен подчинить свою деятельность, если только он не посвятил себя исключительно изучению природы <...>

Чтобы подкреплять и возвышать человеческую личность, умственный труд непременно должен быть полезным, то есть он не только должен быть направлен к известной разумной цели, но он, кроме того, должен достигать этой цели. Реалист не может успокоить себя тою отговоркою, что я, мол, исполнил свой долг, старался, говорил, убеждал, а если не послушали, так, стало быть, и нечего делать. Такие отговорки полезны только для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человека, которому надо во что бы то ни стало получить от самого себя квитанцию в исправном платеже какого-то невещественного долга. А в глазах реалиста такая квитанция не имеет никакого смысла; для него труд есть необходимое орудие самосохранения, необходимое лекарство против заразной пошлости; он ищет себе полезного труда с тем неутомимым упорством, с каким голодное животное ищет себе добычи; он ищет и находит, потому что нет таких условий жизни, при которых полезный умственный труд был бы решительно невозможным. Реалист убеждается в том, что нам прежде всего необходимы знания. Это — великая истина, превратившаяся даже в избитую фразу благодаря тем мудрецам, которые, произнося всевозможные слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалист не останавливается на голой фразе и немедленно выводит из основной идеи все ее практические последствия. Общество нуждается в знаниях, но оно само почти совсем не сознает и не чувствует, до какой степени оно бедно в умственном отношении и до какой степени эта умственная бедность мучительно отзывается во всех подробностях его вседневной жизни. Завалите такое общество превосходнейшими учебниками, переведите для него все лучшие научные сочинения величайших европейских мыслителей — и все это принесет ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и он все-таки не выздоровеет, если не будет принимать ваших лекарств и не захочет исполнять ваши гигиенические предписания. Когда больной считает себя здоровым, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что он жестоко ошибается. Именно таким образом следует поступить и с нашим обществом. Оно не только мало размышляет, но оно даже не имеет никакого понятия о том, что такое деятельность мысли. Лексикон мудреных слов, целые сборники готовых изречений, целые библиотеки игрушечных произведений праздной фантазии — вот весь умственный капитал, обращающийся в нашем обществе, и обладание такими сокровищами во всех отношениях должно считаться более тягостным бедствием, чем самая голая умственная нищета. Мы из каждой дельной мысли выхватываем только ее формальное выражение и к обширному сборнику наших затверженных изречений прибавляем, таким образом, еще новую фразу, из которой улетучивается весь ее жизненный смысл.

Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физических и химических законах, о свойствах воды, воздуха, металлов и различных составных частей почвы? — Ровно никакого. — Знаем ли мы что-нибудь о жизни европейских обществ? — Совсем ничего. — Понимаем ли мы их историю? — Нисколько. — Известно ли нам положение России? — Решительно неизвестно. — И в то же время, при этом круглом невежестве, мы все знаем, мы знаем ужасно много, мы все читаем и обо всем пишем. — Мы знаем, что есть телескоп, микроскоп, химический анализ, жирафа, Александр Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия, кокосовые орехи, эмбриология, коралловые рифы

и многие другие естественные произведения, интересные с той или с другой стороны для исследователей природы. Познания наши по части европейской политики еще более обширны и разнообразны. Мы знаем, что в английском парламенте сидит мистер Геннеси; что Гарибальди сначала подстрелили при Аспромонте, а потом вылечили и простили; что Виктор Гюго живет в Брюсселе и написал новый роман: «Les Misérables»²⁴; что черногорцы — наши братья и дерутся с турками; что фабриканты, машинисты и работники совокупными силами создали чудеса новейшей промышленности, но что, к сожалению, тут поднялся антагонизм сословий, породился пауперизм, а потом явились коммунисты и социалисты, которые еще более перепутали дело; всего же основательнее мы знаем, по рассказам наших путешествовавших соотечественников, что поезда и дебаркадеры железных дорог устроены удобно, что лоретки — женщины пикантные и рулетка — препровождение времени очаровательное, но во многих отношениях изнурительное.

Мы, как видите, знаем чрезвычайно много; всякие собственные имена, всякие специальные слова и технические выражения, все это нам доподлинно известно. Не знаем мы только безделицы, — не знаем тех живых явлений, которые обозначаются этими словами, и не знаем, кроме того, каким образом эти неизвестные нам явления связываются одно с другим. Мы скажем вам, например, что пауперизм — значит бедность, но каковы размеры этого явления, в каких формах оно выражается, откуда оно произошло, почему оно в одной стороне развилось сильнее, чем в другой, — этого мы не знаем, и мы бы даже очень удивились, если бы кто-нибудь заподозрил нас в способности когда-нибудь задать себе такие вопросы и узнать такие запутанные истории. — Что такое Литва? — спрашивает один из обывателей города Калинова в драме «Гроза». — А эта Литва к нам с неба свалилась, — отвечает другой, и любознательность первого гражданина немедленно удовлетворяется этим ответом. — Литва — это народ такой, — ответит себе образованный человек, и также удовлетворится. А ведь в сущности узнать, что неизвестный мне народ называется Литвою, и не Капустою и не Самоваром, это значит только прибавить к своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое же значение имеет каждый голый факт, вырванный из общей картины жизни и поднесенный невзыскательному читателю затейливым составителем журнального или газетного обозрения. А так как наша публика, кроме таких голых реляций, не получает от своих обыкновенных просветителей решительно ничего и так как она даже не знает, чего бы она могла от них потребовать, так как она читает от нечего делать и даже не обращает внимания на свою полную умственную пассивность, то реалист, пристально взглядевшись в эти специально-российские отношения между писателями и читателями, говорит решительно и просто, что общество не знает ровно ничего и не умеет даже отличить живую деятельность мысли от бессознательной игры слов и оборотов. Но реалист должен не только высказать такое суждение, а еще, кроме того, доказать строгую верность и сделать так, чтобы общество увидело и почувствовало справедливость его слов <...>

Труд современных реалистов так же доступен самой слабой женщине, как и самому сильному мужчине. В этом труде нет ничего грубого, резкого и воинственного. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об

этой пользе, надо уничтожать смешные и вредные заблуждения и вообще надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное благосостояние не было устроено в ущерб естественным интересам большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбою каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: *надо думать*.

В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова могут показаться фразою, но что же с этим делать? Нет того слова, которое мы не сумели бы обесмыслить и превратить в пустой звук теми бесцельными и бессознательными повторениями, которые наводняют нашу литературу. А между тем действительно нам надо думать, и нет другого слова, которое яснее и проще выражало бы то, в чем мы нуждаемся в настоящую минуту. Есть такие люди, есть такие книги, которые выучивают нас думать. Надо, чтоб таких людей и книг у нас было как можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будет находить себе поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать те предметы, которые пробуждают человеческую мысль и содействуют успеху ее работы.

<...> Я и теперь, и прежде, и всегда был глубоко убежден в том, что мысль, и только мысль, может переделать и обновить весь строй человеческой жизни. Все то безусловно полезно, что заставляет нас задумываться и что помогает нам мыслить. Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос этот и сам по себе так громаден и так сложен, что на его разрешение требуется вся наличная сила и зрелость человеческой мысли, все напряжение человеческой энергии и любви и весь запас собранных человеческих знаний; излишку оказаться не может, а напротив, оказывается до сих пор громадный недочет, который поневоле будут пополнять рабочие силы следующих столетий <...>

Писарев Д.И. Соч. В 4 т.

М., 1956. Т 3. С. 67—71, 79—80, 105.

¹ «Московские мыслители». Впервые опубликовано в «Русском слове» (1862. № 1, 2). Статья характеризует отношение «Русского слова» к лагерю русской журналистики, возглавлявшемуся в 60-е годы Катковым, его изданиями «Русский вестник» и «Московские ведомости». Писарев разоблачает консервативный характер «Русского вестника», его полицейскую роль в литературе.

² Редакционная статья, принадлежащая Каткову. Цитируемые далее строки взяты из этой статьи (Русский вестник. 1861. № 1).

³ «Русским ученым, издающим уважаемый журнал» — Писарев имеет в виду Каткова, который начинал свою карьеру как ученый-филолог и литературный критик 40-х годов.

⁴ Грот К.Я. — либеральный публицист, филолог, сотрудник «Русского вестника».

⁵ Пароль (*франц.*).

⁶ Свистунами реакционная пресса называла сотрудников «Современника» после появления в нем отдела «Свисток».

⁷ Статья «Пчелы» написана в 1862 г. Впервые напечатана в 1868 г. в IX части прижизненного издания Сочинений Д.И. Писарева.

⁸ Труд — это узда (*франц.*).

⁹ Гизо Ф. — французский историк. В 1847—1848 гг. был главой французского правительства. Защищал интересы финансово-промышленной олигархии

¹⁰ Статья «<О брошюре Шедо-Ферроти>» была написана в 1862 г. и предназначалась для подпольной типографии студента П. Баллода в Петербурге, но при аресте Баллода рукопись оказалась в руках жандармов. Впервые напечатана М.К. Лемке с сокращениями в журнале «Былое» (1906. № 2).

¹¹ Шедо-Ферроти — псевдоним барона Фиркса, агента царского правительства в Бельгии.

¹² Михайлов М.И. — революционер, поэт и публицист, сотрудник «Русского слова» и «Современника»; Павлов П.В. — профессор Петербургского университета.

¹³ Лебедев В.А. — участник студенческих волнений в 1861 г.

¹⁴ Речь идет о газете «Северная почта» (1862). Валуев П.А. — министр внутренних дел, Никитенко А.В. — профессор Петербургского университета, цензор, редактор указанной газеты.

¹⁵ Обручев В.А. — участник революционного движения 60-х годов, сотрудник «Современника».

¹⁶ «Правительство не имеет желания убить Герцена». Брошюра Шедо-ферроти, на которую отвечает Писарев, написана по поводу статьи Герцена «Бруты и Кассии III отделения». В ней Герцен писал о полученном им предостережении о готовящемся на него покушении со стороны русской политической полиции.

¹⁷ Речь идет о расправе над демонстрантами в Варшаве весной 1861 г. и расстреле Антона Петрова, руководителя крестьянского восстания в с. Бездна в 1861 г.

¹⁸ Бруннов Ф.И. — русский посол в Лондоне. Ему была адресована статья Герцена «Бруты и Кассии III отделения».

¹⁹ Спадассины (франц.) — наемные убийцы.

²⁰ «С кинжалом под плащом» (нем.).

²¹ Русское правительство воспользовалось летними пожарами в столице в 1862 г., чтобы обвинить в поджогах революционеров, усилить реакцию.

²² «Два журнала закрыты» — имеются в виду «Современник» и «Русское слово», приостановленные на шесть месяцев в 1862 г.

²³ «Реалисты» — одна из программных статей Писарева. Впервые опубликована в «Русском слове» (1864. № 9, 10, 11) под заглавием «Нерешенный вопрос». Название было изменено цензурой.

²⁴ «Отверженные».

М. Н. Катков

М.Н. КАТКОВ

(1818—1887)

<Из передовых статей «Московских ведомостей» за 1863 г.>

Москва, 12 апреля. Мы называем себя верноподданными. Мы воздаем должный почет Царю как верховному лицу, от которого все зависит и все исходит. Но не в эти ли минуты понимаем мы все значение Царя в народной жизни? Не чувствуем ли мы теперь с полным убеждением и ясностью зиждительную силу этого начала, не чувствуем ли, в какой глубине оно коренится, и как им держится, как замыкается им вся сила народного

единства? Кому не ясно теперь, как дорого это начало для всякого гражданина, любящего свое отечество? В ком живо сказалось единство отечества, в том с равною живостью и силою сказалась идея Царя; всякий почувствовал, что то и другое есть одна и та же всеобъемлющая сила.

Есть в России одна господствующая народность, один господствующий язык, выработанный веками исторической жизни. Однако есть в России и множество племен, говорящих каждое своим языком и имеющих каждое свои обычаи; есть целые страны, с своим особенным характером и преданиями. Но все эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют свое единство с ним в единстве государства, в единстве верховной власти, — в Царе, в живом всеповершающем олицетворении этого единства. В России есть господствующая церковь, но в ней же есть множество всяких исключаящих друг друга верований. Однако все это разнообразие бесчисленных верований, соединяющих и разделяющих людей, покрывается одним общим началом государственного единства. Разноплеменные и разноверные люди одинаково чувствуют себя членами одного государственного целого, подданными одной верховной власти. Все разнородное в общем составе России, все, что может быть исключает друг друга и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит чувство государственного единства. Благодаря этому чувству, Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли. Никакие изменения в нашем политическом быте не могут умалить или ослабить значение этой идеи. Все преобразования, какие совершаются и будут совершаться у нас, могут послужить только к ее возвышению и усилению...

Москва, 22 апреля. Нельзя сказать, чтобы Россия до сих пор поступала слишком стремительно и слишком увлекалась патриотическим пылом своих обитателей. Никак нельзя сказать, чтобы до сих пор наша печать обнаружила чрезмерную раздражительность народного чувства под влиянием тех угроз и оскорблений, которые сыпались на наше общество со всех сторон, в то время когда оно менее, чем когда-либо заслуживало подобного обращения. Увы! напротив, наше равнодушие, наше молчание, наше непоколебимое спокойствие, удивило иностранцев и послужило для них признаком (к счастью обманчивым) нашего полного нравственного упадка.

И в печати, и в законодательных собраниях одним из самых сильных аргументов против нас было то, что Россия будто бы находится теперь в совершенном разложении, что целые классы народонаселения исполнены революционных элементов, что внутри Империи готово вспыхнуть повсеместное восстание, что целые области ежеминутно готовы отложиться, и что при малейшем толчке все это громадное тело рассыплется в прах.

К стыду нашему, иностранцы на этот раз не из ничего сочиняли свои взгляды на Россию: кроме обильного материала, доставлявшегося им польскими агитаторами, иностранцы могли черпать данные для своих заключений и в русских источниках. Никогда, нигде умственный разврат не доходил до такого безобразия, как в некоторых явлениях русского происхождения. Для иностранцев довольно было иметь хотя поверхностное понятие о том, что печаталось по-русски, например, в Лондоне, и знать при том, что весь этот отвратительный сумбур, невозможный ни в какой литературе,

пользовался в России большим кредитом, что русские люди разных сословий пилигримствовали к этим вольноотпущенным сумасшедшего дома, питались их мудростью и возлагали на них надежды в деле обновления своего отечества. До иностранцев доходили слухи о не менее диких явлениях во внутренней русской литературе, развивающейся под благословением цензуры, о состоянии наших учебных заведений, об удивительных проектах перестройки всех существующих отношений, о процветании всевозможных бредней, какие когда-либо и где-либо приходили в голову эксцентрическим и больным умам, и о том, что все эти нелепости не встречали себе сильного противодействия в общественной среде, — и иностранцы заключали, что в этой среде нет ни духа, ни силы, что наш народ вырожден, что он лишен всякой будущности. Стоило любому иностранному наблюдателю, — а таких не могло не быть в канцеляриях разных европейских посольств, — стоило немного прислушаться к тому, что серьезно говорилось в Петербурге, присмотреться к тому, что там делалось вокруг, чтобы вынести полное убеждение в совершенном разложении нашего общественного организма. Мог ли иностранный обозреватель подозревать, что атмосфера, в которой он производил свои наблюдения, есть атмосфера фальшивая? Мог ли он думать, что все это не более как кошмар, сон дурной ночи, причиненный неумеренным употреблением гашиша? Прежде Россия была для иностранного наблюдателя страной загадок, — и действительно ни об одной стране не было столько мифических сказаний, как о России. Но в последнее время наблюдатель считал себя вправе думать, что слово загадки найдено, и что таинственная страна стала ему ясна во всей своей безнадежности. Иностранный наблюдатель крепко уверился, что Россия есть призрак, и должна исчезнуть как призрак. Если же в нем оставалось какое-нибудь сомнение в этом, то оно должно было уступить заявлениям *русских агитаторов*. Наши агитаторы сначала выставляли себя только ожесточенными противниками правительства и пламенными друзьями народа, и обещали ему фантастические благополучия, подобно революционерам всех стран и народов. Иностранный наблюдатель видел в этом явлении более или менее ему знакомое, и не объясняя себе причин, удивлялся только тому, что весь этот вздор в русской цивилизации пользуется кредитом. Но вот теперь дело становится ему яснее и убедительнее. Наши революционеры обнажили перед ним все красоты свои, и он отступает перед этою картиной, со стыдом и омерзением. Он видит перед собою нечто небывалое и неслыханное. В иностранных газетах приводятся избранные красоты из русско-лондонских изданий, в которых еще так недавно, к стыду нашему, многие русские люди слышали призывный голос обновляющейся России, и иностранные публицисты вчуже приходят в негодование, цитируя места из «Колокола», и вчуже до некоторой степени отстаивают, если не нынешнее, то по крайней мере прошлое значение русского народа от нареканий со стороны его собственных вырожденцев. Мало того, что эти вырожденцы перешли открыто в лагерь врагов России, мало того, что они всячески стараются пособлять польскому восстанию и осыпают циническими ругательствами русских, выразивших за границей робкое сочувствие русскому делу подпискою в пользу раненых русских воинов, — они ругаются над русским народом вообще...

Катков М.Н.

Собр. передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. М., 1897.

Ф. М. Достоевский

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

(1821—1881)

Ряд статей о русской литературе.¹

Введение

<...> Нужды нет, что не велика у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов <...> Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то, в строгом смысле, не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом — чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять — чего стоит человек; это сознают и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя и опять-таки нужды нет, что она не велика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позовах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее, духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Это новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новой нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное; всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром. — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу, как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера <...>

И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма. Раздался густой и солидный голос господина Громеки, мелькнули <...> закишели безчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такие поэты,

прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы <...> О, не верьте, не верьте почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахни ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам и смеемся с любовью, что же? Детский возраст, простиительно! <...> Нет, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все от здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. Все хорошие, хорошие признаки!..

Но что мы говорим о гласности! Всегда во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальной дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые преследователи этой же самой идеи, когда она получает преобладающее значение в обществе, не смотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут, наконец, новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограничены, что им серьезно кажется, гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и, таким образом, вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее <...> Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность <...>

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т.

Л., 1978. Т. 18. С. 49—50, 60—62.

¹ Под названием «Ряд статей о русской литературе» было напечатано пять статей, в том числе статья «Г.-бов (Добролюбов) и вопрос об искусстве», разбор программы славянофильской газеты «День» и др. Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1).

Г. З. Елисеев

Г.З. ЕЛИСЕЕВ

(1821—1891)

Хроника прогресса¹

Милостивые государи!

Я молчал три недели, дальнейшее молчание было бы гражданским преступлением.

Вы издаете журнал; не забудьте, издаете во второй половине XIX века, в эпоху сильнейшего развития прогресса, но вы, как я вижу, равнодушны к общественному делу.

Первый № ИСКРЫ меня раздосадовал, второй ожесточил, третий заставил взяться за перо.

На первых страницах вашего журнала СТИШКИ; как разносчики афиш, вы поздравляете читателей с новым годом, стихами высчитываете проценты, вводите в храм поэзии азбуку, мужицкие интересы, бог знает что! — Стыдитесь!

На первом плане должен стоять ПРОГРЕСС!

Требую, чтоб вы начали 5-й № моим письмом, требую во имя общего дела. Мимо вас проходят самые отрадные явления русской жизни, а вы об них умалчиваете. Слепы вы, что ли?

Беру на себя пополнить этот пробел в вашем журнале и впредь буду постоянно сообщать вам краткие, но верные известия о преуспеваниях наших на пути цивилизации.

Писать буду прозой и стихами (форма для меня ровно ничего не значит).

Лавируя по воздвигаемым волнам житейского моря, я умею петь на все лады, начиная от красноречия византийского до витийства канцелярского, включая сюда все три рода слога — возвышенный, средний и подлый.

Стихом я владею, как любовницею. Самое крючковатое уголовное дело сумею ловким стихом выразить и по мере надобности затемнить не хуже любого подьячего.

Посылать вам буду свои и чужие статьи. Когда не будет ничего нового, буду учить вас понимать старое.

Гонорария покуда не хочу никакого. Со временем представлю вам счет.

Имея в виду упоминать в своей Хронике только о друзьях прогресса и человечества, я вовсе не имею желания живым отдаваться в руки врагов успеха и просвещения. Следовательно — тайна! Подписи не будет никакой. Выставить свое имя я не могу, а скрываться под псевдонимом для меня обидно. Отвечайте за меня вы, г. редактор литературной части.

«Примите уверение» — слишком старо и пошло. Прощайте.

Р. S. Предупреждаю читателей ваших: когда не появится в Искре моей Хроники, значит, прогресс подвигается плохо. Если Хроника моя прекратится совсем, пусть разумеют они, что друзья человечества восторжествовали вполне. Тогда уж мне нельзя будет и писать. На первый раз посылаю статейку, подписанную моим хорошим приятелем.

Сборник материалов к изучению
истории русской журналистики
М., 1952. Вып. II. С. 139.

¹ впервые опубликовано в «Искре» (1859. № 5).

В. С. Курочкин

В.С. КУРОЧКИН

(1831—1875)

Жалоба чиновника¹

Человек я хорошего нрава —

Право!

Но нельзя же служить, как известно»

Честно.

Я вполне соглашаюсь, что взятки

Гадки:

Но семейство, большое к тому же,

Хуже.

Точно: можно ходить и в веригах —

В книгах...

А чтоб эдак-то бегать по свету —

Нету!
Рассуждают, награбивши много,
Строго:
Капитал-де от предков имели!
Все ли?
И меня ведь господь не обидел:
Видел,
Как и те, что статейки писали —
Брали.
Так за что ж распекать-то сверх штата
Брата?
Одного ведь отца мы на свете
Дети!

Курочкин В. С. Собр. стихотв. М, 1947. С. 24.

Проницательные читатели²

I

Молодая жена!
Ты «Что делать?» взяла.
Эта книга полна
Всякой грязи и зла.
Брось зловредный роман,
В нем разврат и порок —
И поедем канкан
Танцевать в «Хуторок»!

II

Нет, положительно, роман
«Что делать?» нехорош!
Не знает автор ни цыган,
Ни дев, танцующих канкан,

Алис и Ригольбош.
Нет, положительно, роман
«Что делать?» нехорош!
Великосветскости в нем нет
Малейшего следа.
Герой не щеголем одет
И под жилеткою корсет
Не носит никогда.
Великосветскости в нем нет
Малейшего следа.
Жена героя — что за стыд! —
Живет своим трудом;
Не наряжается в кредит
И с белошвейкой говорит —
Как с равным ей лицом.
Жена героя — что за стыд! —
Живет своим трудом.
Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой!
Не надо новых нам людей
И идеальных этих швей
В их новой мастерской!
Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой!
Нет, положительно, роман
«Что делать?» нехорош!
В пирушках романист — профан,
И чудеса белил, румян
Не ставит он ни в грош.
Нет, положительно, роман

«Что делать?» нехорош!

Курочкин В.С. Собр. стихотворений С. 181—182.

¹ «Жалоба чиновника» впервые опубликована в Искре (1859, № 17).

² «Проницательные читатели» впервые опубликовано в Искре (1863, № 32).

Козьма Прутков

КОЗЬМА ПРУТКОВ¹

Плоды раздумья²

Мысли и афоризмы

Никто не обнимет необъятного.

Усердие все превозмогает!

Многие чиновники стальному перу подобны.

Взирая на высоких людей и на высокие предметы, не излишне поддерживать картуз свой за козырек.

Всегда держись начеку!

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нем пятна.

Козыряй!

Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду.

Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовлетворить.

Не уступай малодушно всеобщим желаниям, если они противны твоим собственным; но лучше, хваля оные притворно и нарочно оттягивая время, норови надуть своих противников.

Начиная свое поприще, не теряй, о юноша! драгоценного времени!

Некоторые образом непостоянства выставляют мужчину, другие женщину; но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими; ибо всего переменчивее петербургская атмосфера.

Питомец рангов нередко портится.

Сочинения Козьмы Пруткова.

М, 1974. С. 122—152.

¹ Козьма Прутков — литературный псевдоним — маска группы литераторов (бр. Жемчужниковы и А.К. Толстой).

² Впервые опубликовано в «Искре» (1860. № 26, 28).

М. Е. Салтыков-Щедрин

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(1826—1889)

Дневник провинциала в Петербурге¹

V

<...> Прибежав домой, я с лихорадочной поспешностью вынул из кармана данную мне Прелестновым рукописную тетрадку и на заглавном листе ее прочитал:

Устав Вольного Союза Пенкоснимателей

Но в глазах у меня рябило, дух занимало, и я некоторое время не мог прийти в себя. Однако ж две-три рюмки водки — и я был уже в состоянии продолжать.

«Устав» разделен на семь параграфов, в свою очередь подразделенных на статьи. Каждая статья снабжена объяснением, в котором подробно указываются мотивы, послужившие для статьи основанием.

«Устав» гласил следующее:

§1. Цель учреждения Союза и его организация

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учебно-литературное общество под названием «Вольного Союза Пенкоснимателей».

Объяснение.

В журнале «Вестник Пенкоснимания», в статье «Вольный Союз Пенкоснимателей перед судом общественной совести», сказано: «В сих печальных обстоятельствах какой исход предстоял для русской литературы? — По нашему посильному убеждению, таких исходов было два: во-первых, принять добровольную смерть, и во-вторых, развиться в «Вольный Союз Пенкоснимателей». Она предпочла последнее решение, и, смеем думать, поступила в этом случае не только разумно, но и вполне согласно с чувством собственного достоинства. Зачем умирать, когда в виду еще имеется обширное и плодотворное поприще пенкоснимания?»

Ст. 2. Никакой организации Союз не имеет. Нет в нем ни президентов, ни секретарей, ни даже совокупного обсуждения общих всем пенкоснимателям интересов, по той простой причине, что из столь невинного занятия, каково пенкоснимание, никаких интересов проистечь не может.

Союз сей — вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно, и эта уступка делается тем охотнее, что в подобном занятии никаких твердых правил установить невозможно.

Объяснение.

В той же статье далее говорится: «Что же такое этот «Вольный Союз Пенкоснимателей», который, едва явившись на свет, уже задал такую работу близнецам «Московских Ведомостей»²? Имеет ли он в виду проведение каких-либо разрушительных начал? Или же представляет собой, как уверяют некоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное законом тайное общество? Мы смело можем ответить на эти вопросы: ни того, ни другого предположить нельзя. Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный элемент; а ежели оно господствует в обществе, то весьма естественно его господство и в литературе. Пенкосниматели всюду играют видную роль, и литература *обязана была* раскрыть им свои двери сколь возможно шире. И она сделала это тем бестрепетнее, что пенкосниматели суть вполне вольные люди, приходящие в литературный вертоград с одним чистым сердцем и вполне свободные от какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организации, о каких-то тайных намерениях — просто смешно. Этим чистым людям самая мысль об организации должна быть противна.

§ 2. О членах Союза

Ст. 1. В члены Союза Пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязует лошадь, почел бы за нужное, рядом фактов, взятых из древности или из истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем «науки».

Объяснение.

Там же: «Чувство, одушевляющее пенкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А так как чувство это доступно всякому, то можно себе представить, как громадно должно быть число пенкоснимателей! Но само собою разумеется, что в тех случаях, когда это чувство является во всеоружии знания и ищет применений в науке, оно приобретает еще большую цену. Хорош пенкосниматель-простец, но ученый-пенкосниматель — еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный и, смеем думать, даже здоровый. Пора, наконец, убедиться, что наше время — не время широких задач и что тот, кто, подобно автору почтенного рассуждения: «Русский романс: Чижик! чижик! где ты был?»

— перед судом здоровой критики», сумел прийти к разрешению своей скромной задачи — тот сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой «широких» задач самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оногo <...>

§ 3. О приличнейшей для пенкоснимательства арене

Ст. 1. Рассеянные по лицу земли, лишённые организации, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность — да послужат российские пенкосниматели на славном поприще российской литературы, которая издревле всем без пороку палящим приют давала!

Объяснение.

Об этом предмете газета «Зеркало Пенкоснимателя» выразилась так: «Где самое сподручное поприще для пенкоснимателя? — очевидно, в литературе. Всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов. Сапожник обязуется шить *непреренно* сапоги, а не подобие сапогов, и, чтобы достигнуть этого, *непреренно* должен знать, как взять в руку шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и нимало не потерять своей репутации. Отсюда ясно, что одна литература может считать себя свободною от обязательства изготовлять работы вполне определенные и логически последовательные. Составленная из элементов самых разнообразных и никаким правилам не подчиненных, она представляет для пенкоснимательства арену тем более приличную, что на оную, в большинстве случаев, являются люди, неискушенные в науках, но одушевляемые единственно жаждой как можно более собрать пенок и продать их по 1 к. за строчку».

§ 4. Об обязанностях членов Союза

Ст. 1. Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Объяснение.

В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Странный вы человек, читатель! Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, с одной стороны, нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем?!» Об этом же предмете, в еженедельном издании «Обыватель Пенкоснимающий», в статье «Отповедь «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице»» (служащей ответом на предыдущую статью), сказано: «С одной половиной этой мысли мы имеем полную готовность согласиться весьма безусловно. Что ж делать! Старейшая наша Пенкоснимательница всегда имеет такие мысли, что лишь половина оных надлежащую здравость имеет, другая же половина или отсутствует, или идет навстречу первой, как два столкнувшиеся в лоб поезда железной дороги, нечаянно встречающиеся. Итак, если мы положим руку на сердце, то оно скажет нам, что мы действительно истинно здравых понятий о вещах в своем яснопостижении обладать не можем. Это так. Но чтобы за сие нас ожидала какая-то административная кара — это никогда!! Это не есть в пределах возможности!!».

Второе. По наружности иметь вид откровенный, и даже смелый, внутренне же трепетать.

Объяснение.

В газете «Зеркало Пенкоснимателя» говорится: «Одно из величайших затруднений для успехов пенкоснимательства в будущем заключается в следующем. Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? — в этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренне трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагали бы нелишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т.д. Примененные к делу пенкоснимательства, эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проникательный».

Третье. Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городскими на виду блях надлежит действовать с такою настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение.

Объяснение.

Газета «Истинный Российский Пенкосниматель» выражается по этому поводу так: «В сих затруднительных обстоятельствах литературе ничего не остается более, как обличать городских. Но пусть она помнит, что и эта обязанность не легкая, и пусть станет на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не в праве идти ни на какие сделки и, напротив того, должна высказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести в действие по другим вопросам».

Четвертое. Рассуждая о современных вопросах, стараться, по возможности, сокращать их размеры.

Объяснение.

В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Наклонность расплываться и захватывать вширь истари была самым важным, так сказать, органическим нашим недостатком. Рассматривая, например, поступок городского бляха № 000, мы никак не упустим, чтобы не зацепить по дороге и весь почтенный институт городских. Понятно, какое раздражение должен породить подобный неосновательный образ действий не только в гг. городских, но и в гг. участковых и околоточных надзирателях, их непосредственных начальниках. Поэтому, ввиду благодетельного поворота нашей литературы в смысле пенкоснимательства, мы не обинуясь и во всеуслышание говорим: не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхе № 000, но не

касайтесь института. *Silenzio! Prudenzia!*³ — как поют хористы в итальянской опере. Не раздражайте».

Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь. Но как при сем легко впасть в ошибку, то есть выдать славное за неславное и наоборот, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объяснение.

«Обыватель Пенкоснимающий» выражается так: «С тех высот, на коих мы находимся, полезно, хотя бы и с головокружением, взглядывать на путь, который уже пройден нами. Оглянемся — и что ж увидим? Увидим бездну, в которой многое и прекрасно и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть может, и не столь своевременно. Но назовем ли мы прекрасное безусловно прекрасным, а несвоевременное безусловно несвоевременным? Нет, мы остережемся от такого опрометчивого поступка, омрачающего нашу совесть! Ибо мы не знаем, действительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаем прекрасным для себя. Мы опасаемся, как бы не назвать прекрасным то, что для читателя совсем не есть потребно, и непотребным то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковым, если бы не внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токквилья: «*L'ancien regime et la Revolution*»⁴). И если бы кто-нибудь взял на себя труд заверять нас, что все сие есть бессмыслица, то мы на сие ответствовали бы: «судите сами! Мы же, с божьей помощью, и впредь таковое намерены говорить!» На эту заметку «Зеркало Пенкоснимателя» возражало: «Из целого леса бессмыслиц, которыми переполнена заметка почтенной газеты, выделяется только одна светлая мысль: нужно обращать внимание русского общества на пройденный им славный путь, но не следует делать никакой критической оценки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно, трудно угадать, кому из подписчиков нравится арбуз, а кому — свиной хрящик».

Шестое. Обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше <...>

Осьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось. <...>

Девятое. Опасаться вообще.

Объяснение.

В той же газете говорится: «Как ни величественно зрелище бури, уничтожающей все встречающееся ей на дороге, но от этой величественности нисколько не выигрывает положение того, кто испытывает на себе ее действие. Вот почему благоразумные люди не вызывают бурь, а опасаются их: они знают, что стоит подуть жестокому аквилону — и их уж нет! Мы советуем нашим противникам подумать об этом, и ежели они последуют нашему совету, то, быть может, поймут, что роль пенкоснимателя (то есть человека опасющегося по преимуществу) далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда. В этой роли есть даже много трагического». <...>

§ 6. Что сие означает?

Ст. 1. Вопрос этот ближе всего разрешается «Старейшею Всероссийскою Пенкоснимательницею», которая, задавшись вопросом: «во всех ли случаях необходимо приходиться к каким-либо заключениям?» — отвечает так: «Нет, не во всех. Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы то ни стало требует логического вывода. Заключения, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются *ex abrupto*⁵ и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу на шести столбцах и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не в праве поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходиться?»

§ 7. Цель учреждения Союза и его организация*

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учебно-литературное общество под названием «Вольный Союз Пенкоснимателей».

.....

Я кончил. Не знаю, как это случилось, но едва я успел дочитать последнее слово «Устава», как мной овладел глубочайший сон.

В этом сне я пробыл до тех пор, когда пробил час ехать к Прелестнову. Что происходило потом — до следующей главы.

VI

«Так вот вы каковы! — думалось мне, покуда я шел к Прелестнову, — заговорщики! почти что революционеры!»

Вот к чему привело классическое образование! вот что значит положить в основание дальнейшей деятельности диссертацию «Гомер как человек, как поэт и как гражданин»! Ум, векую шатающийся, ум, оторванный от действительности, воспитанный в преданиях Греции и Рима, может ли такой ум иметь что-нибудь другое в виду, кроме систематического, подрывающего основы общественности, пенкоснимательства?

А что, ежели они... да с оружием в руках! Страшно подумать! А мы-то сидим в провинции и думаем, что это просто невинные люди, которые увидят забор — поют: забор! забор! увидят реку — поют: река! река! Как бы не так — «забор»! Нет, это люди себе на уме; — это люди, которые в совершенстве усвоили суворовскую тактику. «Заманивай! заманивай!» — кричат они друг другу, и все бегут, все бегут куда глаза глядят, затылком к опасности!

И как хитро все это придумано! По наружности, вы видите как будто отдельные издания: тут и «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», и «Истинный Российский Пенкосниматель», и «Зеркало Пенкоснимателя», а на поверку выходит, что все это одна и та же сказка о белом бычке, что это лишь рубрики одного и того же

ежедневно-еженедельно-ежемесячного издания «Общероссийская Пенкоснимательная Срамница»! Каков сюрприз!

Но этого мало. Мало того, что родные братья притворяются, будто они друг другу только седьмая вода на киселе, — посмотрите, как они враждуют друг с другом! «Мы, — говорит один, — и только одни мы имеем совершенно правильные и здравые понятия насчет института городских, а вам об этом важном предмете и заикаться не следует!» — «Нет, — огрызается другой, — истинная компетентность в этом деле не на вашей, а на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабжении городских свистками — а вы, где были вы, когда мы предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осмеливаетесь утверждать, что мы не имеем сказать ничего плодотворного по вопросу о городских! Но мы отдаем наш спор на суд публики и ей предоставляем решить, какого названия заслуживает взводимая на нас нахальная ложь!»

Читая эти вдохновенные речи, мы, провинциалы, задумываемся. Конечно, говорим мы себе, эти люди невинны, но вместе с тем как они непреклонны! посмотрите, как они козыряют друг друга! Как они способны замучить друг друга по вопросу о выеденном яйце!

Обман двойной! во-первых, они не невинны; во-вторых, совсем не непреклонны, и ежели затеяли между собой полемику, то единственно, как говорится, для оживления своих столбцов и страниц.

Невинны! на чем основано это мнение? На том ли, что все они славословят, и поют хвалу? На том ли, что все в одно слово прорицают: тише! не расплывайтесь! не заезжайте! не раздражайте?! Прекрасно. Я первый бы согласился, что нет никакой опасности, если бы они кричали «тише!» — каждый сам по себе. Но ведь они кричат все вдруг, кричат единогласно — поймите это, рада Христа! Ведь это уж скоп! Ведь этак можно с часу на час ожидать, что они не задумаются кричать «тише!» — с оружием в руках! Ужели же это не анархия?!

Да; это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убедились, что с ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащих: тише! — взглянуть оком подозрительности?! чтобы даже в них усмотреть наклонности к каким-то темным замыслам, в них, которые до сих пор выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться друг в друга по поводу выеденного яйца!

Что же касается до непреклонности, то мне невольно припомнилось, как в былое время мой друг, Никодим Крошечкин, тоже прибегал к полемике «в видах оживления столбцов издаваемой им газеты».

То было время господства «Британии» и эстетических споров. Никодим редактировал какую-то казенную газету, при которой, для увеселения публики, имелся и литературный отдел. На приобретение материала для этого отдела Никодиму выдавалась какая-то неизмеримо малая сумма, с помощью которой он и обязывался три дня в неделю «оживлять столбцы газеты». <...> Бился он, бился — и вдруг нашел. К величайшему удивлению, мы стали замечать, что Никодим ведет газету на славу, что «столбцы ее оживлены», что в ней появилась целая стая совершенно новых сотрудников, которые неустанно ведут между собой живую и даже ожесточенную полемику по поводу

содержания московских бульваров, по поводу ненужности посыпания песком тротуаров в летнее время и т.д. Заинтригованные в высшей степени, мы всем хором приступили к Никодиму с вопросом: что сей сон значит? — И что ж оказалось! — Что он, Никодим, просто-напросто полемизирует сам с собою! Что он в одном своем лице соединяет и Корытникова, и Иванова, и Федула Долгомостьева, и Прохожего, и Проезжего и т.д. <...>

И вот теперь, когда я ближе ознакомился с «Уставом Вольного Союза Пенкоснимателей» и сопоставил начертанные в нем правила с современною литературною и журнальною действительностью, я не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это Никодим! это он, под разными псевдонимами полемизирующий сам с собою! <...>

IX

<...> Бродя в тоске по комнате, я припоминаю, что меня, между прочим, обвиняли в пропаганде идеи оспопрививания, — и вдруг обуреваюсь желанием высказать гласно мои убеждения по этому предмету.

«Напишу статью, — думал я; — Менандр тиснет, а при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет. Тогда сейчас оттиск в карман — и в суд. Вы меня обвиняете в пропаганде оспопрививания — вот мои убеждения по этому предмету! они напечатаны! я не скрываю их!».

Задумано — сделано. Посыльный летит к Менандру с письмом: «Любезный друг! ты знаешь, как горячо я всегда принимал к сердцу интересы оспопрививания, а потому не желаешь ли, чтоб я написал для тебя об этом предмете статью?». Через час ответ: «Ты знаешь, мой друг, что наша газета затем, собственно, и издается, чтобы распространять в обществе здравые понятия об оспопрививании! Пиши! сделай милость, пиши! Статья твоя будет украшением столбцов» — и т.д.

Стало быть, за перо! Но тут, на первых же порах — затруднение. Некоторые полагают, что оспопрививание было известно задолго до Рождества Христова, другие утверждают, что *не* задолго, третьи, наконец, полагают, что открытие это сделано лишь после Рождества Христова. Кто прав, — до сих пор неизвестно. Опять мчится посыльный к Менандру: следует ли упоминать об этом в статье? *Через час* ответ: следует говорить обо всем. И о том, что было до Рождества Христова, и о том, что было по Рождестве Христове, и о том, что неизвестно. Потому что статья будет выглядеть солиднее. <...>

<...> К трем часам моя работа была уж готова и отослана к Менандру с запросом такого содержания: «Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делия? Кажется, теперь самое время для подобных статей!». Через час ответ: «Сделай милость! Твое сотрудничество драгоценно, потому что ты один знаешь, когда, что и как сказать. Все пенкосниматели в эту минуту в сборе в моей квартире и все в восторге от твоей статьи. Завтра, рано утром, «Старейшая Русская Пенкоснимательница» будет у тебя на столе *с привитою оспою*».

Опять в руки перо — и к вечеру статья готова. Рано утром на другой день она была уже у Менандра с новым запросом: «Не написать ли еще статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?». Кажется, теперь самое время!» К полудню — ответ: «Сделай милость! присылай скорее!»

Таким образом в течение семи дней, кроме поименованных выше статей, я сочинил еще четыре, а именно: «Геморрой — русская ли болезнь?», «Нравы и обычаи летучих мышей», «Единокровные и единоутробные перед лицом римского законодательства» и «Несколько слов о значении и происхождении выражения: гомерический смех». На восьмой день я занялся собиранием материалов для двух других обширных статей, а именно: «Церемониал при погребении великого князя Трувора» и «Как следует понимать легенду о сожжении великою княгиней Ольгою древлянского города Коростеня?». Статьи эти я полагал поместить в «Вестнике Пенкоснимательства», снабдив их некоторыми намеками на текущую современность.

Во всех семи напечатанных статьях моих оказалось четыре тысячи строк, за которые я получил, считая по пятиалтынному за строку, шестьсот рублей серебрцом-с! Да ежели еще «Вестник Пенкоснимательства» рублей по двести за лист отвалит (в обеих статьях будет не менее десяти листов) — ан сколько денег-то у меня будет?

Я упивался моей новой деятельностью, и до того всецело предался ей, что даже забыл и о своем заключении, и о том, что вот уж десятый день, а никто меня никуда не требует и никакой резолюции по моему делу не объявляет. Есть нечто опьяняющее в положении публициста, исследующего вопрос о происхождении Делии. И хочется «пролить новый свет», и жутко. Хочется сказать: нет, г. Сури (автор статьи «La Delia de Tibulle»⁶, помещенной в «Revue des deux Mondes»⁷ 1872 года), вы ошибаетесь! — и в то же время боишься: а ну, ежели я сам соврал? А соврать немудрено, ибо что такое, в сущности, русский публицист? — это не что иное, как простодушный обыватель, которому попала под руку «книжка» (всего лучше, если маленькая) и у которого есть твердое намерение получить по пятиалтынному за строчку, Нет ли на свете других таких же книжек — он этого не знает, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись под руку «другие» книжки, они только собьют его с толку, загроздят память материалом, с которым он никогда не справится, — и статьи не выйдет никакой. То ли дело — «одна книжка»! Тут остается только прочесть, «смекнуть» — и ничего больше. И вот он смекает, смекает — и чем больше смекает, тем шире становятся его горизонты. Наконец статья, с божьей помощью, готова, и в ней оказывается двенадцать столбцов, по пятидесяти строчек в каждом. Положите-ка по пятиалтынному-то за строчку — сколько тут денег выйдет!

Одно опасно: наврешь. Но и тут есть фортель. Не знаешь — ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой. «Некоторые полагают», «другие утверждают», «существует мнение, едва ли, впрочем, правильное» — или «по-видимому, довольно правильное» — да мало ли еще какие обороты речи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли «существует мнение», что оспoprививание было известно задолго до Рождества Христова? Ну, было известно — и Христос с ним!

Или еще фортель. Если стал в тупик, если чувствуешь, что язык у тебя начинает коснеть, пиши смело: об этом поговорим в другой раз — и затем молчок! Ведь читатель не злопамятен; не скажет же он: а ну-ко, поговори! поговори-ка в другой-то раз — я тебя слушаю! Так это дело измором и кончится...

Итак, работа у меня кипела. Ложась на ночь, я представлял себе двух столоначальников, встречающихся на Невском.

— А читали ли вы, батюшка, статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?» — спрашивает один столоначальник.

— Еще бы! — восклицает другой.

— Вот это статья! какой свет-то проливает! Директор у нас от нее без ума. «Дочери! говорит, дочери прикажу прочитать!»

Сердце мое начинает играть, живот колыхается, и все мое существо наполняется сладким ликованием... <...>

XI

<...> «Хищник» — вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека⁸. «Хищник» проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится... Но кроме того, что для общества, в целом его составе, подобная непрерывающаяся тревога жизни невыносима, — даже те отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя затынутыми в водоворот ее, не могут отнестись к ней как к действительной цели жизни. «Хищник» несчастлив, потому что если он, вследствие своей испорченности, и не может отказаться от тревоги, то он все-таки не может не понимать, что тревога, в самом крайнем случае, только средство, а никак не цель. Допустим, что он неразвит, что связь, существующая между его личным интересом и интересом общим, ускользает от него; но ведь об этой связи напомним ему сама жизнь, делая тревогу и озлобление непременным условием его существования. «Хищник» — это дикий в полном значении этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Но так как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться; так как, с другой стороны, и «хищников» развелось не мало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накопиться в этих вечно алчущих сердцах. Самое торжество «хищника» является озлобленным. Он достиг, он Удовлетворен, но у него, во-первых, есть еще нечто впереди, и, во-вторых, есть счета сзади...

Но масса тем не менее считает «хищников» счастливыми людьми и завидует им! Завидует, потому что это тот сорт людей, который, в настоящую минуту, пользуется наибольшей суммой внешних признаков благополучия. Благополучие это выражается в известной роскоши обстановки, в обладании более или менее значительными суммами денег, в легкости удовлетворения прихотям, в кутежах, в разврате... Массы видят это и сгорают завистью. Но стоит только пристальнее взглянуть на эти так называемые «удовольствия» хищников, чтоб убедиться, что они лишены всякого увлечения, всякой искренности. Это тяжелые и мрачные оргии, в которых распутство служит временным, заглушающим противовесом той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая необходимо окрашивает жизнь, не видящую ни оправдания, ни конца для своих тревог.

⁸

За «хищником» смиренно выступает чистенький, весь поддернутый «пенкосниматель». Это тоже «хищник», но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в котором «сладкая привычка жить» заслонила все прочие мотивы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачи. Это бессовестный человек, не потому, чтобы он сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести.

«Хищник» проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества. <...>

Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. В 20 т.
М, 1970. Т. 10. С. 389—401, 490—492, 551—553.

За рубежом²

I

<...> Между Бромбергом и Берлином я заснул и видел чрезвычайно странный сон. Снилось мне, что я очутился в самой, простой немецкой деревне и встретил 7—8-летнего крестьянского мальчика... в штанах! Никогда этого со мной не бывало. Много ездил я по нашим деревням, много видал в них крестьянских мальчиков — и всегда без штанов. Бежит кудластый мальчѐнко по деревенской улице, а ветер так и раздувает подол его замазанной рубашенки. Или шлепает мальчѐнка босыми ногами по грязи, или, заворотив подол, сидит в луже и играет камешками... ах, бедный! А тут, в немецкой деревне, ни грязи, ни традиционной лужи — ничего такого не видал, да вдобавок еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманил мальчика и вступил с ним в разговор,

— Скажи, немецкий мальчик, — спросил я, — ты постоянно ходишь в штанах?

— Когда я в первый раз без посторонней помощи прошелся по комнате нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь к моему почтенному отцу, сказала следующее: «Не правда ли, мой добрый Карл, что наш Фриц с нынешнего дня достоин носить штаны?». И с тех пор: я расстаюсь с этой одеждой только на ночь.

Мальчик высказал это солидно, без похвальбы и без всякого глумления над странностью моего вопроса. По-видимому, он понимал, что перед ним стоит иностранец (кстати, ужасно странно звучит это слово в применении к русскому путешественнику; до крайней мере мне большого труда стоило свыкнуться с мыслью, что я где-нибудь могу быть... иностранцем!), которому простительно не знать немецких обычаев.

— Изумительно! — воскликнул я, — и ты не боишься запачкать штаны в грязи? ты решаешься садиться в них в лужу?

— Вопрос ваш до крайности удивляет меня, господин! — скромно ответил мальчик, — зачем я буду пачкаться в грязи или садиться в лужу, когда могу иметь для моих прогулок и игр сухие и удобные места? А главное, зачем я буду поступать таким образом, зная, что это огорчит моих добрых родителей?

— Великолепно! Но знаешь ли ты, немецкий мальчик, что существует страна, в которой не только мальчики, но даже вполне совершеннолетний камаринский мужик — и тот по улице бежит?

— Я еще не учился географии и потому не смею отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин!

— Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя с одним из таких мальчиков.

— Господин! вы в высшей степени возбудили во мне любопытство! Конечно, мне следовало не иначе принять ваше предложение, как с позволения моих добрых родителей; но так как в эту минуту они находятся в поле, и сверх того мне известно, что они тоже очень жалостливы к бедным, то надеюсь, что они не найдут ничего дурного в том, что я познакомлюсь с мальчиком без штанов. Потому, если вы можете пригласить сюда моего бедного товарища, то я весь к его услугам.

Тогда по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении, где всякие волшебства дозволяются) в немецкую деревню врывается кудластый русский мальчик, в длинной рубахе, подол которой замочен, а ворот замазан мякинным хлебом. И между двумя сверстниками начинается драматическое представление под названием:

Мальчик в штанах и мальчик без штанов

Разговор в одном явлении

(Эта пьеса рекомендуется для детских спектаклей)

Театр представляет шоссированную улицу немецкой деревни. **Мальчик в штанах** стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете, не огорчая своих родителей. Внезапно в средину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, из которой выпрыгивает **Мальчик без штанов**.

Мальчик в штанах (*конфузаясь и краснея, в сторону*). Увы! иностранный господин сказал правду: он без штанов! (*Громко.*) Здравствуйте, **Мальчик без штанов!** (*Подает ему руку.*)

Мальчик без штанов (*не обращая внимание на протянутую руку*). Однако, брат, у вас здесь чисто!

Мальчик в штанах (*настойчиво*). Здравствуйте, **Мальчик без штанов!**

Мальчик без штанов. Пристал, как банный лист... Ну, здравствуй! Дай оглядеться сперва. Ишь ведь как чисто — плюнуть некуда! Ты здешний, что ли?

Мальчик в штанах. Да, я мальчик из этой деревни. А вы — русский мальчик?

Мальчик без штанов. Мальчишко я. Постреленок.

Мальчик в штанах. Постреленок? что это за слово такое?

Мальчик без штанов. А это, когда мамка ругается, так говорит: ах, пострели те горой! Оттого и постреленок!

Мальчик в штанах (*старается понять и не понимает*).

Мальчик без штанов. Не понимаешь, колбаса? еще не дошел?

Мальчик в штанах. Вообще многое, с первого же взгляда, кажется мне непонятным в вас, русский мальчик. Правда, я начал ходить в школу очень недавно, и, вероятно, не все результаты современной науки открыты для меня, но, во всяком случае, не могу не сознаться, что ваш внешний вид, ваше появление сюда среди лужи и ваш способ выразаться сразу повергли меня в величайшее недоумение. Ни мои добрые родители, ни почтеннейшие наставники никогда не предупреждали меня ни о чем подобном... И, во-первых, с позволения вашего, объясните мне, отчего вы, русский мальчик, ходите без штанов?

Мальчик без штанов. Изволь, немец, скажу. Но прежде ты мне скажи, отчего ты так скучно говоришь?

Мальчик в штанах. Скучно?

Мальчик без штанов. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило.

Мальчик в штанах. Я говорю так же, как говорят мои добрые родители, а когда они говорят, то мне бывает весело. И когда я говорю, то им тоже бывает весело. Еще на днях моя почтенная матушка сказала мне: когда я слышу, Фриц, как ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!

Мальчик без штанов. А у нас за такой разговор камень на шею, да в воду. У нас по всей земле такой приказ: разговор чтоб веселый был!

Мальчик в штанах, (*испуганно*). Позвольте, однако ж, русский мальчик! Допустим, что я говорю скучно, но неужели это такое преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни?

Мальчик без штанов. «Справедливо»! Эк куда хватил! Нужно, тебе говорят; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчик в штанах (*хочет понять и не понимает*).

Мальчик без штанов. У нас, брат, без правил ни на шаг. Скучно тебе — правило; весело — опять правило. Сел — правило, встал — правило. Задуматься, слово молвить — нельзя без правила. У нас, брат, даже прыщик и тот должен почесаться прежде, нежели вскочит. И в конце всякого правила или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов, *по правилу*, хожу. А тебе в штанах небось лучше?

Мальчик в штанах. Мне в штанах очень хорошо. И если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру, как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение. И, разумеется, употребил бы все меры, чтоб вновь возратить их милостивое ко мне расположение!

Мальчик без штанов. Сопляк ты — вот что!

Мальчик в штанах. И этого я не понимаю.

Мальчик без штанов. Дались тебе эти родители! «Добрая матушка», «почтеннейший батюшка» — к чему ты эту канитель завел! У нас, брат, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля променял! Вот так раз!

Мальчик в штанах (*в ужасе*). Ах, нет! это невозможно!

Мальчик без штанов (*поняв, что он слишком далеко зашел в деле отрицания*). Ну, полно! это я так... пошутил! Пословица у нас такая есть, так я вспомнил.

Мальчик в штанах. Однако, ежели даже пословица... ах, как это жаль! И как бесчеловечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках! (*Планет.*)

Мальчик без штанов. Завыл, немчура! Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба родятся? Ехал я давече в луже по дороге — смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие суслоны наворочены!

Мальчик в штанах. Я думаю, это оттого, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Никто не пугает нас, никто не заставляет производить такие действия, которые ни для чего не нужны. Было время, когда и в нашем прекрасном отечестве все жители состояли как бы под следствием и судом, когда воздух был насыщен сквернословием и когда всюду, где бы ни показался обыватель, навстречу ему несся один неумолимый окрик: куда лезешь? не твое дело! В эту мрачную эпоху головы немцев были до того заколочены, что они сделались не способными ни на какое дело. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву, обыватели жили, как дикие, в тесных и смрадных логовищах, а немецкие мальчики ходили без штанов. К счастью, эти варварские времена давно прошли, и с тех пор, как никто не мешает нам употреблять наши способности на личное и общественное благо, с тех пор, как из нас не выбивают податей и не ставят к нам экзекуций, мы стали усердно прилагать к земле наш труд и нашу опытность, и земля возвращает нам за это сторицею. О, русский мальчик! может быть, я скучно говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговор и в то же время чувствовать, что нахожусь под следствием и судом!

Мальчик без штанов (*тронутый*). Это, брат, правда твоя, что мало хорошего всю жизнь из-под суда не выходить. Ну, да что уж! Лучше давай насчет хлебов. Вот у вас хлеба хорошие, а у нас весь хлеб нынче саранча сожрала!

Мальчик в штанах. Слышал и я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! — сказал он нам, — вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и все без исключения аптекаря — немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию. Как древле, выстрадав иго монголов, она избавила от них Европу, так и ныне, вынося иго саранчи, она той же Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!

Мальчик без штанов. Нескладно что-то ты говоришь, немчура. Лучше, чем похабничать-то, ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенье по дорогам растут и прохожие не рвут их?

Мальчик в штанах. Здесь, под Бромбергом, этого нет, но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда наш старый добрый император получил эти земли в

награду за свою мудрость и храбрость, то его немецкое сердце радовалось, что отныне баденские, баварские и другие каштаны будут съеданы его дорогой и лояльной Пруссией.

Мальчик без штанов. Да неужто деревья по дороге растут и так-таки никто даже яблочка не сорвет?

Мальчик в штанах (*изумленно*). Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?!

Мальчик без штанов. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас наемдись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!

Мальчик в штанах. Но, конечно, он это по ошибке сделал?

Мальчик без штанов. Опохмелиться захотелось, а грошика не было — вот он и опохмелился керосином!

Мальчик в штанах. Но ведь он наверное, болен сделался?

Мальчик без штанов. Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондируют!

Мальчик в штанах (*пугаясь*). Ах, неужели у вас...

Мальчик без штанов. А ты думал, гладят?

Мальчик в штанах (*окончательно пугается и хочет бежать домой, но Мальчик без штанов удерживает его*).

Мальчик без штанов. Стой! чего испугался! Это нам, которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты... иностранец?! (*Помолчав.*) У тебя звание-то есть ли?

Мальчик в штанах. Я — бауер.

Мальчик без штанов. Это мужик, что ли?

Мальчик в штанах. Не мужик, но земледелец!

Мальчик без штанов. Ну да, известно... мужик!

Мальчик в штанах. Нет, земледелец. — Мужик — это русский, а у нас — земледелец.

Мальчик без штанов. Нат-ко, выкуси!

Мальчик в штанах. Ах, русский мальчик, какие вы странные слова употребляете и как, должно быть, недостаточно воспитание, которое вам дают! Я уверен, например, что вы не знаете, что такое бог?

Мальчик без штанов. А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан — вот мы в спожинки его и справляем!

Мальчик в штанах (*хочет понять и не может*).

Мальчик без штанов. Не дошел? Ну, нечего толковать: я и сам, признаться, в этом не тверд. Знаю, что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам, в этот день портки надевают, а от бога или от начальства эти праздники приказаны — не любопытствовал. А ты мне вот еще что скажи: слышал я, что начальство здешнее вас, мужиков, никогда скверными словами не ругает — неужто это правда?

Мальчик в штанах. Отец мой сказывал, что он от своего дедушки слышал, будто в его время здешнее начальство ужасно скверно ругалось. И все тогдашние немцы до того от этого загубели, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было уж так давно, что и старики теперь ничего подобного не запомнят.

Мальчик без штанов. А нас, брат, так и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает, и все самыми скверными словами. Даже нам надоело слушать. Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли.

Мальчик в штанах (*испуганно*). Но, может быть, это дурная болезнь какая-нибудь.

Мальчик без штанов. То-то что ты не дошел! Правило такое, а ты — болезнь! Намеднись приехал в нашу деревню старшина, увидел дядю Анисима, да как вцепился ему в бороду — так и повис!

Мальчик в штанах. Ах, боже мой!

Мальчик без штанов. Говорю тебе, надоело и нам. С души прет, когда-нибудь перестать надо. Только как с этим быть? Коли ему сдачи дать, так тебя же засудят, а ему, ругателю, ничего. Вот один парень у нас и выдумал: в вечерни его отпороли, а он в ночь — удавился!

Мальчик в штанах. Ах, как мне вас жаль! как мне вас жаль!

Мальчик без штанов. Чего нас жалеть! Сами себя не жалеем — стало быть, так нам и надо!

Мальчик в штанах (*с участием*). Не говорите этого, друг мой! Иногда мы и очень хорошо понимаем, что с нами поступают низко и бесчеловечно, но бываем вынуждены безмолвно склонять голову под ударами судьбы. Наш школьный учитель говорит, что это — наследие прошлого. По моему мнению, тут один выход: чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтоб устыдиться и сказать друг другу: отныне пусть постигнет кара закона того из нас, кто опозорит себя употреблением скверных слов! И тогда, конечно, будет лучше.

Мальчик без штанов. Держи карман! Это, брат, у нас «революцией сверху» называется!

Мальчик в штанах. А мы, немцы, называем это просто справедливостью. Но откуда вы такое выражение знаете?

Мальчик без штанов. А это у нас бывший наш барин так говорит. Как ежели кого на сходе сечь приговорят, сейчас он выйдет на балкон, прислушивается и приговаривает: вот она, «революция сверху», в ход пошла!

Мальчик в штанах. Ах, нет, я совсем не в том смысле...

Мальчик без штанов. А он у нас во всех смыслах... Выкупные он давно проел, доходов с земли — грош; вот он похаживает у себя по хоромам, да и шутит... во всех смыслах!

Мальчик в штанах. Но каким же образом он живет без доходов? Работает?

Мальчик без штанов. У нас дворянам работать не полагается. У нас, коли ты дворянин, так живи, не тужи. Хошь на солнышке грейся, хошь по ляжке себя хлопай — живи. А чуть к работе пристроился, значит, пустое дело затеял! Превратное, значит, толкование.

Мальчик в штанах. Какой, однако ж, странный народ у вас живет! Находят, что полезнее по ляжке себя хлопать, нежели работать... изумительно!

Мальчик без штанов. Да, брат немец! про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть да посмотреть, так куда мы против вас на выдумки тороваты!

Мальчик в штанах. Ну, это еще...

Мальчик без штанов. Верно говорю, и даже пример сейчас приведу. Слыхал я, правда ли, нет ли, что ты такую сигнацию выдумал, что куда хошь ее неси — сейчас тебе за нее настоящие деньги дадут... так, что ли?

Мальчик в штанах. Конечно, дадут настоящие золотые или серебряные деньги — как же иначе!

Мальчик без штанов. А я такую сигнацию выдумал: предьявителю выдается из разменной кассы... плюха! Вот ты меня и понимай!

Мальчик в штанах (*хочет понять, но не может*).

Мальчик без штанов. И не старайся! не поймешь! (*Оба мальчика задумываются и некоторое время стоят молча.*)

Мальчик в штанах. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем! Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только: вы как у себя спите? что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища — даже в будни горох с свиным салом!

Мальчик без штанов. Пища хорошая... А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал?

Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите?.. Так ведь родители мои получают от него определенное жалованье...

Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю: за грош черту душу продал!

Мальчик в штанах. Позвольте, однако ж! Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали?

Мальчик без штанов. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, брат... об этом мы еще поговорим... Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!

Мальчик в штанах (*резонно*). Надоел или не надоел — это ваше дело; но заметьте, что всегда так бывает, когда в взаимных отношениях людей не существует самой строгой определенности. Между родителями моими и г. Гехтом никогда не случилось недоразумений — а почему? Потому что в контракте, ими заключенном, сказано ясно: господин Гехт дает грош, а родители мои — душу. Вот и все. Тогда как вы, русские, все на какую-то «на водку» надеетесь. И потом, когда вместо «на водки» вас награждают ударами, вы ворчите, что вам... надоело! Сквернословие — надоело, господин Колупаев — надоел... Ну, надоело — что же из этого?

Мальчик без штанов. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!

Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас! Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!

Мальчик без штанов (*с некотором раздражением*). Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал... диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно... Верное слово тебе говорю!

Мальчик в штанах. Что же тут занятного... «шаром покати»!

Мальчик без штанов. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет — а вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра — саранча, а потом — выкупные продавай! Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?

Мальчик в штанах (*хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает*). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину**. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, — а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!

Мальчик без штанов. Нет, это не от высокоумия, а надоели вы нам, немцы, — вот что! Взяли в полон, да и держите!

Мальчик в штанах. Но плен, в котором держит вас господин Колупаев, по мнению моему, гораздо...

Мальчик без штанов. Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтемся... это верно! Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения***, да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского

рабочего человека? — немец! кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? — немец! И заметь, что сравнительно ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство — тоже, а ваши учреждения — и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Вон вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединенные» немцы — и тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчик в штанах. Разумеется, от необразованности. Необразованный человек — все равно что низший организм, так чего же ждать от низших организмов!

Мальчик без штанов. Вот видишь, колбаса! тебя еще от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!

Мальчик в штанах. «Колбаса!» «выкуси!» — какие несносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с вами, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаев держит в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал, — вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. «Сказывал!» Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять... Ах, колбаса, колбаса!

.....
Но тут разговор внезапно порвался, потому что я проснулся <...> Через час мы уже подъезжали к Берлину. <...>

Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч.

В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 32—42.

Письма к тетеньке¹⁰

(Из письма одиннадцатого)

Милая тетенька.

Представьте себе, ведь Ноздрев-то осуществил свое намерение: передо мною лежат уж два номера его газеты. Называется она, как я посоветовал: «Помои — издание ежедневное». Без претензий и мило. В программе-объявлении сказано: «мы имеем в виду истину» — еще милее. Никаких других обещаний нет, а коли хочешь знать, какая лежит на дне «Помоев» истина, так подписывайся. «Мы не пойдем по следам наших собратьев, — говорится дальше в объявлении, — мы не унизимся до широковещательных обещаний, но позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету, в противном же случае пусть не заглядывает в нее — ему же хуже!» А в выноске к слову «истина» сделано примечание: «Все новости самые свежие будут получаться нами из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников». А в том числе, конечно, будет получаться и клевета.

Внешний вид газеты действует чрезвычайно благоприятно. Большого формата лист; бумага — изумительно пригодная; печать — сделала бы честь самому Гутенбергу; опечаток столько, что редакция может прятаться за ними, как за каменной стеной. Внизу подписано: редактор-издатель Ноздрев; но искусно пущенный под рукою слух сделал известным, что главный воротило в газете — публицист Искарриот. Не тот, впрочем, Искарриот, который удавился, а приблизительно. Ноздрев даже намеревался его ответственным редактором сделать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получил разрешения, потому, что формуляр у Искарриота нехорош.

Со стороны внутреннего содержания газета делает впечатление еще более благоприятное. В передовой статье, принадлежащей перу публициста Искарриота, развивается мысль, что ничто так не предосудительно, как ложь. «Нам все дозволяется, — говорит Искарриот, — только не дозволяется говорить ложь». И далее: «Никогда лгать не надо, за исключением лишь того случая, когда необходимо уверить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться надвое». Затем рассматривает факты современной жизни, вредные — одобряет, полезные — осуждает и в заключение восклицает: «так должен думать всякий, кто хочет остаться в согласии с истиной!». А Ноздрев в выноске примечает: «Полно, так ли? *Ред.*». Вторая передовая статья подписана «Сверхштатный Дипломат» и посвящена вопросу: было ли в 1881 году соблюдено европейское равновесие? Ответ: было, благодаря искусной политике, а чьей — не скажу. Примечание Ноздрева: «Скромность почтенного автора будет совершенно понятна, если принять в соображение, что он сам и есть тот «искусный политик», о котором идет речь в статье. *Ред.*». В фельетоне фельетонист Трясучкин уверяет, что никогда ему не было так весело, как вчера на рауте у княгини Насофеполежаевой. Раут имел отчасти литературный характер, потому что княгиня декламировала: «Ах, почто за меч воинственный я свой посох отдала?», но из заправских литераторов были там только двое: он, Трясучкин, да поэт Булкин. Оба в белых галстуках. И когда княгиня произносила стих: «Зрела я небес сияние», то в гостиную вошел лакей во фраке и в белом галстуке и покурил духами. Так что очарование было полное. А когда, вслед за тем, сюрпризом явился фокусник, то

вышел такой поразительный контраст, что все залились веселым смехом. Но ужина не было, «так что мы с Булкиным вынуждены были отправиться к Палкину и пробыли там до шести часов утра». Против имени княгини Насофеполежаевой Ноздрев заметил: «Урожденная Сильвупле, дочь действительного статского советника, игравшего в свое время видную роль по духовному ведомству», — а против фамилии поэта Булкина: «нет ли тут какого недоразумения?». На второй странице — разнообразнейшая «Хроника», в которой против десяти «известий», в выносках, сказано: «Слышно от Репетилова», а против пяти: «Не клевета ли?». За хроникой следует тридцать три *собственных* телеграммы, извещающие редакцию, что мужик сыт. Но и тут выноска: «Истина вынуждает нас сознаться, что телеграммы эти составлены нами в редакции для образца». Третья страница посвящена корреспонденции из городов, коих имена не попали в «Список городских поселений», изданный статистическим отделом министерства внутренних дел. На четвертой странице — серьезная экономическая статья: «Наши денежные знаки», в которой развивается мысль, что ночью с извозчиком следует рассчитываться непременно около фонаря, так как в противном случае легко можно отдать двугривенный вместо пятиалтынного, «что с нами однажды и случилось». Статья подписана *Не верьте мне*, в выноске против подписи сказано: «Не только верим, но усерднейше просим продолжать. *Ред. Ноздрев*». Наконец на самом кончике последнего столбца объявление: «ДЕВИЦА!! ищет поступить на место к холостому человеку солидных лет. Письма адресовать в город Копыс Прасковье Ивановне». Выноска: «Очень счастливы, что начинаем предстоящую серию наших объявлений столь любезным предложением услуг; надеемся, что и прочие девицы (*sic*) не замедлят почтить нас своим доверием. *Контрщик Любострастных*». Второй номер еще лучше. Начинается передовой статьей: «Военный бред», в которой указывается, что в тылу у нас — Белое море и Ледовитый океан. Статья подписана: «Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро, из «Аиды». Во второй статье, публицист Искарриот сходит с высот теоретических на почву современности и разбирает по суставчикам газету «Пригорюнившись Сидела», доказывая, что каждое ее слово есть измена. Затем помещено письмо Трясучкина, который извещает, что поэт Булкин совсем не «недоразумение», а автор известного стихотворения «Возри в лесах на бегемота», а редактор Ноздрев в выноске на это возражает: «Но кажется, что это стихотворение, или приблизительно в этом роде, принадлежит перу Ломоносова?». Телеграммы опять составлены в стенах редакции, и по этому поводу Ноздревым сделано следующее «заявление»: «Невозможно, чтоб редакция на свой счет получала телеграммы из всех городов. Она свое дело сделала, т.е. составила и обнародовала образцы, а затем охотники, желающие видеть свои телеграммы напечатанными, обязываются уже на собственный счет посылать таковые в редакцию». На четвертой странице новая экономическая статья экономиста *Не верьте мне*, в которой развивается мысль, что когда играют в карты на мелок, то справедливость требует каждодневно насчитывать умеренные проценты. И в выноске: «Так мы и делаем. *Ред.*». В конце опять одно объявление: «КУХАРКА!! такое одно кушанье знает, что пальчики оближешь. Спросить на Невском от 10 до 11 часов вечера девицу «Ребята-хвалили». Выноска: «Наши вчерашние ожидания постепенно оправдываются, но пускай же и прочие кухарки поспешат к нам с своими объявлениями. *Контрщик Любострастное*».

И внизу, под обоими номерами достолюбезная подпись: редактор-издатель Ноздрев!!

Я разом проглотил оба номера, и скажу вам: двойственное чувство овладело мной по прочтении. С одной стороны, в душе — музыка, с другой — как будто больше чем следует в ретиреде замечтался. И надо откровенно сознаться, последнее из этих чувств, кажется, преобладает. По крайней мере, даже в эту минуту я все еще чувствую, что пахнет, между тем как музыки уж давным-давно не слышать.

Но что всего больше поразило меня в новорожденном органе — это неизреченная и даже, можно сказать, наглая уверенность в авторитетности и долговечности. «Уж мне-то не заградят уста!», «Я-то ведь до скончания веков говорить буду!» — так и брызжет между строками. Во втором номере Ноздрев даже словно играет с персонами, на заставах команду имеющими. «Нас спрашивают некоторые подписчики, — говорит он, — как мы намерены поступить в случае могущей приключиться горькой невзгоды? то есть отдадим ли подписчикам деньги назад по расчету или употребим их на собственные нужды? На это отвечаем положительно и твердо: никакой невзгоды с нами не может быть и не будет. Мы не с тем предприняли дело, чтоб итти навстречу невзгодам, а с тем, чтобы направлять таковые на других. Тем не менее, считаем за нужное оговориться, что не невозможен случай, когда опасения подписчиков рискуют оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажет холодность к нашему изданию и не предоставит нам достаточных средств для его продолжения. Тогда мы еще подумаем, как нам поступить с подписчиками».

Таким образом, оказывается, что ежели вы, например, подпишетесь на «Помои», то для того, чтобы не потерять денег, вы обязываетесь уговаривать всех ваших родственников, чтоб и они на «Помои» подписались... Справедливо ли это?

Но можете себе представить положение бедной «Пригорюнившись Сидела»? Что должны ощущать почтеннейшие ее редакторы, читая, как «Помои» перемышляют ее косточки и в каждой строчке прозревают измену. Ведь у нас так уж исстари повелось, что против слова: «измена» даже разъяснений никаких не полагается. Скажет она: то, что я говорила, с незапамятных времен и везде уж составляет самое заурядное достояние человеческого сознания, и только «Помою» может казаться диковиною — сейчас ей в ответ: а! так ты вот еще как... нераскаянная! Или скажет: Я совсем этого не говорила, а говорила вот то-то и то-то — и тут готов ответ: а! опять за лганье принялась! опять хвостом вертишь! Словом сказать, выгоднее и приличнее всего окажется простое молчание. «Помои» будут растабарывать, а «Пригорюнившись Сидела» — молчать. Таково их взаимное провиденциальное назначение.

По-видимому, тактика Ноздрева заключается в следующем. По всякому вопросу непременно писать передовую статью, но не затем, чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы сказать по поводу его «русскую точку зрения». Разумеется, выищутся люди, которые тронутся таким отношением к делу и назовут его недостаточным, — тогда подстеречь удобный момент и закричать: караул! измена!

Такого рода моменты называются «веяниями», а ведь известно, что у нас, коли вплотную повеет, то всякое слово за измену сойдет. И тогда изменников хоть голыми руками хватай.

Замечательно, что есть люди — и даже не мало таких, — которые за эту тактику называют Ноздрева умницей. Мерзавец, говорят, но умен. Знает, где раки зимуют, и понимает, что по нынешнему времени требуется. Стало быть, будет с капитальцем.

Что Ноздрев будет с капитальцем (особливо ежели деньгами подписчиков распорядится) — это дело возможное. Но чтобы он был «умницей» — с этим я, судя по вышедшим номерам, никак согласиться не могу. Во-первых, он потому уж не умница, что не понимает, что времена переходчивы; а во-вторых, он до того в двух номерах обнажил себя, что даже виноградного листа ему достать неоткуда, чтобы прикрыть, в крайнем случае, свою наготу. Говорят, будто бы он меценатами заручился, да меценаты-то чем заручились?

Покаместь, однако ж, ему везет. У меня, говорит, в тылу — сила, а ежели мой тыл обеспечен, то я многое могу дерзать. Эта уверенность развивает чувство самодовольства во всем его организме, но в то же время темнит в нем рассудок. До такой степени темнит, что он, в иступлении наглости, прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир. Но долго ли будут на это смотреть меценаты — неизвестно.

Не дальше, как сегодня, под живым впечатлением только что прочитанных номеров, я встретился с ним на улице и, по обыкновению, спутался. Вместо того, чтоб перебежать на другую сторону, очутился с ним лицом к лицу и начал растабарывать. «Как, говорю, вам не стыдно выступать с клеветами против газеты, которая, во всяком случае, честно исполняет свою задачу? Если б даже убеждения ее...» Но он мне не дал и договорить.

— Прежде всего, — прервал он меня, — я не признаю клеветы в журналистике. Журналистика — поле для всех открытое, где всякий может свободно оправдываться, опровергать и даже в свою очередь клеветать. Без этого немисливо издавать маломальски «живую» газету. Но, главное, надо же, наконец, за ум взяться. Пора раз навсегда покончить с этими гнездами разьевшегося либерализма, покончить так, чтоб они уж и не воскресли. Щадить врага — это самая плохая политика. Одно из двух: или сдаваться ему в плен, или же бить, бить до тех пор....

Так вот он что, милая тетенька, собрался совершить. Покончить с «врагами» — с чьими? с своими собственными ноздревскими врагами... ах! Спрашивается: неужто ж найдется в мире какая-то «сила», которая согласится войти в союз с Ноздревым, с целью сокрушения ноздревских врагов?!

Нет, как хотите, а Ноздрев далеко не «умница». Все в нем глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществления. Только вот негодяйство как будто скрашивает его и дает повод думать, что он нечто смекает и что-то может совершить.

Вся его сила заключена именно в этом негодяйстве; в нем, да еще в эпидемически развившейся путанице понятий, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь. Пользуясь этими двумя содействиями, он каждодневно будет твердить, что все, кто не читает его паскудной газеты — все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые поверят ему...

Но вы, милая тетенька, не верьте! Не увлекайтесь ни ноздревскими клеветами, ни намеками на ноздревскую авторитетность и на каких-то случайных людей, которые будто бы поддерживают его авторитетность. Смотрите на Ноздрева как можно проще:

как на продукт современного веянья, то есть как на бездельника и глупца. Тогда для вас не только делается ясным секрет его беззастенчивости, но и паскудный лист, в котором он выливает свои душевные помои, перестанет казаться опасным, а пребудет только паскудным, чем ему и быть надлежит. <...>

Салтыков-Щедрин М.Е.

Полн. собр. соч. Т. 14. С. 396—401.

Приключение с Крамольниковым¹¹

(сказка-элегия)

Однажды утром, проснувшись. Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее бытие каким-то волшебством превратилось в небытие. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрелся в зеркало; оказалось, что он — тут, налицо, и что в качестве ревизской души он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить — оказалось, что и мыслить он может... И за всем тем, для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того неревизского Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу, и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

.....

Сначала он подумал: «Какой вздор!» — и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности. А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шопот: поймали, расчухали, уличили!

— Что такое? что такое случилось?

¹¹

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, — человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов... И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников, — труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности, — тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастья столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельно. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту, — рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону, личности по временам встречаются. Смолоду так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под горами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке. Никогда она не дает себе отчета в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие справки — ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что такое случилось? — Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал только одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота.

Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна истари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то незаслуживающая доверия. Реки расползлись вширь, и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара, хоть рубашку выжми, завтра — та же рубашка колом стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянны в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: от сумы да от тюрьмы не открестишься; посадский человек говорит: барыши наши на воде вилами писаны; боярин говорит: у меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу. Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог — пан, не пронесет — пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? на чем она воспитывается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастье. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? — в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту истинную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям о нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановить в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что при полном отсутствии винословности, подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта, — он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль *anima vilis*¹² перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутую. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жуткую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти остолбенением. Однако ж, Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто знает. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

— Однако, похоронили-таки вас, голубчик! живо! — сказал один, — строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и вы... нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели, — ну, наконец...

— Но что же такое «наконец»?

— Да просто «наконец» — и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать, и буде можно, — усматривать. Вам, сударь, следовало самому заранее догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души, — ну, так хоть слегка бы: разбирайте, мол, каков я там... внутри! А то все с плеча! все с плеча! Ну, и надоело. — Я и сам — разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако, и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи благослови... Бух!

Другой сказал:

— Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! Приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало спешешь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое

знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что такое это «другое» — выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: надо же! Ну, и она говорит: надо! Я и решился.

— На что же вы решились?

— Да просто — идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны — семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже, имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут, — неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда... нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч..., Ну, тогда и опять...

— Да ведь Николай-то Семеныч — вор!

— Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец, третий просто напрямки крикнул на него:

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеет право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, говорит, а посему...» Я — туда-сюда. «Какие же, говорю, это приятельские отношения, вашество? так, буфон — отчего же после трудов и не посмеяться!» Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня, между тем, семья, жена, дети... Да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец, он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожал за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему казалось странным! чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В

последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!». Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что неожиданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямик отрезала Крамольникову:

— Нет Якова Ильича дома: его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! — сказал Воробушкин взволнованным голосом. — На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так сказал: «На вас неизгладимое пятно!». А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

.....

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с *своим* читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всяком случае имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему неизвестна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руку, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли... «Неужто, — спрашивал он себя, — для того, чтобы удержать за собою право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью: один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой «Жена» — и больше ничего... Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же, — говорил ему внутренний голос, — эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо *прежде*, как представляются теперь? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?»

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли, — раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их не сумел понять. Ты думал, что вчера они были иными, нежели сегодня.

Правда, ты неспособен идти следом за этими людьми; ты неспособен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе... где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что тебе предстоит?..».

Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше, как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателем.

Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. В 20 т.

М, 1974. Т. 16. С 197—205.

¹ «Дневник провинциала в Петербурге» — цикл сатирических очерков, Рисующих картину проникновения капитализма во все сферы русского общества, поведение либералов. Повествование ведется от первого лица, создавая маску провинциала. Впервые опубликован в «Отечественных записках» (1872. № 5).

² «...близнецы «Московских ведомостей» — М.Н. Катков и П.М. Леонтьев.

³ Молчание! Благоразумие! (лат.).

⁴ Старый порядок и революция (франц.).

⁵ Внезапно (лат.).

^{*} Этот параграф составляет дословную перепечатку § 1-го и существует только в первом издании «Устава», где он, очевидно, напечатан по недосмотру корректора. Во втором издании он исключен; но помещаю его так потому, что у меня в руках было первое издание, так и потому, что напоминание о цели учреждения Союза в конце «Устава» как нельзя более уместно. (Примеч. автора «Дневника».)

⁶ «Тибуллова Делия».

⁷ «Обозрение обоих миров» (франц.).

⁸ «Новый ветхий человек» — подразумевается хищник-капиталист в отличие от старого ветхого человека — помещика-крепостника.

⁹ «За рубежом» впервые опубликовано в «Отечественных записках» (1880. № 9).

^{**} Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

^{***} Со стороны русского мальчика этот способ выразиться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного. (Прим. М.Е. Салтыкова-Щедрина.)

¹⁰ В сатирическом цикле «Письма к тетеньке» отражена политическая реакция, наступившая вскоре после 1 марта 1881 г. Впервые опубликованы в «Отечественных записках» (1882. № 3).

¹¹ «Приключение с Крамольниковым» впервые опубликовано в «Русских ведомостях» (1886. № 252).

¹² Низшего существа (лат.).

Г. И. Успенский

Г.И. УСПЕНСКИЙ

(1840—1902)

Равнение «под-одно»¹

(из памятной книжки)

<...> Осенью прошлого года во всех почти поволжских губерниях оказался страшный неурожай: хлеб тотчас после уборки достиг огромной цены, почти двух рублей за пуд, а спустя месяц стал дороже двух рублей. Печеный хлеб в Самаре, Саратове, этих житницах России, начал продаваться по небывалой цене — 4 и 5 коп. фунт. Неурожай и голод очевидны. Люди, принимающие близко к сердцу народное горе, писали корреспонденции в газеты, переполненные ужасающих подробностей: то вы читаете, что в такой-то деревне вдова-крестьянка повесилась от голода; то вам рассказывают о целых деревнях, голодающих сплошь. Корреспондент посещает жилища крестьян и в каждом из них находит истомленных, опухших людей, которые ничего не ели вторые и третьи сутки. Хлеб, присылаемый из голодных мест в редакции газет, потрясает своим ужасным видом. Появляются описания таких пищевых изобретений, от которых волос становится дыбом: один мужик на глазах корреспондента ел чуть не осиновое полено; веником он вымел амбар, в котором не было нечего, кроме куриного помету, прибавил туда лебеды, сена, осиневой коры и всё сие, замесив, поставил в печь (которая очень часто бывает совершенно нетопленная, так как дров купить не на что). Но и этой пищи (!!), прибавляет корреспондент, едва ли хватает семейству, состоящему из семи душ. К описаниям таких ужасных съестных припасов, прибавлялось обыкновенно, что скот продан за бесценок; коровы продавались за один рубль и много два, жеребья двухлетние покупались за 50 коп., телята по гривеннику, а лошадей отдавали почти даром». Под впечатлением этих ужасов самый язык корреспонденции как бы озверинелся, так как о людях начали писать только как о голодных ртах; вместо слова «человек» стали писать «едок». В семье столько-то «едоков». Иногда писалось: «столько-то ртов». Одни ужасы следовали за другими... А в то же время такие совершенно непреложные, неопровержимые факты, как «голод» и «неурожай», начали осложняться новым неожиданным и совершенно загадочным элементом, а именно: хлеб, который тотчас *после урожая* стоил 2 р. пуд, начал дешеветь. Что это значит? — вопрошает недоумевающий читатель. А между тем, что ни день, то цена хлеба ниже да ниже. В августе она была два рубля, в январе — около полутора, в феврале — еще меньше, а в марте — 90 коп. Что за чудо? Откуда такая благодать? В самое обыкновенное, более или менее урожайное время всегда хлеб дорожает к весне, потому что как бы его ни было много, а его съедят за зиму, к весне его останется меньше и цена ему будет дороже. Тут же происходит что-то невероятное. Хлеба *не могло* быть потому, что неурожай полный, видимый, ясный для всех и каждого. Опухшие мужики — не фантазия, а факт, удостоверенный сведущими и добросовестными людьми. Кроме того, из этого неурожая сравнительно самая большая часть собранного зерна куплена-таки иностранными торговцами и увезена за границу. Хлеба, стало быть, осталось в обращении ничтожная часть, да и из этой ничтожной части приобретено земствами голодающих мест тоже масса хлеба, крайне по размерам

недостаточная для самого умеренного прокормления населения. Но хотя земство и не могло приобрести столько, сколько требовалось, все-таки оно приобрело столько, сколько было можно. Этот приобретенный земством хлеб должен быть съеден народом. Хлеба нет — очевидно, а хлеб все дешевле и дешевле... К маю месяцу, когда обыкновенно хлеб ужасно дорог, он оказывается по 60 коп. пуд, в июне — 70 коп. Что за чудеса? Откуда взялся хлеб? Если предположить, что его завезли из других урожайных мест, то не говоря уж о затруднениях перевозки в распутицу, — затруднениях, прямо лежащих на цену хлеба и увеличивающих ее, весной *обыкновенно* везде хлеб дорожает, везде его мало, да, наконец, там, где хлеба было бы много, он, *наверное*, уж продан, по примеру прежних лет, на месте, — продан туда же и тем же лицам, как и прежде, — израсходован, как расходовался всегда. Во всяком случае если бы хлеб и оказался привозным, то цена ему никак не могла упасть, он не мог подешеветь никоим образом. Раз на такой огромной территории, как Россия, оказывается такое пустое, бесхлебное место, как голодающее Поволжье, какой бы где бы то ни был урожай, распределенный равномерно в урожайных и неурожайных местах, должен бы был *везде* повысить цену хлеба, так как его стало бы меньше даже и в урожайных местах, и, стало быть, везде хлеб должен был дорожать к весне, т. е. по мере того, как его съедают, а между тем подивитесь, хлеб начинает дешеветь и что ближе к весне, то больше, и притом где же? — в том самом месте, где осенью люди ели кору, где баба повесилась с голоду, где продавали ребят... А хлеб все дешевле и дешевле... И в конце концов недоумевающий читатель газет поражен таким известием, опубликованным в одном из весенних номеров любой газеты: «Крестьянин такой-то выехав на базар продавать хлеб, был несказанно изумлен, узнав, что цена хлеба упала с 2 руб. до 70 коп. за пуд. Возвратившись домой с непроданным хлебом, он затосковал и в ночь с такого-то числа на такое-то повесился в риге на вожжах, под самым переметом».

Господи боже наш! — восклицает читатель, у которого все эти известия с самой осени ложились камнем на душу, — да что ж все это означает? То женщина вешается, потому что хлеб 2 рубля, то мужик вешается, потому что он 70 коп. Что же будет, если вместо голода господь пошлет урожай, хлеб упадет в цене, спустится до 25 коп.? Если вешаются от дешевизны, как и от дороговизны, то при хорошем урожае должна развиваться суцая эпидемия самоубийства: начнут топиться, накладывать на себя руки... А урожай, как на грех, тут и есть. «Небывалые всходы!», Зерно дало 14 колосьев по 80 зерен!», С десятины получилось до 200 пуд. чистого хлеба!». Читаешь и не знаешь — радоваться или плакать. И действительно, несмотря на огромный, небывалый урожай, уже слышатся голоса: Едва ли крестьянин улучшит свое благосостояние... Дешевизна хлеба при дороговизне скотины... Самая плохая лошадь на Покровской ярмарке продавалась не менее ста рублей, теленок 12—15 руб., корова — 40—60 руб.» и т. д. Чувствуете вы, что в виде огромного урожая надвигается какая-то новая беда. «Буди воля твоя!» — говорите вы со вздохом и все-таки в конце не можете понять, откуда взялся хлеб, когда бьет неурожай, и почему этот таинственный хлеб начал дешеветь к весне вопреки всем вероятностям.

Это загадка номер первый.

Нетрудно нам отыскать и загадку номер второй и третий. Развертываем книжку журнала и читаем статью — «Санитарное состояние русской деревни». По словам автора, основанным на самых точных сведениях, доставленных земскими управами,

смертность в наших деревнях, благодаря невозможным гигиеническим условиям, возросла за последнее десятилетие до огромных размеров. Цифры рождений и смертности, выведенные автором за десятилетний период времени, поистине поражающие. Например, в таком-то селении, за такой-то период времени число рождений было 133, а число умерших — 154, и так далее, целые страницы ужасающих цифр. Умирает больше, чем родится — дело очевидное и доказано автором до того неопровержимо, что, читая статьи, представляешь поле, усеянное костями, по которому медленно ходит становой, подобно Руслану, изумленный этими «мертвыми костями», — становой, недоумевающий, с кого же получать ему подати. Причиной такого опустошения выставляется дурное питание, а причиной дурного питания — недостаточность земельных наделов... Но, думаем, читатель, если причина — в малоземелье, то ведь по нашим общинным порядкам земля убылых душ разлагается на живущих. Страшна и ужасна такая ужасная смертность, но остающиеся в живых, получая больше земли после покойников, могут улучшить свое благосостояние хотя на время... Не тут-то было!

Вот другая статья — «Об отхожих промыслах!» — доказывает, что, и помимо смертности, малоземелье гонит народ из деревень... Массы брошенных земель встречаются повсюду. Избы с заколоченными окнами и воротами свидетельствуют, что человеку, поставленному в невозможность существования, оставалось одно — бросить все и уйти, куда глаза глядят... Затем, на основании сведений, доставленных земскими управами, приводится ряд цифр, из которых видно, что отхожие промыслы обезлюживают деревню хуже чем дифтерит, хуже чем смертность, непропорциональная рождаемости... Корень таких выселений из деревень лежит, по словам автора, в малоземелье, недостаточности наделов, не обеспечивающих самого элементарного пропитания. «Ведь остается же кому-нибудь земля-то, брошенная умершими и ушедшими в отхожий промысел? Кому ж она достается?» — ломает голову недоумевающий читатель и решительно теряет всякую способность определенно ответить на вопрос, когда третья статья — «О переселении» — доказывает ему, на основании сведений, доставленных земскими управами, что опустошенная смертностью, дифтеритом, сибирской язвой и отхожими промыслами деревня, — деревня с забитыми воротами и окнами, — высылает ежегодно целые толпы переселенцев. «Целыми вереницами, — пишет корреспондент, — тянутся через наш город переселенцы, направляясь в Сибирь, в Тобольскую губернию... Партия переселенцев в 300 человек при ста подводах проследовала через наш город...»

Эти известия являются наряду с известиями об опустошительной смертности и об отхожих промыслах. Смертность опустошает, отхожие промыслы опустошают, земель остается много пустых, — зачем же еще искать этих земель за тысячи верст? На этот раз оказывается, что переселяются от густоты... Как так? Люди мрут, как мухи, санитарные и гигиенические условия безбожны — и вдруг оказывается какая-то густота? Но густота налицо. Сведения, доставленные из достоверных источников, удостоверяют, что рождаемость превышает смертность: так, за десятилетний период времени в такой-то местности умерло 7 человек, а родилось 127 — в такой-то никто не умер, а народилось видимо-невидимо... В конце концов за десятилетний период времени густота населения увеличилась до такой степени, что на каждую действительную, а не ревизскую, душу нехватает и по 1/4 десятины во всех трех полях, и вот этот-то излишек населения, в

полном смысле слова обреченный на голодную смерть дома, и ищет новых мест... откуда же, спрашивает читатель, нищих явилось сто подвод, на которых они проехали через город, как сообщает корреспондент? Если им самим нечем было прокормиться, то как же могли они приобрести скотину, телеги и т.д.? Наконец, чтобы быть кое-как сытым в течение полугода, необходимого на дорогу до Тобольской или Томской губернии, и то необходимо иметь средства не маленькие,.. Но положим, что у них нет никаких средств, что они нищие, — какая же польза нищему тащиться за 3—4 тысячи верст, из знакомых мест в незнакомые? Ведь в Томской губернии если ему и дадут землю, то избу, лошадь и множество хозяйственных принадлежностей, необходимых для того, чтобы земля кормила человека, он должен купить. На что же, на какие средства он купит? Посмотрите вот на нищего, который у вас под окном просит милостыню, — много ли вы сделаете ему пользы, если возьмете его в том виде, как он есть, да на собственные средства перенесете куда-нибудь, тысяч за шесть верст, в самую благодатную природу, — много ли ему от этого будет лучше?..

Нет, думает читатель, есть и тут, в этом деле, что-то тайное, какая-то загадка... Конечно, смертность и убыль населения, а с другой стороны, прирост последнего, при малоземелье, имеют влияние, но... Но вот получается новый номер газеты, в котором сказано: «Через наш город проследовала партия переселенцев из ...ской губернии. В числе 30-ти семей, пробирающихся в Томскую губернию, находилось две семьи весьма зажиточных крестьян, а один из них имел на родине более 100 десятин собственной земли, пятнадцать голов рогатого скота, 10 лошадей. Имущество его ехало на шести подводах, причем лошади были собственностью крестьянина...» Итак, что же должен вывести из всего этого недоумевающий читатель? Народ мрет от малоземелья, но остающаяся после умерших земля не известно куда девается. Народ бросает землю — и опять эта земля, брошенная, никому не приносит добра. Мрет, бросает, — стало быть, пустыня остается? — Нет, не пустыня, а, напротив, необыкновенная густота, — до такой степени необыкновенная густота, что на действительную душу приходится едва ли 1/4 десятины, чего недостаточно для прокормления даже в течение месяца... И вот массы этого бедного, нищего народа пускаются в путь за несколько тысяч верст на своих лошадях, на *своих* харчах, которых в течение 6 месяцев потребуются этим неимущим не менее как на 200 руб. на человека и скотину... Но мужика, переселяющегося от 100 десятин собственной земли, — читателю уж ровно нечем объяснить: ни смертность, ни прирост, ни малоземелье, ни дифтерит, ни кровавый понос, ни что другое, никакие цифры, хотя бы самые достоверные, — тут не помогают. Богач-мужик прет в неведомую даль вопреки всяких уверений и доказательств — и окончательно сбивает с толку читателя.

Таких загадок мы могли бы привести великое множество, если б и без того не чувствовали неудовольствия, которое должен испытать всякий человек, более или менее озабоченный народным делом, читая написанное нами. «Так что же, — слышится нам негодующий вопрос недовольного читателя, — неужели, — по-вашему, все, что пишется о народных несчастьях, вздор и чепуха? Неужели все это — пустые фразы и ложь? И, наконец, возможно ли издеваться над народными несчастьями, когда я сам, собственными глазами...», и т.д. Нет, отвечаю я, все что пишут о народных бедствиях, — все это сушая правда. Не только бывает то, что пишут, а ежедневно, ежеминутно в деревне случаются такие возмутительные вещи, которые могут привести нервного

человека в содрогание, и крайне жаль, что такие вещи пишутся только в экстренных случаях, выплывают на божий свет только в такие исключительные минуты, как всенародные бедствия вроде поголовного мора или поголовного неурожая. Все это — и подлинность малоземелья, и подлинность голодовок и подлинность необычайной смертности — я признаю; я признаю полную возможность самоубийств с голоду, признаю достоверность описанной корреспондентом невозможной пищи (наконец, я сам видел эту пищу, и помимо корреспондента); словом, все это я считаю совершенно верным, правильным, достойным сочувствия, гнева, скорби, помощи, — и все-таки чувствую, что во всем этом полчище ужасов есть еще что-то, что неприятно отравляет искренность скорби, искренность рыданий о народной массе... Есть в этой массе достовернейших бедствий какая-то черта, которая воспитывает во мне какие-то враждебные побуждения, рождает какие-то недобрые мысли относительно той же самой народной массы, которые мешают только любить, только верить... Почему-то, одновременно со скорбью, с желчным упреком интеллигенции (уж заодно с другим будем подразумевать под этим словом обыкновенное козлище отпущения — земство) — рождается желание какого-то инстинктивного движения кулаком в эту самую же народную массу... Чувствуется, что тут, в ней же есть какая-то неправда, язвы, червоточина... Начинают даже рисоваться такие «народные» морды, которым весьма бы желательна даже сибирская язва... <...>

Предположим, что лицо, желающее вести беседу о проклятых вопросах деревенской жизни, нашлось, что лицо это, искренно сочувствуя народу, проникнуто искреннейшим благоговением к «обиженному землевладению» и искреннейшим негодованием против так называемой интеллигенции, — и вот между нами начинается разговор:

— Откуда, — вопрошает меня воображаемый собеседник, — взялся хлеб, когда был неурожай, и почему этот хлеб подешевел, вместо того чтобы подорожать?..

— Хлеб, милостивый государь, был там же и взялся оттуда же, где был и голод. В одних и тех же деревнях люди умирали с голоду, ели кору, пухли и т. д. — и в тех же самых деревнях были люди, которые не умирали с голоду, а напротив — поправлялись и толстели; в одних и тех же деревнях были люди, которые продавали лошадь за рубль серебром, — и были другие люди, которые её покупали за этот самый рубль и которые теперь продают ее назад за сорок и пятьдесят рублей

— При общинном землевладении? — с негодованием (как мне кажется) перебивает меня воображаемый собеседник.

И как мне ни трудно огорчить вопрошателя, но скрепя сердце, я говорю:

— При общинном... Увы, при общинном землевладении!

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— А смертность?

— Точно то же и со смертностью: мрут больные, голодные, худородные, а отъевшиеся — здоровы и невредимы... Одни мрут, как мухи, а другие толстеют, как борова.

— В одних и тех же деревнях?

— В одних и тех же.

— И при общинном землевладении?

— При общинном...

Лицо воображаемого собеседника моего вспыхнуло яркою краской негодования... Он, как мне кажется, готов был отвернуться от меня, прекратить разговор; но оскорбление, которое нанес я ему своими ответами, до того взволновало его, что, отворачиваясь и негодуя, он гневно задает мне, так сказать «в упор», такой вопрос:

— Так вы что же... вы думаете, что хлеб был припрятан у одних в то время, когда другим нечего было есть?

Слово «припрятан», признаюсь, корбит меня. Я был бы очень доволен, если бы собеседник мой не произносил такого грубого слова, требующего от меня не менее грубого, жестокого ответа, но делать было нечего, и, собравшись с силами, я решаюсь произнести ужасное слово:

— Увы, — говорю я, содрогаясь, — припрятан.

Сказав это, я чувствую, что мороз пробежал у меня по коже. Я сам до такой степени потрясен этим словом, что едва я выговорил его, как у меня является непреодолимое желание «поправиться», сказать что-нибудь другое, помягче; но, вопреки усилиям, слышу хотя и сам не верю, что я опять, подобно ворону Эдгара Поэ, прокаркал:

— При-прятан!..

Опять хотел поправиться, — и опять прокаркал;

— Увы, припрятан! Увы...

— При общинном землевладении? — весь багровый от негодования, вопрошает воображаемый собеседник, видимо желая, чтоб я очуствовался, опомнился.

Но я, как бесчувственный истукан, не могу ни придумать, ни вымолвить чего-нибудь иного, кроме того же грубого ответа.

— При общинном землевладении, — говорю я и, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить неприятное впечатление моей грубости, прибавляю: — Увы, увy, увy!

<...> Между тем сложность переживаемой народом минуты, — сложность, следовательно, лежащих на вас, образованном человеке, обязанностей (если вы хотите не даром есть хлеб), у малается и как-то обеспечивается, во-первых, слишком несоразмерными надеждами, возлагаемыми на общинное землевладение, и, во-вторых, слишком обесцвеченным представлением понятия «народ». В последнее время слово «народ» стало представляться такою же почти коллективной однородностью, как, например, «овес», или «сено», или «икра»... Народ — это что-то одномысленное, какая-то масса, где все частицы и во всем совершенно равны друг другу, одномысленны, одинаковы даже в нравственных побуждениях. Рассказывают, что миряне прибили мирянина, который помог вдове в то время, как все прочие его соседи не могли этого

сделать. «Не смей делать добро, когда мы все не можем сделать того же!» Если это правда, то коллективная однородность деревни хуже аракчеевских казарм... Но нам кажется, что это неверно и что такое ни с чем несообразное равнение вытекает из слишком нерассудительного поклонения перед общинным землевладением, а главным образом пред ритуалом распределения общинных земель. Это распределение также сделалось предметом неумеренного идолопоклонения и неумеренных надежд. <...> Я понимаю, что в жизни образованного человека бывают минуты отчаяния, когда он теряет голову, теряет веру и рад ухватиться «за что-нибудь», рад увидеть, что есть на свете что-нибудь справедливое, что можно влюбиться в какую-нибудь жердь, как памятник справедливейшего мирского поступка; но при всем том нельзя не видеть, что это неумеренное поклонение совершенству распределения земельных средств существования, — совершенству уравнивания источников существования, якобы проникающего с неизменной последовательностью и во все другие общественные отношения деревенских людей, — беспрестанно ставит человека, желающего служить народу, в самое нелепое и бессмысленное положение. Например, голод, народ голоден, ему необходима помощь. Помощь распределяется согласно правильности распределения земли, — правильности, доведенной до совершенства. На деле же оказывается, что при таком-то совершенно правильном распределении помощь вся оказывается в руках богачей деревенских. <...> Да, наконец, самого поверхностного взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «под одно» всех деревенских жителей и все деревенские мнения и желания. Основывать однородность деревенских интересов на общинном землевладении так же несправедливо, как если бы на основании общинного владения петербургским водопроводом, из которого вода равномерно распределена по всем жилищам, от дворца до лачуги за Нарвскою заставой, и притом совершенно одинаковая вода, то есть как во дворце, так и в лачуге вода эта одного цвета, свойства, вкуса, идет от одного и того же источника, по совершенно одинаковым трубам и распределяется каждому по надобности его, — если бы, повторяю, на одинаковости и правильности распределения воды я основал одинаковость целей, желаний, стремлений, хотя бы только до известной степени, между всеми тысячами людей, населяющих тысячи квартир с одинаково проведенною водой, или вздумал бы на основании того, что вода распределена между всеми на основании потребностей каждого, «сколько кому надо», — вздумал бы представить себе, что и средства обывателей распределяются так же равномерно и притом «сколько кому надо», — то едва ли бы с моей стороны в этом не было ошибки. А между тем на основании общинного землевладения строятся именно такого рода фантазии, правильность и точность межевых отношений переносятся на отношения нравственные; равнение средств к жизни продолжается, совершенно произвольно, и в сфере нравственных отношений до того, что будто бы нельзя помочь вдове отдельно от «мира» и что «за такие дела» мир колотит благотворителя до полусмерти... Нет сомнения, у деревни есть общие интересы, — такие, которые спланивают деревню и делают ее «как один человек». Но если народ единят вести и слухи о земле, нужда в земле, лугах и вообще потребности и заботы о *средствах* жизни, — если во имя таких потребностей он думает и поступает однородно, все как один, так ведь и Петербург восстанет весь, как один человек, если я запроу водопровод, да и Москва возликует, — вся Москва, от дворца до Грачовки, — если я объявлю, что «будет водопровод»... И все-таки, делаясь в этих случаях как один человек, ни Петербург, ни Москва не спасают себя от тех общественных разъединений, которые существуют в них

сию минуту. Деревенская жизнь вступает в совершенно *новый* фазис, становится в совершенно *новые* условия, под совершенно новые влияния и давления, для которых *не было прецедентов* никогда с основания Руси (например, железные дороги), — влияния и давления могущественнейшие, имеющие за собою прошлое ничуть не менее давнее, чем общинное землевладение, имеющее за собою страшную силу новизны, любопытства, соблазна, влияний и давлений, разлакомливающих личное чувство на личные удобства и блага. Возникают, благодаря этим влияниям и давлениям, совершенно новые явления, явления огромного расстройтва всего организма, а вы (я продолжаю обращаться к воображаемому собеседнику) упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого расстройтва, отворачиваетесь от них, отделяетесь от них небрежным выражением: «все кулаки!», — потому что вы якобы до такой степени «влюблены» в народ, что не можете переносить грубого с ним обращения... В межевых ямах и столбах (которые в действительности только одни остаются в полном вашем распоряжении, так как во всем прочем вы, как говорится, пикнуть не смеее) — вы видите и спасение, и блестящее будущее, и прочее, и прочее. Но межевые столбы были всегда, во все дни и годы русской жизни, а кроме их чего-чего не произошло в этой жизни! И помешали ли сии великолепные ямы какому бы то ни было злодейскому давлению? <...>

Успенский Г.И. Собр. соч. В 9 т. М., 1957. Т. 8. С. 626-644.

¹ Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1882. № 1).

Г. В. Плеханов

Г.В. ПЛЕХАНОВ

(1856—1918)

Современные задачи русских рабочих¹

(Письмо к Петербургским рабочим кружкам)

Дорогие товарищи! Я получил приглашение сотрудничать в журнале «Рабочий» и охотно принимаю это приглашение, чтобы побеседовать с вами о задачах нашей нарождающейся социал-демократии.

Я потому обращаюсь с письмом именно к вам, — к кружкам рабочих, — что у нас в России, как везде и всюду, социал-демократическая партия должна быть партией по преимуществу рабочей. Это не значит, что социал-демократическая партия должна отталкивать от себя людей из других классов общества. Такая исключительность была бы совершенно несправедливой, создала бы ей целый ряд неудобств и даже поставила бы ее в почти безвыходное положение.

Называя ее партией рабочих по преимуществу, я хочу только сказать, что наша революционная интеллигенция должна идти с *рабочими*, а наше крестьянство должно

идти за *ними*. При такой постановке вопроса, наша социал-демократическая партия может сохранить свой рабочий характер, вовсе не впадая во вредную исключительность.

После этой оговорки я прямо перехожу к вопросу о том, каковы современные задачи русских рабочих.

В чем заключаются эти задачи, задачи тех, рабочих кружков, которые уже существуют в России, которые должны, постепенно умножаясь и расширяясь, составить грозную силу русской социал-демократии?

Одно из двух: или эти задачи фантастичны, *придуманы* кем-нибудь из вас или ваших друзей, или они представляют собой прямой вывод из вашего современного положения. В первом случае все рассуждения о них были бы бесплодными и праздными, потому что на место одной выдумки всегда можно поставить другую, столь же интересную и привлекательную. Споры были бы бесконечны, и русская социал-демократия превратилась бы в общество фантазеров и болтунов, людей слова, а не дела. Но если ваши задачи вытекают из того, что *есть*, не трудно судить о том, что *может и должно быть*.

Едва ли нужно спрашивать о том, какой путь определения задач рабочего класса лучше, серьезнее и основательнее. Дело говорит само за себя, и хотя мы с вами можем ошибаться, как и все другие люди, но мы не можем и не должны отказываться от попытки построить задачи русской социал-демократии на твердом фундаменте действительности.

Что же представляет собой эта действительность? Каково ваше современное положение?

Во-первых, вы — рабочие; а во-вторых, вы — граждане, или, так как граждан у нас пока нет, вы — обыватели русского государства.

В качестве рабочих вы продаете свою рабочую силу хозяину и обязаны трудиться на него с утра до вечера. Своим упорным, тяжелым, изнурительным трудом вы другим создаете огромные богатства, а сами имеете лишь ту скудную *заработную плату*, которая не всегда достаточна даже для того, чтобы позволить вам восстановить свои силы и предохранить своих детей от преждевременного изнурения.

Но и эта скудная плата не целиком попадает в ваши карманы. Получивши ее от хозяина, вы должны еще платить из нее налоги и подати, которые поступают в государственную казну. В этом случае вы являетесь в качестве «обывателей», обязанных платить, не рассуждая о том, куда идут собранные с них деньги.

В качестве рабочих вы вступаете в договор с вашим хозяином. Вы обещаетесь работать, он обещается платить вам известную сумму денег поденно или поштучно. Но вот ваш хозяин находит, что платить вам условленную сумму ему невыгодно. Он вывешивает объявление, в котором доводит до вашего сведения, что с такого-то числа ваша поденная или поштучная плата будет понижена на столько-то. Вы не соглашаетесь на такое понижение и объявляете ему, что не станете работать. Приходит назначенный день, фабрика или завод пустеет. Тогда хозяин идет в полицию и говорит, что вы «бунтуете». На место действия спешат городовые, жандармы, казаки, многих из вас хватают, сажают в тюрьмы или высылают, а остальных насильно заставляют идти на

работу. В этом случае вы опять-таки являетесь в качестве «обывателей», отданных в жертву полицейского произвола и насилия.

В качестве рабочих вы испытываете теперь многочисленные бедствия. Если вы задумаетесь о том, как избавиться от этих бедствий, если вы станете собираться и обсуждать ваше положение, если вы начнете читать книги, которые зовут вас на борьбу с вашими притеснителями — вас опять объявят бунтовщиками, вас будут обыскивать, арестовывать и жестоко наказывать по суду или даже без всякого суда, *«административным порядком»*. И в этом случае вас преследуют не как рабочих такой-то фабрики или такого-то завода, а просто, как бесправных «обывателей», которым запрещено думать, как они хотят, и говорить, как они думают.

Во всем, мною сказанном, нет, как вы знаете по собственному опыту, ни малейшего преувеличения. Напротив, изображая ваше положение лишь в общих чертах, я не мог коснуться многих таких подробностей, перед которыми побледнело бы все вышесказанное.

Но для моей цели довольно и сказанного. Уже из него видно, что ваши задачи также должны иметь две стороны, как имеет их ваше современное положение.

Вы должны бороться: во-первых, ради своего освобождения от гнета хозяев, от *экономической эксплуатации*, а во-вторых, — ради приобретения тех прав, которые положат конец полицейскому произволу и сделают из вас, — пока еще бесправных обывателей, — *свободных граждан свободной страны*. Другими словами, вы должны бороться *во имя политической свободы*.

И не думайте, что эти две задачи могут быть отделены одна от другой, что они могут быть решены порознь и независимо друг от друга.

Каждый из вас одновременно является и эксплуатируемым рабочим и бесправным обывателем. Поэтому и все вы в совокупности, — весь русский рабочий класс, — должны одновременно стремиться низвергнуть как тех, которые являются его господами на фабрике, так и тех, которые полновластно распоряжаются теперь в русском государстве.

Одно немислимо без другого. Без экономической независимости вы никогда не будете в состоянии воспользоваться во всей полноте вашими политическими правами; без политических прав вы никогда не добьетесь экономической независимости. И если бы даже нашлось такое правительство, которое захотело бы и могло бы, — не давая вам политических прав, — обеспечить ваше материальное положение, то вы все-таки были бы не более, как *сытыми рабами, хорошо откормленным рабочим скотом*. Ваше умственное развитие, ваше нравственное достоинство пострадали бы от этого даже более, чем теперь, когда правительственный гнет толкает вас на борьбу и наполняет негодованием ваше сердце.

Ваши западноевропейские братья давно уже поняли тесную взаимную связь названных задач. Они видят в своих политических правах могучее средство борьбы за экономическое освобождение и не променяют этих прав ни на какие податки существующих правительств.

Мало того. Когда в 1878 году петербургские рабочие-социалисты организовались в Северно-русский рабочий Союз», они также выразили в своей программе убеждения в том, что экономическое освобождение трудящихся неразрывно связано с их политическим освобождением, они думали так, *несмотря на то*, что социалисты из так называемой интеллигенции говорили им, что рабочим вовсе не следует интересоваться политическими вопросами, — до такой степени эта мысль естественно вытекает из всего положения рабочего класса, до такой степени основывается она *на самой бесспорной действительности*.

Если вы признаете, — как я в этом уверен, — справедливость этой мысли, то мы, сговорившись в главном, без труда сговоримся и в подробностях.

Мы знаем теперь, что перед русским рабочим классом стоят две задачи: одна — экономическая, другая — политическая. Только разрешивши обе задачи, он достигает своего *социального* (общественного) освобождения, т. е. создаст новый общественный строй, удовлетворяющий все его потребности и не противоречащий никаким его интересам.

Чем же могут быть разрешены эти задачи?

Они могут быть разрешены только силой.

Современное правительство не даст вам добровольно политических прав: землевладельцы, фабриканты, заводчики, банкиры, словом те, в руках которых скопляются теперь богатства; не откажутся добровольно от этих богатств и не передадут их добровольно в ваше распоряжение. Между тем вам необходимо как то, так и другое. Вам остается поэтому припомнить, что *народное благо есть высший закон*, и во имя этого блага *силой* заставить ваших врагов сделать то, к чему вы не склоните их никакими просьбами, никакими увещаниями.

Итак, только силой можете вы добиться своего освобождения. Значит вам нужна сила, нужно очень много силы. В чем же она заключается?

Сила рабочего класса зависит от трех условий: 1) от его сознательности, т. е. от ясного понимания того, к чему он стремится; 2) от его сплоченности, и 3) от его тактики, т. е. от умения вовремя нападать на своих врагов и пользоваться каждой, даже и самой ничтожной победой для облегчения своих дальнейших действий.

Я не говорю о смелости, о той бесповоротной решимости во что бы то ни стало добиться своих целей, без которой нечего и начинать борьбу. Это четвертое условие подразумевается само собою и может быть выражено русской пословицей: «волков бояться, так в лес не ходить».

Рассмотрим каждое из этих условий.

В настоящее время огромное большинство крестьян и рабочих недовольны своим положением. Местами недовольство это выходит наружу, ведет к так называемым «бунтам» и «беспорядкам» в среде крестьян и рабочих. «Беспорядки» эти бесспорно вызываются теми коренными недостатками современного общественного устройства, устранения которых требуют социал-демократы. Но сами замешанные в «беспорядках» рабочие и крестьяне не видят этих недостатков. Их недовольство обрушивается по

большей части на какой-нибудь отдельный частный случай, на одно какое-нибудь «злоупотребление» теми порядками, которые уже сами по себе, без всяких частных злоупотреблений, представляют вопиющее зло. Правда, страдающие от малоземелья крестьяне приходят к той мысли, что земля должна быть отобрана от тех, кто не обрабатывает ее собственным трудом. Но дальше этого отобрания земли они ничего не видят и не знают, а ведь им нужно распоряжаться землею, так чтобы она опять не перешла в руки кулаков и эксплуататоров. Да и этого отобрания земли, этого «черного передела» крестьяне ждут от царя, который, разумеется, никогда его не сделает. Следовательно наши крестьяне, хотя и думают, что должен произойти важный переворот во всех поземельных отношениях, но не знают ни — *как* надо сделать этот переворот, ни — *кто* его сделает. А это почти равносильно тому, что они ничего не знают. То же и с рабочими. Во время стачки 1878 г. на Новой бумагопрядильне (на Обводном канале) рабочие поговаривали между собой о том, что казна должна была бы отобрать фабрику и уж от себя вести все дело. В этой мысли есть некоторый зачаток истины. Фабрики, действительно, должны быть отобраны у частных владельцев и перейти в собственность всего государства, которое уж и будет ими управлять и заведовать. Но рабочие не знали ни того, как должно поступать государство с теми продуктами, которые будут производиться на отобранных фабриках, ни того, какое государство может все это сделать. Им казалось, что нынешнее государство, с царем во главе и со всем его чиновничеством, может это сделать. Они хотели только быть «казенными» рабочими, вместо того, чтобы служить собственникам бумагопрядильни. Но от такой перемены они ровно бы ничего не выиграли. Здесь опять недостаток сознательности помешал им выставить настоящие, действительно важные требования. И так во всем.

Вот этот-то недостаток сознательности вы и должны устранять всеми возможными для вас путями. Более развитые рабочие должны помнить, что на них лежит огромный долг по отношению к их более темным братьям. Социалистическая пропаганда, т. е. распространение социалистических мыслей и, — как средство для этого, — распространение социалистических книг, брошюр и воззваний (теперь у вас есть уже газета), такая пропаганда составляет прямую их обязанность. А так как в одиночку заниматься такими вещами неудобно, то вы должны озаботиться созданием как можно большего числа социалистических кружков в своей среде. Такие кружки удесятерят силы каждого из вас в отдельности.

Эти же кружки сослужат вам и другую службу. Они дадут вам возможность образовать в своей среде стройную, сплоченную организацию. Когда вы будете иметь такую организацию в Петербурге и Москве, когда столичные организации войдут в постоянные сношения с кружками в провинциях, когда будут многочисленны эти провинциальные кружки, — тогда вы станете такой прочной революционной силой, какой у нас еще никогда не было. Тогда у нас будет много частных успехов и не далек будет общий успех, первая в высшей степени важная победа над вашими врагами.

Какой же именно успех, какая именно победа?

Я сказал уже вам, что ваша сила будет зависеть, между прочим, и от вашей тактики, т. е. от вашего умения из каждого вашего успеха извлекать всю ту пользу, которую можно извлечь из него.

Остановимся прежде всего на умении пользоваться своими успехами.

Вы задаетесь целью организовать социалистические кружки в своей среде. Вы будете иметь право сказать, что имеете успех, если кружки эти будут многочисленны, связаны между собою и приобретут влияние на остальную массу рабочих, не входящих в организацию. Спрашивается, как воспользуетесь вы этим успехом? Вы будете развивать в рабочей массе сознательное отношение к ее современному положению и к ее задачам в будущем. Вы будете распространять социалистические мысли, т. е. вести *пропаганду*, вы будете возбуждать недовольство против нынешних порядков, т. е. вести *агитацию*. Это очень хорошо, необходимо и полезно, но это еще не все, что вы можете извлечь из вашего успеха. Если ваши кружки будут расти и развиваться, то неизбежно придет время, когда кроме всего выше перечисленного, вы в состоянии будете извлечь из вашего успеха и другие важные выгоды.

Какие, например?

В настоящее время ваши кружки организуются тайно. За принадлежность к этим кружкам вам грозит строгое наказание; за каждую книгу, найденную у вас на столе, за каждое слово недовольствия, высказанное открыто и громко, вас карают и преследуют. Вообразите теперь, что вы получили бы право вести ваше Дело, ни от кого не скрываясь, что вам предоставлена была бы *свобода слова, печати, сходов* и всяческих *обществ*; представьте себе, что все то, что вы теперь делаете в тайне, было бы так же законно, как покупка новой одежды или прогулка по Царицыну лугу. Не было ли бы это для вас огромным преимуществом? Не росли ли бы тогда ваши силы вдесятеро скорее? Представьте себе, кроме того, что у вас есть не только эти «отрицательные» права, что вас не только не преследуют за вашу пропаганду и агитацию, но что вы имеете также положительное право участвовать — через ваших представителей в законодательстве, что вы свободно выбираете этих представителей, обсуждаете действия правительства, открыто выражаете свое недовольствие на него, отстаиваете проекты выгодных для вас законов. Разве все это не давало бы вам новых сил в борьбе с врагами?

Конечно, да, — конечно, давало бы! Из союза тайных рабочих кружков вы превратились бы тогда, наконец, в *открытую рабочую социал-демократическую партию*. А если это так, то вы сделали бы большую ошибку, не воспользовавшись силами тайных организаций для достижения этой цели.

<...> Разумная тактика требует, чтобы вы при первой же возможности постарались завоевать себе политические права и политическую свободу, а современное положение России показывает вам, что возможность эта очень недалека уже в настоящее время.

Недостаток места заставляет меня лишь кратко коснуться в этом первом письме того употребления, которое вы сделаете из своей политической победы. Но дело ясно и само по себе.

Опираясь на завоеванные вами права, вы сумеете также хоть немного улучшить свое материальное положение. Ваши представители потребуют от Законодательного Собрания целого ряда экономических реформ в пользу бедных и трудящихся классов. Конечно, нельзя ожидать серьезных реформ от Собрания, в котором большинство будет состоять из представителей высших классов. Но, во-первых, вы все-таки получите таким образом несравненно больше, чем получили бы вы, сидя сложа руки. А, во-вторых, — упорство высших классов также пойдет вам на пользу, хотя и в другом отношении. Оно

возбудит неудовольствие народа, оно толкнет в ваши революционные ряды тех, которые по своей слабости и нерешительности надеялись на мирный исход, на милосердие царя, на благоразумие высших классов. Оно послужит новым, самым убедительным доводом в пользу ваших идей, в подтверждение той истине, что полное освобождение трудящегося класса возможно будет лишь тогда, когда этот класс захватит *всю* государственную власть в свои руки и провозгласит *республику социальную и демократическую*.

Итак, что же вам предстоит теперь делать?

1) Развивать сознательность в среде ваших товарищей, 2) организовать и сплачивать их силы, 3) направлять эти силы на завоевание тех политических прав, которые дали бы вам возможность добиться некоторых экономических реформ уже в настоящее время, а главное облегчили бы вам вашу окончательную победу в будущем.

Ведите же настойчивее это дело! Мы живем накануне важных событий, и русскому рабочему классу необходимо явиться сознательным участником в этих событиях, а не жалкой массой рабов, над которой не издевается только ленивый!

Плеханов Г.В. Соч. М.; Пг.,

1923. Т. 2. С. 363—372.

¹ Впервые опубликовано в газете «Рабочий» (1885. № 2).

В. Г. Короленко

В.Г. КОРОЛЕНКО

(1853—1921)

Павловские очерки¹

Вместо вступления

Размышления о павловском колоколе

Село Павлово лежит над Окой, на нескольких горах и по оврагам. Горы эти дают свои названия разным частям Павлова: Семенова, или, как называют ее иногда по-старинному, Семенья-гора, Дальняя круча, Троицка-гора. На Троицкой горе стоит старая церковь, видная издали с паромов, бегущих книзу по излучинам Оки. Около церкви разбит небольшой садик, в садике находится квадратная площадка с шатровым навесом, заменяющая колокольню. Под этим навесом, на толстой деревянной перекладине, висит громадный колокол, каких не много увидите вы даже и в больших городах.

Небольшая калитка в церковной ограде выводит из сада прямо к обрыву Троицкой кручи, а с этого обрыва видны, как на ладони, Ока, заокские луга с деревьями и самое Павлово.

Раннею еще осенью, приехав в Павлово на пароходе, я ходил с трех часов утра в понедельник по павловским улицам, присматриваясь к картинам и прислушиваясь к разговорам кустарной «скупки», которая происходит раз в неделю и начинается еще при огнях. Тогда цены начали уже сильно «низнуть», как говорят в Павлове, и поэтому картины и разговоры, не особенно привлекательные и в обыкновенное время, теперь произвели на меня впечатление угнетающее. Когда взошло солнце и огни в скупщицких подвалах погасли один за другим, меня потянуло из этой человеческой свалки в кривых улицах куда-нибудь на простор, в уединение. Я еще не знал Павлова, но случайно пустынные взвоз и кривые переулки вывели меня к собору на горе; тропинка в церковном садике привела к калитке. Переступив ее, я очутился на круче и остановился, восхищенный открывшимся передо мною видом.

Солнце было еще невысоко. Вчера выпал дождь, и луга за Окой в разных местах курились плотными белыми туманами, из-за которых кое-где сверкали окна далеких, тоже кустарных деревень. Ока нежилась в берегах, синяя и сверкая искрами далеко под береговыми ярами. По ней грузно сновал паром от одного берега к другому, точно большой водяной жук, между тем как легкие лодки мелькали взад и вперед, как комарики. И паром, и лодки были нагружены рабочим народом. Народ сновал по улицам Павлова, под моими ногами. Кучи кустарей, толпившихся ранее, подобно муравьям у муравейников, около скупщицких подвалов, теперь редели, и муравьи расплозились по улицам, по базару, скупиваясь у возов с деревенскими продуктами, у лавки. Гул этой толпы едва достигал сюда, уменьшенный, как и самые фигуры.

Картина была полна жизни, солнечного блеска и оживления. А когда, вдобавок, откуда-то сверху, из ничтожного, едва заметного облачка посыпался вдруг редкий дождик и капли, сверкая, протянулись в синем воздухе золотыми нитками, то казалось, что это радостное, благосклонное утро шутит и заигрывает с бодрю, полною рабочего оживления страной.

Но это была только иллюзия. В действительности, впечатления, которые я принес с собою на Троицкую кручу, были спутаны и неясны. Кустарное село имеет несомненно свою собственную физиономию, и я не мог сказать о ней, по первому впечатлению, что «таких много». Но выражение ее мне как-то не давалось...

Вчера один мой знакомый, живущий в Павлове, восторженный поклонник кустарной формы промышленности, сводил меня к мастеру-ковалю. В доме нам сказали, что хозяин в кузнице, а кузница в саду. И действительно, маленькая, черная и покривившаяся набок кузница едва виднелась среди цветников. Ни одной грядки с картофелем или капустой здесь не было. Все небольшое пространство пестрело цветами, которых запах смешивался с запахом дыма из кузницы. Худой, весь черный коваль, с впалую грудью и непомерно развитыми руками, представлял странное зрелище среди этого цветущего и благоухающего царства.

— Да вот, — сказал он, заметив мое удивление, — никакой более охоты не имею... Иные к вину привержены, кто кочетиные бои уважает, а я больше насчет цветов.

И он с гордостью оглядел свое цветущее царство, а мой знакомый с гордостью посмотрел на него.

— Вы видите, — сказал мой знакомый, — собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами... Здесь есть все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма.

Теперь я искал глазами этот садик и не мог разыскать. Не только этого, но и других «собственных» садиков не было видно. «Собственные» дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотную крышей, игрушечную трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смехотворными оконцами. И таких «собственных» домов, на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домишки за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конурке?

И все Павлово, расстилавшееся подо мной по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего, сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смену дряхлого и повалившегося, — совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен сколько угодно. Среди лачуг высятся «палаты» местных богачей, из красного кирпича, с претенциозною архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами... Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток «фабрики» прорезал воздух, то мне показалось, что я, наконец, схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть, — что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...

На площадку, заменяющую колокольню, взошел какой-то молодой человек в черном подряснике, с длинными волосами, и стал раскачивать огромный стержень колокола, собираясь звонить к ранней обедне. Чугунное сердце завизжало и закрипело в гнезде, причетник с усилием тянул веревку, а под конец сам весь подавался за стержнем. Я со страхом ждал первого удара, думая о том, какая масса звона хлынет сейчас на меня из-под этой громады.

И вдруг какой-то дребезжащий стук, а за ним жалкий, надтреснутый хрип пронесся над моею головой, упал с кручи и замер в лугах, за Окой. За этим ударом последовал другой, за ним третий, и все такие же жалкие, такие же надтреснутые и хриплые. Тяжело было слушать эти разбитые стоны и выкрикивания меди; казалось, вот-вот с последним ударом большой колокол издаст последний глухой хрип и оборвется.

— Сломан, — сказал мне в промежутке старик, сидевший невдалеке, на скамейке, которого я не заметил ранее, — сломан колокол-то. Оттого и хрипит...

И сам он тоже закашлялся, причем этот кашель, в котором слышалась многолетняя разъедающая железная пыль, удивительно напоминал хрипы колокола.

Я оглянулся. Действительно, внизу в теле огромного колокола виднелась большая зазубрина, от которой сверху змеилась широкая трещина.

Старик поднялся со скамейки и между тем, как ветер трепал на нем жалкую одежку, он с досадой махнул рукой по направлению к колокольне.

— Ну, будет уж, будет. Чего тут... Так вот и Павлово наше, — сказал он мне, поворачиваясь, чтоб уйти. — Бухает, бухает, а толку мало.

И он опять махнул рукой, закашлялся и побрел шагом человека, которому, в сущности, и идти-то некуда («все толку мало»). А я остался, слушая, как усердствует звонарь, и думал про себя: «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал? Неужто этот старик, проживший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?.. Павлово — один из оплотов нашей «самобытности» против вторжения чуждого строя, — неужели оно тоже бухает без толку, предсмертным, надрывающим хрипом? Как будто в «кустарном» бытовом строе тоже есть своя зияющая трещина...».

Таково было первое впечатление, произведенное на меня кустарным селом.

На «скупке»

Скупка, ее логика и ее разговоры

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напуганных с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, — они взволнованы. Он разворачивает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, — страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, — вражды на лицах отходящих... «вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру», — невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но, с другой стороны, если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвала, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым, пронизательным взглядом. Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, «что нынче народ станет уступать до последнего». Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

— Рука, что ли, Иван Иваныч! — и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно откидывает товар:

— Не рука.

Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны.

Для него отодвинутые образцы — несколько гривенников барыша, для кустика, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния.

— Рука, что ли? — спрашивает следующий.

— Почем отдашь?

— По-прежнему, Иван Иванович, как всегда.

— Без полтины.

— Много дороже слышали...

— Надо было отдавать.

И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.

Это он пробует, до какой степени народ поддается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

— Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка**** у вас плоха, — говорит он.

— Личка у нас ноне, Иван Иванович, первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

— Почем?

— По шести гривен.

— Уступай, Потапыч, уступай.

— Уступлено, Иван Иванович, сами знаете, по восьми брали.

— Знаю, что по восьми, да уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.

Уступает до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем человек все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция — пресс... Кустарь — материал, лежащий под прессом, скупщик —

винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки_****, которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записную цену и швырнул с досадой в общую кучу.

— Еще упала цена! Все уступают да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы, — за такую цену отдавать!

— Разве это вам невыгодно? — спросил я, удивленный этой досадой на дешевизну покупки.

Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было не выгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать по последней возможности.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него безукоризненные, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее количество товара; форма остается та же, но вес и работа — другие. Он — артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

— Почем?

— Знаете сами, почем брали.

— Теперь дешевле.

— А как?

— Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

— За полтину этот товар отдавать — солому надо есть. Не научились еще дети у нас.

— Научатся, — говорит скупщик хладнокровно.

Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости. <...>

Я насчитал около тридцати скупщических огней. Из них только пять или шесть принадлежали крупным местным торговцам; остальные светились на столиках,

поставленных где-нибудь на улице, под стенами домов. За такими столиками торговалась мелкота, вроде моего знакомого по постоялому двору, а кое-где мастера кустари, присоединяющие к работе за станком также и скупку. Это та часть кустарной массы, где мелкий скупщик еще не вылутился окончательно из мастера. Вот он принял двух-трех рабочих; ему повезло, он нанимает еще. Сколотив несколько десятков лишних рублей, он начинает скупать товар у других кустарей и в один из понедельников зажигает огонь и садится за столик. Почти все огни, горящие теперь в крупных кладовых, загорались таким образом, на маленьких столиках, прямо из-под горнов кустарей.

Аверьян назвал мне именно этих торговцев, сопровождая свои объяснения бесцеремонными прибаутками и крепкими словцами. Вообще, видимо, и он, и другие кустари, кучками собиравшиеся теперь на улице, после того, как они отдали образцы, относились к этой мелкоте с большим презрением. Впрочем и из торговцев покрупнее редкого звали за глаза иначе, как Петькой, Васькой или Митькой.

Короленко В. Г. Собр. соч. В 10 т.

М., 1955. Т. 9. С. 7—11, 21—27.

Мултанское жертвоприношение²

I

1 октября 1895 года в 4 часа 50 минут вечера в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось... Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.

Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.

Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултани, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуманном заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?».

На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:

— Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения. Относительно троих к этой формуле было прибавлено:

— И заслуживает снисхождения.

Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.

Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились...

— Крестос страдал... — прошептал он с усилием. Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.

— Крестос страдал, — зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, с слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый.

— Крестос страдал, нам страдать надо... — шопотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее — одно отчаяние и гибель.

Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.

— Дети, дети! — воскликнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо...

Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.

Публика двигалась взад и вперед, как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в котором посередине комнаты, окруженный желтыми огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.

Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив голову на руки; дамы из публики смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.

Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал, — публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшимся у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.

— Православной! — говорил он. — Бога ради, ради Христа... Коди кабак, коди кабак, сделай милость.

— Тронулся старик, — сказал кто-то с сожалением.

— Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может скажут. Криста ради... кабак коди, слушай...

— Уведите их в коридор, — распорядился кто-то из судейских. Обвиняемых вывели из зала...

II

Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы. Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в Европейской России среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русским одной и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений! Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан — глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая, — то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пяти — десяти верстах от большой пристани Вятские Поляны, на реке Вятке, и в полуторах десятках верст от большого пермско-казанского тракта. В Старом Мултани вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе... Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов, — местный торговец, староста мултанской церкви...

Если вы подумаете, далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибаетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части неизвестно откуда исходящих, — слухов о том, что среди вотяков *вообще* сохранился обычай человеческих жертвоприношений. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна будто бы для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «вавожского края»... Этого мало. Ученый эксперт казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исходившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческой жизнью... Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-

учителя, наконец, в роли священника из Вятского края, — и вы сразу *почувствуете* все ужасное значение этого приговора.

Предполагаю, что у учителя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм... В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибленный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом... «Что же мудреного, — спрашивает у меня один корреспондент, — что вотяки полужычники, которые, вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы, — могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?».

Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны, — и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать-двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же? Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи... Слыхали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами! Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?

Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оставим также и церковно-приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общею жизнью с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом — расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал — это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически, — между нами приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в Ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры...

Далее, я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионеров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. Я приведу ниже молитву, которая произносилась в начале настоящего столетия на огромном жертвоприношении черемис их *картами* (жрецами), и вы увидите, какому богу она приносилась и как сама она далека уже от каннибальских заклинаний. Наконец, между этим последним язычником и инородцем-христианином, более столетия уже обращенным, — является еще одна, еще новая градация...

Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь, — все-таки они не могли не отдалить инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. <...>

И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае — это убийство суеверное?

Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при котором молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае, — спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Каннибализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру...

Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячелетия.

Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это — не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.

Но если это так, — то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равносильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенесите мыслью в положение вотняка, сколько-нибудь сознательно относящегося к этому обвинению, — и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, неспособных вековым общением облагородить соседа-инородца хотя бы до степени невозможности каннибализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Каннибализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии человеческого типа... Существование языческих обрядов не может еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.

Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы, — но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек, — нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ... Но прежде всего: действительно ли этот культ существует... Нужно, чтобы рассеялся этот

густой туман, эта туча недоумения, нависшая над мрачной драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями...

Короленко В.Г. Собр. соч. Т. 9. С. 344—351.

¹ «Павловские очерки». Впервые опубликовано в «Русской мысли» (1890. № 9).

**** Личить — обтачивать поверхность ножей на камне перед полировкой (примеч. В. Г. Короленко).

***** На скупке принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условной цены. Во время приемки кустарь доставляет условленное количество самого товара (примеч. В. Г. Короленко).

² «Мултанское жертвоприношение». Впервые опубликовано в «Русском богатстве» (1895. № 11).

В 1892 г. на полпути между удмуртским селом Старый Мултан и русской деревней был обнаружен труп нищего — старика Матюнина. Полицейские, воспользовавшись этим, обвинили вотяков (удмуртов) в ритуальном человеческом жертвоприношении. Дважды суд в Сарапуле и Елабуге заканчивался обвинительным приговором жителям села Старый Мултан. Короленко с помощью печати («Русские ведомости», «Русское богатство») добился пересмотра дела в 1896 г. и полного оправдания подсудимых.

А. П. Чехов

А.П. ЧЕХОВ

(1860—1904)

Из Сибири¹

— Отчего у вас в Сибири так холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акации и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видел я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и

почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых, как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

— Из какой губернии?

— Из Курской. <...>

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе: у его ног мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уж смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

— Хуже не будет! — говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

— Хуже не будет!

— Будет хуже! — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка-непереселенец с острым взглядом. — Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге, около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге тридцать — сорок арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади — две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего — бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать, и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных <...>

IX

<...> На Енисее <...> жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же

дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову², который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея: я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо... Скоро после Енисея начинается знаменитая тайга <...> Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого зеленого чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, за ним третий, и так без конца; через сутки опять взглянешь с холма вперед — и опять та же картина... Впереди, все-таки знаешь, будет Ангара и Иркутск, а что за лесами, которые тянутся по сторонам дороги на север и юг, и насколько сотен верст они тянутся, неизвестно даже ямщикам и крестьянам, родившимся в тайге. Их фантазия смелее, чем наша, но и они не решаются наобум определять размеры тайги и на наш вопрос отвечают: «Конца нет!» <...>

Чехов А.П. Полн. соб. соч. и писем. В 30 т.

М., 1978. Т. 14—15. С. 7—37.

Остров Сахалин³

(из VIII главы)

<...> Южнее Александровска по западному побережью есть только один населенный пункт — Дуэ, страшное, безобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко испорченные люди. Это пост: население называет его портом. Основан он в 1857 г., название же его Дуэ или Дуй существовало раньше и относилось вообще к той части берега, где находятся теперь дуйские копи. В узкой долине, где он расположен, протекает мелкая речка Хойнджи. Из Александровска в Дуэ ведут две дороги: одна — горная, а другая — по берегу моря. Мыс Жонкиер всею своей массой навалился на береговую отмель и проезд по ней был бы невозможен вовсе, если бы не прорыли туннеля. Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным, так как при существовании хорошей горной дороги нет нужды ездить по береговой, проезд по которой стеснен условиями отлива и прилива. На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. Рыли туннель, заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью «Александровск-Пристань», а каторжные в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей.

Тотчас по выходе из туннеля у береговой дороги стоят солеварня и кабельный домик, из которого спускается по песку в море телеграфный кабель. В домике живет каторжный столяр, поляк, со своею сожительницей, которая, по рассказам, родила, когда ей было 12 лет, после того, как какой-то арестант изнасиловал ее в этапе. На всем пути к Дуэ обрывистый, отвесный берег представляет осыпи, на которых там и сям чернеют пятна и полосы, шириною от аршина до сажени. Это уголь. Пласты угля здесь, по описанию специалистов, сдавлены пластами песчаников, глинистых сланцев, сланцевых глин и глинистых песков, приподнятых, изогнутых, сдвинутых или сброшенных породами базальтовыми, диоритовыми и порфиоровыми, вышедшими во многих местах большими массами. Должно быть, это своеобразно красиво, но предубеждение против места засело так глубоко, что не только на людей, но даже на растения смотришь с сожалением, что они растут именно здесь, а не в другом месте. Верстах в семи берег прерывается расщелиной. Это Воеводская падь; здесь одиноко стоит страшная Воеводская тюрьма, в которой содержатся тяжкие преступники и между ними прикованные к тачкам. Около тюрьмы ходят часовые: кроме них, кругом не видно ни одного живого существа и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище.

Дальше, в версте, начинаются каменноугольные ломки, потом с версту еще едешь голым, безлюдным берегом и, наконец, другая расщелина, в которой и находится Дуэ, бывшая столица сахалинской каторги. В первые минуты, когда въезжаешь на улицу, Дуэ дает впечатление небольшой старинной крепости: ровная и гладкая улица, точно плац для маршировки, белые чистенькие домики, полосатая будка, полосатые столбы; для полноты впечатления не хватает только барабанной дроби. В домиках живут начальник военной команды, смотритель Дуйской тюрьмы, священник, офицеры и проч. Там, где короткая улица кончается, поперек ее стоит серая деревянная церковь, которая загораживает от зрителя неофициальную часть порта; тут расщелина двоится в виде буквы «игрек», посылая от себя канавы направо и налево. В левой находится слободка, которая прежде называлась Жидовской, а в правой — всякие тюремные постройки и слободка без названия. В обеих, особенно в левой, тесно, грязно, неудобно; тут уже нет белых чистеньких домиков; избышки, ветхие, без дворов, без зелени, без крылец, в беспорядке, лепятся внизу у дороги, по склону горы и на самой горе. Участки усадебной земли, если только в Дуэ можно назвать ее усадебной, очень малы: у четырех хозяев в подворной описи показано ее только по 4 кв. саж. Тесно, яблоку упасть негде, но в этой тесноте и вонии дуйский палач Толстых все-таки нашел местечко и строит себе дом. Не считая команды, свободного населения и тюрьмы, в Дуэ жителей 291: 167 м. и 124 ж. Хозяев 46 и при них совладельцев 6. Большинство хозяев — каторжные. Что побуждает администрацию сажать на участки их и их семьи именно здесь, в расщелине, а не в другом месте, понять невозможно. Пахотной земли в подворной описи показано на все Дуэ только 1/8 дес., а сенокосов нет вовсе. Допустим, что мужчины заняты на каторжных работах, но что же делают 80 взрослых женщин? На что уходит у них время, которое здесь благодаря бедности, дурной погоде, непрерывному звону цепей, постоянному зрелищу пустынных гор и шуму моря, благодаря стонам и плачу, которые часто доносятся из надзирательской, где наказывают плетью и розгами, кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России? Это время женщины проводят в полном бездействии. В одной избе, состоящей чаще всего из одной комнаты, вы застаете семью каторжного, с нею солдатскую семью, двух-трех каторжных жильцов или гостей, тут же

подростки, две-три колыбели по углам, тут же куры, собака, а на улице около избы отбросы, лужи от помоев, заняться нечем, есть нечего, говорить и браниться надоело, на улицу выходить скучно — как все однообразно уныло, грязно, какая тоска! Вечером с работ возвращается муж каторжный; он хочет есть и спать, а жена начинает плакать и причитывать: «Погубил ты нас, проклятый! Пропала моя головушка, пропали дети!» — Ну, завывала!» — проворчит на печке солдат. Уже все позаснуло, дети переплакали и тоже утомонились давно, а баба все не спит, думает и слушает, как ревет море; теперь уж ее мучает тоска: жалко мужа, обидно на себя, что не удержалась и попрекнула его. А на другой день опять та же история.

Если судить только по одному Дуэ, то сельскохозяйственная колония на Сахалине обременена излишком женщин и семейных каторжных. За недостатком места в избах 27 семейств живут в старых, давно уже обреченных на снос постройках, в высшей степени грязных и безобразных, которые называются «казармами для семейных». Тут уже не комнаты, а камеры с нарами и парашами, как в тюрьме. По составу своему население этих камер отличается крайним разнообразием. В одной камере с выбитыми стеклами в окнах и с удушливым запахом отхожего места живут: каторжный и его жена свободного состояния; каторжный, жена-поселка и дочь; каторжный и его жена свободного состояния, поселенец-поляк и его сожительница каторжная; все они со своим имуществом помещаются в одной камере и спят рядом на одной сплошной наре. В другой: каторжный, жена свободного состояния и сын; каторжная татарка и ее дочь; каторжный татарин, его жена свободного состояния и двое татарчат в ермолках; каторжный, жена свободного состояния и сын; поселенец, бывший на каторге 35 лет, но еще молодеватый, с черными усами, за неимением сапог ходящий босиком, но страстный картежник; рядом с ним на нарах его любовница каторжная — вялое, сонное и жалкое на вид существо; далее каторжный, жена свободного состояния и трое детей; каторжный не семейный; каторжный, жена свободного состояния и двое детей; поселенец; каторжный, чистенький старичок с бритым лицом. Тут же по камере ходит поросенок и чавкает; на полу осклизлая грязь, воняет клопами и чем-то кислым; от клопов, говорят, житья нет... По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуважением и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами, как здесь мало дорожат ими и как мало думают о сельскохозяйственной колонии.

Дуйская тюрьма меньше, старее и во много раз грязнее Александровской. Здесь тоже общие камеры и сплошные нары, но обстановка беднее и порядки хуже. Стены и полы одинаково грязны и до такой степени потемнели уже от времени и сырости, что едва ли станут чище, если их помыть. По данным медицинского отчета за 1889 г., на каждого арестанта приходится здесь воздуха 1,12 куб. саж. Если летом, при открытых окнах и дверях, пахнет помоями и отхожим местом, то, воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки <...>

В Дуэ всегда тихо. К мерному звону кандалов, шуму морского прибоя и гуденью телеграфных проволок скоро привыкает ухо и от этих звуков впечатление мертвой тишины становится сильнее. Печать суровости лежит не на одних только полосатых столбах. Если бы на улице кто-нибудь невзначай засмеялся громко, то это прозвучало бы резко и неестественно. С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую

можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках, и свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно. Бывает поэтому странно, когда среди тишины раздается вдруг пение дуйского чудака Шкандыбы. Это каторжный, старик, который с первого же дня приезда своего на Сахалин отказался работать и перед его непобедимым, чисто звериным упрямством спасовали все принудительные меры; его сажали в темную, несколько раз секли, но он стойчески выдерживал наказание и после каждой экзекуции восклицал: «А, все-таки, я не буду работать!» Повозились с ним и, в конце концов, бросили. Теперь он гуляет по Дуэ и поет.

Добыча каменного угля, как я уже сказал, производится в версте от поста. Я был в руднике, меня водили по мрачным, сырым коридорам и предупредительно знакомили с постановкой дела, но очень трудно описать все это, не будучи специалистом. <...>

В настоящее время дуйские копи находятся в исключительном пользовании частного общества «Сахалин», представители которого живут в Петербурге. По контракту, заключенному в 1875 г. на 24 года, общество пользуется участком на западном берегу Сахалина на две версты вдоль берега и на одну версту в глубь острова; ему предоставляются бесплатно свободные удобные места для склада угля в Приморской области и прилегающих к ней островах; нужный для построек и работ строительный материал общество получает также бесплатно, ввоз всех предметов, необходимых для технических и хозяйственных работ и устройства рудников, предоставляется беспошлинно, за каждый пуд угля, покупаемый морским ведомством, общество получает от 15 до 30 коп.: ежедневно в распоряжение общества командировается для работ не менее 400 каторжных; если же на работы будет выслано меньше этого числа, то за каждого недостающего рабочего казна платит обществу штрафу один рубль в день; нужное обществу число людей может быть отпускаемо и на ночь.

Чтоб исполнять принятые на себя обязательства и охранять интересы общества, казна содержит около рудников две тюрьмы, Дуйскую и Воеводскую, и военную команду в 340 человек, что ежегодно обходится ей в 150 тысяч рублей.

Разработка копей ведется недобросовестно, на кулаческих началах. «Никаких улучшений в технике производства или изысканий для обеспечения ему прочной будущности не предпринималось, — читаем в докладной записке одного официального лица, — работы, в смысле их хозяйственной постановки, имели все признаки хищничества, о чем свидетельствует и последний отчет окружного инженера». Горного инженера, которого общество обязано иметь по контракту, нет, и копиями заведует простой штейгер. Что касается платежей, то и тут приходится говорить только о том, что в своем докладе только что упомянутое официальное лицо именуется «признаками хищничества». И копиями и трудом каторжных общество пользуется бесплатно. Оно обязано платить, но почему-то не платит; представители другой стороны, ввиду такого явного правонарушения, давно уже обязаны употребить власть, но почему-то медлят и, мало того, продолжают еще расходовать 150 тысяч в год на охрану доходов общества, и обе стороны ведут себя так, что трудно сказать, когда будет конец этим ненормальным отношениям. Общество засело на Сахалине так же крепко, как Фома в селе

Степанчикове⁴, и неумолимо оно, как Фома. К 1 января 1890 г. оно состояло должным казне 194337 р. 15 к.: десятая же часть этих денег по закону приходится на долю каторжных, как вознаграждение за труд. Когда и как рассчитываются с дуйскими каторжниками, кто им платит и получают ли они что-нибудь, мне неизвестно.

Ежедневно назначается на работы 350—400 каторжных, остальные же 350—400 из живущих в Дуйской и Воеводской тюрьмах составляют резерв. Без резерва же не обойтись, так как в контракте оговорены на каждый день «способные к труду» каторжные. Назначенные на работы в руднике в пятом часу утра, на так называемой раскомандировке, поступают в ведение рудничной администрации, то есть небольшой группы частных лиц, составляющих «контору». От усмотрения этой последней зависит назначение на работы, количество и степень напряжения труда на каждый день и для каждого отдельного каторжника: от нее, по самой постановке дела, зависит наблюдать за тем, чтобы арестанты несли наказание равномерно; тюремная же администрация оставляет за собою только надзор за поведением и предупреждение побегов, в остальном же, по необходимости, умывает руки.

Имеются два рудника: старый и новый. Каторжные работают в новом; тут высота угольного пласта около 2 аршин, ширина коридоров такая же; расстояние от выхода до места, где теперь происходит разработка, равняется 150 саж. Рабочий с санками, которые весят пуд, взбирается ползком вверх темным и сырым коридором: это самая тяжелая часть работы; потом, нагрузив сани углем, возвращается назад. У выхода уголь нагружается в вагонетки и по рельсам доставляется в склады. Каждый каторжный должен подняться вверх с санками не менее 13 раз в день — в этом заключается урок. В 1889—90 г. каждый каторжный добывал, в среднем, 10,8 пуда в день — на 4,2 пуда меньше нормы, установленной рудничною администрацией. В общем, производительность рудника и рудничных каторжных работ не велика: она колеблется между 1 ¹/₂ и 3 тыс. пудов в день.

В Думских копиях работают также поселенцы по вольному найму. Поставлены они в более тяжелые условия, чем каторжные. В старом руднике, где они работают, пласт не выше аршина, место разработки находится в 230 саж. от выхода, верхний слой пласта дает сильную течь, отчего работать приходится в постоянной сырости; живут они на собственном продовольствии, в помещении, которое во много раз хуже тюрьмы. Но, несмотря на все это труд их гораздо производительнее каторжного — на 70 и даже на 100%. <...> С самого основания Дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют в карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами, и беседуют с подкупленным надзирателем. На этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории. Так, за неделю до моего приезда один богатый арестант, бывший петербургский купец, присланный сюда за поджог, был высечен розгами будто бы за нежелание работать. Это человек глуповатый, не умеющий прятать деньги, неумеренно подкупавший, наконец, утомился давать то надзирателю 5, то палачу 3 рубля и как-то в недобрый час наотрез отказал обоим. Надзиратель пожаловался смотрителю, что вот-де такой-то не хочет работать, этот приказал дать 30 розог, и палач, разумеется, постарался. Купец, когда его секли, кричал: «Меня еще никогда не секли!» После экзекуции он смирился, заплатил

надзирателю и палачу и, как ни в чем не бывало, продолжает нанимать вместо себя поселенца.

Исключительная тяжесть рудничных работ заключается не в том, что приходится работать под землей в темных и сырых коридорах, то ползком, то согнувшись; строительные и дорожные работы под дождем и на ветре требуют от работника большего напряжения физических сил. И кто знаком с постановкой дела в наших донецких шахтах, тому дуйский рудник не покажется страшным. Вся исключительная тяжесть не в самом труде, а в обстановке, в тупости и недобросовестности всяких мелких чинов, когда на каждом шагу приходится терпеть от наглости, несправедливости и произвола. Богатые чай пьют, а бедняки работают, надзиратели у всех на глазах обманывают свое начальство, неизбежные столкновения рудничной и тюремной администраций вносят в жизнь массу дрызг, сплетней и всяких мелких беспорядков, которые ложатся своею тяжестью прежде всего на людей подневольных, по пословице: паны дерутся — у хлопцев чубы болят. А между тем каторжник, как бы глубоко он ни был испорчен и несправедлив, любит всего больше справедливость, и если ее нет в людях, поставленных выше его, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие. Сколько благодаря этому на каторге пессимистов, угрюмых сатириков, которые с серьезными, злыми лицами толкуют без умолку о людях, о начальстве, о лучшей жизни, а тюрьма слушает и хохочет, потому что, в самом деле, выходит смешно. Работа в дуйских рудниках тяжела также потому, что каторжник здесь в продолжение многих лет без перерыва видит только рудник, дорогу до тюрьмы и море. Вся жизнь его как бы ушла в эту узкую береговую отмель между глинистым берегом и морем.

Около рудничной конторы стоит барак для поселенцев, работающих в копях, небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в 5 часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка! Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения, как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу. По словам врача, ходившего со мной в это утро, здесь 1 куб. саж. воздуха приходится на 3—4 человека. Между тем, это было как раз в то время, когда на Сахалине ожидали холеры и для судов был назначен карантин.

В это же утро я был в Воеводской тюрьме. Она была построена в семидесятых годах, и для образования площади, на которой она теперь стоит, пришлось срывать гористый берег на пространстве 480 кв. саж. В настоящее время из всех сахалинских тюрем это самая безобразная, которая уцелела от реформы вполне, так что может служить точною иллюстрацией к описаниям старых порядков и старых тюрем, возбуждавших когда-то в очевидцах омерзение и ужас. Воеводская тюрьма состоит из трех главных корпусов и одного малого, в котором помещаются карцеры. Конечно, о кубическом содержании воздуха или вентилициях говорить не приходится. Когда я входил в тюрьму, там кончали мыть полы, и влажный, промозглый воздух еще не успел разрядиться после ночи и был тяжел. Полы были мокры и неприятны на вид. Первое, что я услышал здесь, это — жалобы на клопов. От клопов житья нет. Прежде их изводили хлорною известью, вымораживали во время сильных морозов, но теперь и это не помогает. В помещениях, где живут надзиратели, тоже тяжкий запах отхожего места и кислоты, тоже жалоба на клопов.

В Воеводской тюрьме содержатся прикованные к тачкам. <...>

Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем.

Т. 14—15. С. 127—142.

¹ «Из Сибири». Впервые напечатано в «Новом времени» (1890. № 5142—5147).

² Сибиряков А. М. (1849—1893) — известный исследователь Северного морского пути.

³ «Остров Сахалин». Впервые опубликован в «Русской мысли» (1893. № 12).

⁴ Имеется в виду Фома Опискин, герой повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

А. М. Горький

А.М. ГОРЬКИЙ

(1869—1936)

На арене борьбы за правду и добро¹

В недалеком прошлом так называлась пресса.

Борьба за правду и добро считалась ее назначением, она высоко держала знамя с благородным девизом, начертанным на нем, и если порой впадала иногда в ошибки, то они не ставились публично в фальшь ей, прессе, группе людей, расхodoвавших для общества действительно горячую кровь сердца и неподдельный сок нервов.

К ее голосу прислушивались внимательно и серьезно, а не скептически улыбаясь, как прислушиваются теперь.

Теперь слушают искусственно подогретое слово обличения и думают про себя: «Ладно! Распинайся. Вижу я, что и ты прежде всего — есть хочешь!...»

И правы те, кто так думает, ибо, к сожалению, нынешний газетчик, за редкими исключениями, вполне достоин нынешнего читателя.

Он так же жаден, туподушен и бессовестно откровенен в своих поползновениях за «куском», как и его читатель.

Грустно отмечать факты, подтверждающие столь мрачный взгляд на дело, но это наша обязанность.

Минул век богатырей,

И смешались шашки;
И полезли из щелей
Мошки да букашки...

Они полезли — и вот ныне откровенно действуют в прессе. Без веры во что-либо, без бога и совести, без определенного взгляда на дело жизни, — им все равно, о чем ни писать, лишь бы

выходило хлестко, лишь бы понравиться улице и, поставив ее симпатии на вид своего хозяина издателя, получить с него побольше гонорара...

Полные всякого злопыхательства и отчасти не умея излить его на явления жизни, действительно заслуживающие осуждения, отчасти из трусости не делая этого, — они или пробавляются по мелочам, или «подсигивают» своего брата-газетчика.

Зачем это нужно?

Должно быть, все для того же, чтоб понравиться хозяину, или для того, чтоб по поручению хозяина подмарать репутацию другой газеты в надежде, что этим поднимется реноме своей и увеличится подписка на нее.

Расчетец пошленький и с действительными целями прессы ничего общего не имеющий. <...>

Горький А.М. Собр. соч. в 30 т.

М., 1953. Т. 23. С. 5—6.

Между прочим²

(Мелочи, наброски и т.п.)

<...> Будем говорить о технике.

Сначала о той технике, задача которой свидится к тому, чтобы создать наилучший и в то же время наивыгоднейший двигатель, одинаково применимый ко всем родам механической деятельности.

Мне кажется, что «искание наилучшего двигателя» — дело совершенно химеричное и даже совсем «плевое», как говорится, дело — и именно вот с какой стороны оно никуда не годится.

Зачем нужно выдумывать усовершенствованный двигатель и всячески ломать головы над усовершенствованием разных моторов и локомотивов с целью экономизации их энергии и требуемых ими вспомогательных средств: топлива, смазочных материалов и прочего такого?

Совершенно излишнее времяпрепровождение...

И те люди, что известны миру своим творчеством в области техники, суть, по моему мнению, отчаянные донкихоты, не больше...

Ибо все, что придумывается с целью облегчить труд человека, не достигает этой цели и едва ли достигнет, пока жив человек и нужда управляет им.

И потом, какая двигательная сила может быть более экономична, чем сила мальчиков, отдаваемых в ученье бесплатно?

Бесплатные и беззащитные мальчики не требуют от своего хозяина дров и масла, ибо мальчиков, для того чтобы они работали, не нужно ни накаливать огнем, ни смазывать маслом.

Они и без этого могут делать все, что их заставит хозяин...

Ибо к нему их погнала непобедимая нужда.

Все это прекрасно понимает господин Лебедев, хозяин местного чугунолитейного завода и бесконтрольный командир, и властелин бесплатных мальчиков-учеников.

Господин Лебедев любит соблюдать экономию.

Это хорошее качество, если оно сдерживается чувством меры.

Но... зачем же нужно чувство меры для господина Лебедева в его стремлении к барышам, если он ничем не рискует, достигая их так, как ему это угодно и выгодно?

Он прекрасно знает, что за мальчиков вступитья некому и что мальчики суть самая выгодная двигающая сила...

Им не нужно платить, их не нужно топить, чистить, смазывать и вообще ухаживать за ними так, как того требуют металлические машины, которые хотя и ничего не чувствуют, но во многом нуждаются.

Мальчики же нуждаются только в ругани, в толчках, пинках, подзатыльниках, трепках, выволочках и прочих дешевых средствах.

Наградить всем этим мальчиков хозяину не только ничего не стоит, но даже доставляет ему удовольствие.

И мальчики на заводе господина Лебедева с этой стороны совершенно довольны и вполне, даже, можно сказать, с избытком, награждены всеми этими необходимыми атрибутами ремесленного обучения.

Но, знаете, с одним из мальчиков на заводе господина Лебедева произошла 24 сентября маленькая неприятность.

Его немножко изувечили...

Это было так.

На заводе господина Лебедева есть паровой или газовый двигатель, приводящий в движение токарные станки.

Недавно завод приобрел новый станок, и хотя к нему еще не был устроен привод от двигателя, тем не менее господин Лебедев распорядился, чтобы на новом станке точили какие-то колеса. Вертеть же станок заставили мальчиков.

Брань, лязг металла, ворчание обтачиваемой вещи и равномерно-машинальное раскачивание ручки колеса у станка загипнотизировали одного из мальчиков...

Он как-то неловко пошатнулся, и его ручонка попала в шестерню станка...

Треск костей, дробимых железом, слабый крик — и станок останавливается...

Из раздробленной кисти бесплатного мальчика фонтаном хлещет кровь, а он даже и кричать не в состоянии.

Его, конечно, уводят...<...>

Иегудил Хламида

В понедельник в камере городского судьи дан был комический спектакль с юмористической целью показать публике необязательность для домовладельцев обязательных постановлений думы.

В комедии участвовало шестьдесят именитых граждан города, не устроивших, вопреки постановлению думы, тротуаров около своих бедных хижин на Дворянской улице.

Сам господин судья в то же время один из «неисполнителей» и тоже подлежит суду другого судьи.

Положеньице!

Осудив шестьдесят купцов за халатность, он должен был и себя предать суду за то же качество...

Обвиняемые — все люди солидные, с весом, бородатые и богатые...

Говорят сытыми басами, держатся корректно, улыбаются скептически.

Точно думают про себя:

«А интересно, как это нас судить будут за неисполнение постановления, которое мы сами же сотворили и издали? Хе, хе, хе! Чудно!».

Действительно чудно!

Большинство обвиняемых — гласные и некоторые из них авторы постановления.

Издали они его к сведению и руководству домохозяев — и сами же первые отринули свой закон, не исправив тротуаров в установленный ими срок.

И вот привлечены к ответственности за то, что пошли сами против себя.

Начинается суд.

— Господин Z! — вызывает судья. Z выходит и заявляет:

— Это я. Но только я тут ни при чем.

— То есть как?

— А так... мне какое дело до тротуаров? Я не домохозяин, а квартирант...

— Так как же вы? Вот полиция составила акт на вас...

— А мне какое дело? Составила, так составила...

— Да вы, может быть, ошибаетесь, — домохозяин вы?..

— Желал бы этого!

— Как же теперь? — недоумевает судья.

— А не знаю. Спросите полицию.

— Гм! Ну... господин X!

Но господин X тоже пока еще не домохозяин.

Гг. Z, в, Y и еще несколько господ также оказываются привлеченными «занапрасно».

Наконец, добираются до настоящих «нарушителей».

Они подходят к столу судьи и спокойно ждут своей участи, уверенные в своей правоте, чистоте и святости.

— Мы законы сочиняли, мы их и нарушаем. И никому, кроме нас, до всего этого дела нет...

Это написано на их почтенных, уверенных лицах.

— Господа! Вы обвиняетесь... — говорит судья.

— Знаем...

— Как же это вы?..

— Чего?

— Нарушили свои же постановления?

— А как нам их не нарушить-то было? Сказано — строй тротуары и чтобы все они были на один лад. Как так на один лад? — Не понимаем!

— Да чего же тут не понимать?

— Высоты не понимаем. Низость нам понятна, в уровень с мостовой, например, а какая высота? Нужно чтобы тротуар был выше мостовой? Так? А на сколько? На аршин? На сажень? Никто нам высоты не объяснил. Ну, мы и того, и ждали. Объяснят, мол... А вместо того полиция составила акты и вот причинила нам беспокойство... Это как будто бы и не порядок... За что беспокоить купцов? Мы народ серой...

— Да вы бы спросили думу насчет этой высоты?

— Для чего? Сама должна сказать. Мы строй, да мы же еще и расспрашивай, как строить...

— Да ведь некоторые из вас сами гласные думы?

— Нук что ж?

— Наверное, кто ни то из вас имеет же представления о типе тротуара, установленном думой?

— Никакого типа нету...

— То есть как же нету?..

— А так же... Да вы, господин судья, сами-то почему не строили тротуара?

— Я? Гм? Мне... тоже не известно, что требуется. Я тоже ни ширины, ни высоты не знаю...

— Ну вот, то-то же!

— А все-таки что-то не так у нас выходит. Постановление есть, авторы его налицо, а тротуаров нет, и представления о них тоже

нет.

— А на нет и суда нет!

Суда и не было...

Ограничились разговором и благополучно разошлись по домам...

Только...

Иегудишл Хламида

Горький А.М. Собр. соч.

Т. 23. с. 19—20, 34—36, 40—42.

Беглые заметки³

Работы на выставке принимают с каждым днем все более лихорадочный характер, — суета и шум возрастают, количество рабочих увеличивается, распорядители и устроители носятся с места на место каким-то особенным беглым шагом, физиономии возбуждены и озабочены, голоса хриплы, речь быстра и энергична — но несмотря на все это, ко дню открытия, по словам сведующих людей, будут готовы только казенные отделы, да и то едва ли все.

В числе массы причин, задерживающих правильное и быстрое течение работ, немалую роль играет излишняя, как нам кажется, забота об эстетике. Бесспорно — стремление показать товар лицом вполне законно, но не надо забывать и чувства меры. А с ним не считаются или считаются, но плохо. <...>

Со всех сторон вас окружают разные архитектурные деликатесы, всюду много стиля, много красоты, из хаоса то и дело возрождаются различные возбуждающие изумление диковинки, — а между ними, на той же самой земле, на которой стоят и они,

вздымая свои красивые купола к небу, — согнувшись в три погибели, грязные и облитые потом рабочие возят на деревянных тачках и носят на «хребтах» десятипудовые ящики с экспонатами.

Это слишком резко бьет в глаза. Рельсы для четырехколесных тачек проложены далеко не всюду, во многих частях выставки их нет, и это ведет за собой ряд очень печальных последствий. Во-первых, рельсы, будь их больше, экономизировали бы мускульную энергию и сильно ускоряли устройство выставки, так как тот же самый десятипудовый ящик, для перевозки которого рабочим на колесной тачке затрачивается четверть часа, мог бы быть перевезен по рельсам в пять минут и с затратой рабочей энергии несравненно меньшей, чем в первом случае, а во-вторых, неприятно видеть на художественно-промышленной выставке — выставку изнурительного поденного труда чернорабочих. Это портит общий ансамбль праздника промышленности и даже как бы иронизирует над праздником.

Не эстетично, знаете ли, видеть у подножия архитектурных шедевров, гордо поднимающих свои разноцветные кружевные купола к небесам, — к небесам же обращенную в три дуги согнутую спину, пышущую испарениями далеко не ароматными, покрытую грязными лохмотьями и, кажется, даже тихонько поскрипывающую с натуги.

Скажут — без этого нельзя. <...>

Горький А.М. Собр. соч.

Т. 23. С. 141—142.

Среди металла⁴

(В машинном отделении)

Когда, поутру, войдешь в машинный отдел — это царство стали, меди, железа — увидишь спокойный, неподвижный и холодно блестящий металл, разнообразно изогнутый, щегольски чистый, красиво размещенный, присмотришься ко всем сложным организмам, каждый член которых создан человеческим умом и сработан его рукой, — чувствуешь гордость за человека, удивляешься его силе, радуешься его победе над бездушным железом, холодной сталью и блестящей медью и с глубокой благодарностью вспоминаешь имена... людей, ожививших бездушные массы, из которых раньше делалось гораздо более мечей, чем плугов.

Как своеобразно хороши и как сильны все эти блестящие станки, поршни, цилиндры, центрифуги, сколько могучего в серой массе парового котла, сколько холодной силы в зубьях разнообразных пил, сколько щегольского, кокетливого блеска в арматуре и мощи в громадных маховиках, приводящих в движение десяти и стопудовые части машин. Все это стоит молча, неподвижно, блещет силой, гармонией частей и полно смысла, полно движения пока еще в потенции, но возможного, — стоит дать руке человека один толчок, и тысячи пудов железа завертятся с головокружительной быстротой. <...>

Всюду — чудеса из металлов, и всюду все молчит и не движется, ожидая команды человека, своего создателя и владыки.

А он — этот творец и владыка — тут же, около своих стальных детищ. Он ползает вокруг них и под ними, весь в грязном масле, в поту, в рваной одежде, с грязной тряпкой в руке и с утомлением на эфиопски черном лице, глаза у него страшно тупы, он неразговорчив, малоподвижен, автоматичен, в его фигуре нет ничего что напоминало бы о нем, как о владыке железа. Он просто жалок и ничтожен в сравнении с блестящим, сильным, красивым металлом, созданным для облегчения человеческой жизни и человеческого труда.

На него — живую плоть и кровь — почему-то неприятно смотреть в царстве бездушных машин.

Уходишь из отдела с чувством удивления пред машинами, с чувством смущения и обиды за человека...

Горький А.М. Собр. соч.

Т. 23. С. 158—159.

С всероссийской выставки⁵

(впечатления, наблюдения, наброски, сцены и т.д.

От нашего специального корреспондента)

20-е мая

...Я приехал в Нижний 15-го и на меня, нижегородца, знающего город, как свои пять пальцев, — он произвел странное впечатление чистотой, которая еще год тому назад совершенно не была ему свойственна, новыми зданиями, скверами, сетью проволоч, опутавших его главные улицы, по которым проложена линия электрической железной дороги, и всей своей физиономией, благообразной, чистенько умытой, утопающей в смешанном аромате свежерастворенной извести, асфальта, масляной краски и, конечно, карболки.

Приятно было видеть все это внешнее благообразие, но скоро за ним почувствовалась фальшь, глубокая внутренняя ложь; грязь, гниль и сор, накопленный десятками лет, не уничтожен в течение одного года, и не только окраины города остаются в первобытночумазом виде, но и многие из бойких улиц центра все так же грязны и так же пахнут, как это было год, пять и десять лет тому назад.

И невольно вспоминаются наши волгари, люди «по старой вере» благочестивые, сытые, жестокие; люди, ворочающие сотнями тысяч, имеющие десятки барж и пароходов и обсчитывающие своих рабочих на двугривенные: люди, от которых в будни пахнет дегтем, потом и кислой капустой и которые, надевая на себя в торжественных случаях вместо долгополых сюртуков и поддевок цивильное» платье, и в цивильном платье остаются кулаками и сквозь тонкий аромат духов Аткинсона отдают скарелничеством и всеми специфическими запахами истых волгарей.

Город убил свыше трех млн. на придание себе благоустроенного вида: но, проезжая по его мостовым, все равно, как и в былые времена, испытываешь ощущение морской качки и лому в костях. <...>

2 июня

Выставка сильно-таки протекает. Небо чуть не ежедневно изливает на выставочную территорию целые моря воды — точно смыть с нее что-то хочет. Способы передвижения по выставке довольно-таки затруднительны! Электрическая дорога Подобедова и К° не действует еще, есть артель ребят, одетых в костюмы моряков и развозящих публику по дорожкам в трехколесных креслах. Но этих кресел мало, они дороги и вязнут в песке. Смотреть, как моряк натужится, стараясь спихнуть с места кресло с пассажиром, — неприятно, еще менее приятно слушать, как моряк при этом пыхтит. Отсутствие удобного передвижения сильно затрудняет осмотр такой громадной площади — дойдешь от входа, положим, до огнеупорных построек, и через полчаса надо уходить назад, потому что времени для осмотра больше нет. Выставка открыта только с 10 до 6 ч.

Публика очень неохотно посещает выставку — далеко от города. Приезжих еще мало. И на выставке видишь «всех своих» — всюду экспоненты, «братья-писатели» и начальство.

Но поскольку публика есть, она собирается около трех облюбованных ею отделов — Средней Азии, Сибири и Крайнего Севера.<...>

В отделе Сибири внимание публики останавливают на себе два громадные золотые шара, поддерживаемые гномами. Шары, конечно, деревянные, покрытые сусальным золотом, но простая публика, читая маленькие ярлычки, приклеенные у подножья шаров, приходит в изумление и в восторге шепчет:

— Ба-атюшки! Золота-то сколько в Сибири.

На одном шаре надпись: «Шлиховое золото. Вес 9 580 пудов, стоимость его 191 200 000 р. Добыто в Нерчинском округе с 1835 г.». На другом:

«Золото, добытое с 1831 года в Алтайском округе. Вес 3687 пудов, стоимость 73 400 000 р.»

Около этих шаров, на двух больших черных столах, взятых за уровень моря, вылеплены рельефные карты названных округов. Лепка — превосходная, место рождения руд показано точно и ясно пестрыми, черными, серебряными и золотыми шариками, рассыпанными по горам. Вы видите, где добывается серебро, золото, уголь, самоцветные камни, и видите, что в обоих округах исследовано гор менее половины, что еще работы здесь хватит на века и сокровищ на сотни миллионов рублей. Большинство россыпей принадлежит кабинету его величества, являющемуся главным и самым интересным экспонатом отдела. Посредине отдела сложен красивый грот из всех минералов, открытых до сей поры в округах. Представлено 44 породы. Грот производит чарующее впечатление. У входа в него помещен медальон работы Екатеринбургской гранильной мастерской, принадлежащей тоже Его Величеству. На овальной доске, из розового орлеца, помещен Императорский орел из яшмы. Работа — чудная и вообще работы Екатеринбургской мастерской поражают своей художественностью. Три рельефные панно, изображающие цветы и вырезанные из больших, крайне ценных

кусков замечательного богатого красками орлеца положительно приводят в восторг своей чисто волшебной оригинальностью. Камню приданы такие мягкие формы, точно это не камень, точно из воска вылеплены эти фантастические узоры. <...> Вообще экспозиты кабинета чрезвычайно интересны: что ни вещь, — то редкость, или как образец творчества природы, или как образец работы человеческого ума и рук.

Но... мы не можем жить без «но». Нет никаких указаний на способ добычи и обработки руд, нет ничего, что бы уясняло дело горной промышленности в Сибири. Заведующий отделом — лицо мифическое, и видеть его удастся редкому из смертных. Справок взять негде. Ходишь — видишь камни и изделия из камней, но как и какими инструментами достигаются эти удивительные эффекты? Неизвестно. Хоть бы в фотографиях представили последовательные изображения добычи и промывки золота, картину горной работы, жизни шахтеров, работу Екатеринбургской мастерской... было бы еще более интересно и поучительно видеть условия работы в Нерчинском и Алтайском округах в настоящее время, тем более интересно, что рассказы об этих условиях носят почти всегда фантастически-ужасный колорит.

Просветить Россию, ознакомив ее с Сибирью, следует, особенно теперь, когда Сибирь по милости железной дороги подвинулась к нам так близко.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики.

М., 1956. Вып. III. С. 268, 269—271.

¹ «На арене борьбы за правду и добро». Впервые опубликовано в «Самарской газете» (1895. 30 мая. № 111).

² «Между прочим». Впервые опубликовано в «Самарской газете» (1895 29 сент. № 208; 11 окт. № 218). Отдел «Между прочим» выполнял в газете роль городского фельетона.

³ «Беглые заметки». Впервые опубликовано в «Нижегородском листке» (1896. 21 мая. № 138).

⁴ «Среди металла». Впервые опубликовано в «Нижегородском листке» (1896. 22 июля. № 200).

⁵ «С всероссийской выставки». Впервые напечатано в «Одесских новостях» (1896. 28 мая. № 3642; 9 июня. № 3655).

В. И. Ленин

В.И. ЛЕНИН

Из книги Что такое «друзья народа»

и как они воюют против социал-демократов?¹

(Ответ на статьи «Русского Богатства» против марксистов)

«Русское богатство» открыло поход против социал-демократов. Еще в № 10 за прошлый год один из главарей этого журнала, г-н Н. Михайловский², объявил о предстоящей «полемике» против «наших так называемых марксистов или социал-демократов». Затем появились статьи г-на С. Кривенко: «По поводу культурных одиночек» (№ 12) и г. Н. Михайловского: «Литература и жизнь» (№№ 1 и 2 «Р. Б.» за 1894 г.). Что касается до собственных воззрений журнала на нашу экономическую действительность, то они всего полнее изложены были г. С. Южаковым в статье: «Вопросы экономического развития России» (в №№ 11 и 12). Претендуя вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных «друзей народа», эти господа являются отъявленными врагами социал-демократии. Попробуем же присмотреться к этим «друзьям народа», к их критике марксизма, к их идеям, к их тактике.

Г-н Н. Михайловский обращает более всего внимания на теоретические основания марксизма и потому специально останавливается на разборе материалистического понимания истории. Изложивши, в общих чертах, содержание обширной марксистской литературы, излагающей эту доктрину, г-н Михайловский открывает свою критику такой тирадой:

«Прежде всего, — говорит он, — является сам собою вопрос: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории? В «Капитале» он дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией, с кропотливым исследованием как всей экономической литературы, так и соответствующих фактов. Он вывел на белый свет давно забытых или никому ныне неизвестных теоретиков экономической науки и не оставил без внимания мельчайших подробностей в каких-нибудь отчетах фабричных инспекторов или показаниях экспертов в разных специальных комиссиях: словом, перерыл подавляющую массу фактического материала частью для обоснования, частью для иллюстрации своих экономических теорий. Если он создал «совершенно новое» понимание исторического процесса, объяснил все прошедшее человечества с новой точки зрения и подвел итог всем доселе существовавшим философско-историческим теориям, то сделал это, конечно, с таким же тщанием: действительно пересмотрел и подверг критическому анализу все известные теории исторического процесса, поработал над массой фактов всемирной истории. Сравнение с Дарвином, столь обычное в марксистской литературе, еще более утверждает в этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Несколько обобщающих, теснейшим образом между собой связанных идей, венчающих целый Монблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количественную обширность и распространенность».

Вся эта тирада в высшей степени характерна для уразумения того, как мало понимают «Капитал» и Маркса в публике. Подавленные громадной доказательностью

изложения, они расшаркиваются перед Марксом, хвалят его и в то же время совершенно упускают из виду основное содержание доктрины и, как ни в чем не бывало, продолжают старые песенки «субъективной социологии». Нельзя не вспомнить по этому поводу очень верного эпитафия, выбранного Каутским в его книге об экономическом учении Маркса:

Wer wird nicht einen Klopstock loben?

Doch wird ihn jeder lesen? Nein.

Wir woilen weniger erhoben

Und fleissiger gelesen sein!_*****

Именно так! Г-ну Михайловскому следовало бы поменьше хвалить Маркса да более прилежнее читать его, или, лучше, посерьезнее вдумываться в то, что он читает. <...>

...Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс.

Теперь — со времени появления «Капитала» — материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение, и пока мы не будем иметь другой попытки научно объяснить функционирование и развитие какой-нибудь общественной формации — именно общественной формации, а не быта какой-нибудь страны или народа, или даже класса и т.п. — другой попытки, которая бы точно так же сумела внести порядок в «соответствующие факты», как это сумел сделать материализм, точно так же сумела дать живую картину известной формации при строго научном объяснении ее, — до тех пор материалистическое понимание истории будет синонимом общественной науки. Материализм представляет из себя не «по преимуществу научное понимание истории», как думает г. Михайловский, а единственное научное понимание ее.

И теперь — можете ли себе представить более забавный курьез, как тот, что нашлись люди, которые сумели, прочитав «Капитал», не найти там материализма! Где он? — спрашивает с искренним недоумением г. Михайловский.

Он читал «Коммунистический манифест» и не заметил, что объяснение современных порядков — и юридических, и политических, и семейных, и религиозных, и философских — дается там материалистическое, что даже критика социалистических и коммунистических теорий ищет и находит корни их в таких-то и таких-то производственных отношениях.

Он читал «Нищету философии» и не заметил, что разбор социологии Прудона³ ведется там с материалистической точки зрения, что критика того решения различнейших исторических вопросов, которое предлагал Прудон, исходит из принципов

³

материализма, что собственные указания автора на то, где нужно искать данных для разрешения этих вопросов, все сводится к ссылкам на производственные отношения.

Он читал «Капитал» и не заметил, что имеет перед собой образец научного анализа одной — и самой сложной — общественной формации по материалистическому методу, образец всеми признанный и никем не превзойденный. И вот он сидит и думает свою крепкую думу над глубокомысленным вопросом: «в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории?»

Всякий, знакомый с Марксом, ответил бы ему на это другим вопросом: в каком сочинении Маркс не излагал своего материалистического понимания истории? Но г. Михайловский, вероятно, узнает о материалистических исследованиях Маркса только тогда, когда они под соответствующими номерами будут указаны в какой-нибудь историософической работе какого-нибудь Кареева⁴ под рубрикой: «экономический материализм»⁵. <...>

Ленин В.И. Полн. собр. соч.

Т. 1. С. 129—131, 139—141.

¹ «Что такое друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — одна из первых публицистических работ В.И. Ленина. Впервые отпечатана на гектографе в Петербурге в 1894 г. отдельным выпуском.

² «Михайловский Н.К. — публицист, социолог и литературный критик, лидер легальных народников. В 90-е годы ведущий сотрудник журнала Русское богатство». В 1893—1895 гг. вел полемику с марксистами. Кривенко С.Н., Южаков С.Н. — сотрудники журнала «Русское богатство».

***** Кто не хвалит Клопштока? Но станет ли его каждый читать? Нет. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали! (Лессинг). — Ред.

³ Прудон — французский философ, социалист мелкобуржуазного направления.

⁴ Кареев Н.И. — профессор Петербургского университета, выступал с критикой марксизма в 80-е годы. Был раскритикован еще Г.В. Плехановым.

⁵ «Экономический материализм» — так называли народники марксизм, огрубляя его теоретические взгляды. Уже Плеханов возражал против такого термина и указывал, что Маркс никогда не называл себя экономическим материалистом.

В. М. Дорошевич

В.М. ДОРОШЕВИЧ

(1864—1922)

Старый палач¹

(Сахалинский тип)

В кандалном отделении «Нового времени», в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседеыми волосами, с холодными, как лягушка, руками.

Это старый палач Буренин². Сахалинская знаменитость.

Всеми презираемый, вечно боящийся, оплеванный, избитый, раз в неделю он полон злобного торжества — в день «экзекуций».

Свои мерзкие и жестокие «экзекуции» он проводит по пятницам.

Это — «его день»!

Он берет своей мокрой, холодной рукой наказуемого и ведет в свой подвальный застенок.

С мерзкой улыбкой он обнажает дрожащего от отвращения и ужаса человека и кладет его на свою «кобылу».

От этого бесстыдного зрелища возбуждается палач. Он торжествует. Задыхаясь от злобной радости, он кричит свое палаческое:

— Поддержись! Ожгу! И «кладет» первый удар.

— Реже! Крепче!

И опьяневший от злобы и подлого торжества палач часа три-четыре истязает жертву своей старой, грязной, пропитанной человеческой кровью плетью.

Истязает умелой, привычной рукой, «добывая голоса», добываясь крика.

Если жертва, стиснув зубы, полная презрения, молчит, не желая крикнуть перед палачом, злоба все сильнее сжимает сердце старого палача, и, бледный, как смерть, он бьет, бьет, бьет, истязует, калечит жертву, «добывая голоса»!

Это молчание, полное презрения, бьет его по бледному лицу — его презирают даже тогда, когда он молчит.

И он задыхается от злобы.

Если жертва не выдержит прикосновения грязной, человеческой кровью пропитанной плети и у нее вырвется крик, — эти крики и стоны опьяняют палача.

— Что ты? Что ты? — говорит он с мерзкой и пьяной от сладострастия улыбкой. — Потерпи! Нешто больно? Нешто так бьют? Вот как бьют! Вот как! Вот как!

И он хлещет, уже не помня себя.

И чем чище, чем лучше, чем благороднее лежащая перед ним жертва, чем большей симпатией, любовью, уважением пользуется она, тем больше злобы и зависти просыпается в душе старого, презренного, оплеванного, избитого палача.

Тем больше ненависти к жертве чувствует он и тем больше терзит себя, терзая и калеча палаческой плетью свою жертву.

Случалось ему и вешать.

Его все избегают, и он избегает всех.

Угрюмый, понурый, мрачный, он пробирается сторонкой, по стенке, стараясь быть незамеченным, каждую минуту ожидая, что его избьют, избьют больно, жестоко, без жалости, без сострадания. Вся жизнь его сплошной трепет.

— Не тяжело ли это, Буренин?

— Должность такая, — угрюмо отвечает он, — я в палачах давно. И мне из палачей уж нельзя. Мне страх надо нагонять. Я страхом и держусь. Они меня ненавидят...

И с такой ненавистью он говорит это «они»! «Они» — это все.

— Они и за человека меня не считают. Я для них хуже гадины. Я ведь знаю. Подойдет иной, руку даже протянет. А я-то не вижу разве? Дрожь по нему пробегает от гадливости, как мою скользкую, холодную руку возьмет. словно не к человеку, а к жабе притронулся. Тьфу!.. Убьют они меня, ваше высокоблагородие, ежели я палачество брошу.

И такая тоска, смертная тоска звучит в этом «убьют».

— И не жалко вам «их», Буренин?

— А «они» меня жалели? — И в его потухших глазах вспыхивает мрачный огонек. — Меня тоже драли! Без жалости, без милосердия драли, всенародно. Глаз никуда показать нельзя: все с презрением, с отвращением глядят. Так драли, так драли, — с тоской, со смертной тоской говорит он, — у меня и до сих пор раны не зажили. Гнию весь. Так и я же их! Пусть и они мучатся! И я на них свое каторжное клеймо кладу. Выжигая клеймо.

— Да ведь ваше, палаческое, клеймо не позорно, Буренин.

— А все-таки больно. Больно все-таки!

— И много вы, Буренин, народу... вашей плетью...

— Да, будет-таки! — подтягиваясь и выпрямляясь, отвечает старый палач, и в голосе его звучит хвастовство. — Не сочтешь! Каких-каких людей передо мной не было! Э-эх! Вспомнишь, — сердце чешется! По Тургеневу, Ивану Сергеевичу, моя грязная плеть ходила. Чистый был человек, хрустальной чистоты, как святого его считали.

Нарочно грязью плеть измазал, да по чистому-то, по чистому! Самые места такие выбирал, чтоб больней было. Попоганее бить старался, попоганее! Со внедрением в частную жизнь, можно сказать! Чтоб гаже человеку было. Гаже-с. На это у меня рука! Хлещу и чувствую, что человек не столько от боли, сколько от омерзения ко мне содрогается, сердце во мне и разгорается: как бы побольнее да погаже, попоганее-с! И кого только я вот этак... погано-то... Все, что только лучшим считалось. Чем только люди гордились. Из художников Репин, Антокольский, Ге покойник, из писателей Короленко, Мамин, Михайловский-критик, строптивый человек...

— Почему же строптивый, Буренин?

— Похвалить я раз его задумал, с лаской к нему подошел. Он от меня, как от нечисти, отшатнулся: «Не смей, — кричит, — меня, палач, своей палаческой рукой трогать. Истязать ты меня можешь, — на то ты и палач, но протягивать мне твоей поганой руки не смей». Гордый человек! А я ведь к нему с лаской... Эх, много, много их было. Скабичевский, Стасов, Чехов, Антон Павлович, Немирович-Данченко, Василий и Владимир, Боборыкин, Плещеев покойник, сам Толстой, Лев Николаевич, меня знает.

— И его?

— Всех поганил. Не пересчитать! Еще один был... Ну, да что вспоминать!

— Как же вы, Буренин, над ними действуете? Поодиночке?

— Зачем поодиночке! Какое же это удовольствие? Какая же радость? Нет-с, чтобы всех присных его истязать. Со всею семьею, с детьми, любовницу, если есть. Со «внедрением!» Это-с пытка! Это-с мучительство! Другой храбер. Его-то плетью бьешь, «плевать», — говорит, — на этой плети столько праведной человеческой крови, сколько и в тебе-то крови не осталось!» А начнешь истязать, да при всех обнажать, да срамить-то его жену, — он и закричит. Голос, — хе-хе! — подаст! Боли не выдержит. Это что, — человека взять, когда он в кабинете сидит, сочинение пишет! Нет, в спальню к нему забраться, взять его, тепленького, когда он в постели лежит. Тогда взять его и жену и в подвал к себе привести — и перед публикой-то их голыми, голыми! Срамить! Да плетью-то не по нем, а по жене, по жене, на его-то глазах! Крикнет! Какой ни будь человек, не выдержит... Хоррошо! Тьфу! При одном воспоминании слюной давишься!

— Вы и женщин, Буренин? Тоже в частную жизнь...

— Без числа! Их-то самая и прелесть. Потому мужчину надо с опаской. А женщина, что она? Слабенькая-с... Особливо, когда заступиться за нее некому. Ну и начнешь! Иногда даже, случалось, перекладывал. Женщину-врача, изволили слышать, Кашеварову-Рудневу раз взял... Ну, и того! Переложил. Под суд отдали. Посадили.

— Вас, Буренин?

— Нет, наемного человека. Меня-то за что же-с? Я палач. Мое дело такое.

— Ну, а вешать вам, Буренин, приходилось?

Бледное лицо старого палача дернулось, потемнело, в потухших глазах загорелся еще мрачнее огонь, и он сдавленным голосом ответил:

— Бывало.

— И не страшно, Буренин?

— Спервоначалу жутко. Как повесишь его, западню-то из-под него вышибешь, как закрутится он на веревке, ногами часто-часто перебирает, — в душу подступает...

И Буренин указал куда-то на селезенку.

— Был один тут³... покойник... Фу ты, господи! Даже «царство ему небесное» язык сказать не поворачивается... Старый палач с трудом перевел дух.

— Молодой был... Волосья длинные... Стихи он писал... И такие задушевные, грустные... словом душа с телом расставалась... Будто чувствовал, что конец его близок... Глаза были такие большие, большие... Мучительные глаза, и мученические... Чахотка у него была... Ну, я его и того... и прикончил...

— За что же, Буренин?

— Шибко я в те поры, ваше высокоблагородие, зол был. В душе аж смердело, до того лют был... Чист больно ходил! Чистый был человек, насквозь его видеть было... Сам-то больной, еле дышит, умирающий, а где доброе дело, в пользу бедных, больных что затевается, он там первый... Не токмо притащится, на руках принесут его, умирающего... На него все только-только богу не молились... Святым его почитали... И так мне, ваше высокоблагородие, от его чистоты моя грязь засмердела. Места себе не нахожу! Возненавидел я его, как Каин Авеля... Разгорается у меня душа... «Ведь вот, думаю, как людей люди любят, а я-то, я-то... словно гадина хожу, сторонятся все...» И такая меня злоба взяла... я его и покончил...

— Сразу, Буренин?

— Нет, мучил. Долго мучил. Больной он, говорю, был, чахоточка у него была, кровьюцей он кашлял. Так я его по больному-то, по больному-то... Хлынет у него кровь, — вижу нельзя больше, так я, кто ему ближе, дороже, раздену, обнажу да плетью-то, плетью грязной, да при нем-то, при умирающем, при истерзанном. «Смотри, мол, хорошо? А? Хорошо?» Смотрит он своими глазами, большими, страдальческими, мучится, страждет, помочь-то не может: кровь его душит, мной же вызванная кровь... Мучил я его долго... До таких поганств доходил, до каких никогда не доживал... Однако вырвали у меня его тело и в теплые края повезли, чтоб оправился. Тут на меня прямо смрад нашел... Задыхаюсь... «Ужели, думаю, уйдет?..» Тут я его и прикончил... Затянул петлю, — задрожал он весь, кровь пеной, пеной пошла, в моих руках и помер.

— И не жаль, Буренин?

— Страшно было очень... Потом прошло... А спервоначалу так страшно было... Кругом все сторонятся: «Убийца!..» И сам знаю, что убил, а мне все кажется, что жив «он»... Войдешь это, бывало, в пятницу, в свой день, в подвал свой, грязный, холодный, темный, человеческой кровью испачканный, замахнешься плетью, чтоб кого истязать начать, — передо мною «он»... Глаза большие, страдальческие, по губам алая кровь

бежит... На меня глядит... «Жив!», думаю... Волосы на голове шевелятся... Бросишь, другого-то, да за него... Опять его вешать начнешь... Над телом ругаешься: «Да умри ты! Когда ты умрешь?..» Петлю-то на мертвом уж затягиваешь, ногами топчешь... «Умри!..» Сколько раз я покойника вешал... Повесишь и на ноги ему повиснешь: «Умри! Совсем умри!» Все являлся. Года три мучился...

— Ну а теперь, Буренин?

— И теперь является. Редко только... Останешься этак в кабинете один; вечером, возьмешься за перо, глядишь, а из темноты угла-то «он» выходит. Волосы длинные, лицо бледное, глаза большие, широко раскрыты, и на губах все кровь... Живая кровь...

— Ну и что же, Буренин?

Лицо старого сахалинского палача передернулось.

— Осиновый кол покойнику в могилу затесываю!.. И до сих пор...

— Еще раз, — и не жаль вам, Буренин, ни себя, ни других? Он только рукой махнул.

— Себя-то уж поздно жалеть! А других? Как их, чертей, жалеть, когда бьют они меня, походя, как собаку бьют!

И в голосе старого палача зазвучала нестерпимая, непримиримая злоба, которой нет конца, нет предела.

— Как бьют, Буренин?

— Бьют! Без жалости, без милосердия бьют! Без счета! Девушку одну, артистку, в Варшаве убили! Ну, я взял покойницу, обнажил и начал плетью... Ведь покойница, не больно ей, дай человеку душу-то потешить... Так и труп отняли, и того жалко! Явились, бить явились, кричали, изломать, измолотить хотели. Я уж под стол спрятался, сидел, не дышал, боялся — увидят, избьют, кости у меня ныли...

И когда он говорил о «труп», он был похож на огромного разозленного голодного ворона, у которого отняли падаль.

— Писателя одного старого... Почтенный такой был, его тоже праведником считали... Я «взял» его, как люблю... С женой, да по ней-то, по ней... Сын его меня на Невском встретил, да палкой, палкой... Разве «они» разбирают, как бьют! Где попадут, там и бьют. Недавно тоже... Начал я это «экзекуцию» над недругами своими производить да грязными руками за близких им людей, а «они» собрались и меня! Как били! Косточки мои болят, как били... Да всех-то и не пересчитаешь, кто бил... А плюют-то, плюют как при этом...

Буренин схватился за голову.

И он был мне больше не ужасен, не отвратителен, он был мне жалок, бесконечно жалок, этот озлобленный, оплеванный старый литературный палач.

В. М. Дорошевич. Избранные страницы.

М., 1986, С. 101—107.

¹ Впервые опубликовано в газете «Россия», 22 января 1900 г.

² В.П. Буренин — фельетонист, поэт-сатирик, критик газеты «Новое время».

³ Имеется в виду поэт Надсон С.Я.

А. В. Амфитеатров

А.В. АМФИТЕАТРОВ

(1862—1938)

Господа Обмановы¹

Когда Алексей Алексеевич Обманов, честь честию отпетый и помянутый, успокоился в фамильной часовенке при родовой своей церкви в селе Большие Головотяпы, Обмановка тож, впечатления и толки в уезде были пестры и бесконечны. Обесхозяилось самое крупное имение в губернии, остался без предводителя дворянства огромный уезд.

На похоронах рыдали:

— Этакого благодетеля нам уже не нажить.

И в то же время все без исключения чувствовали:

— Фу, пожалуй теперь и полегче станет.

Но чувствовали очень про себя, не решаясь и конфузясь высказать свои мысли вслух. Ибо — хотя Алексея Алексеевича втайне почти все не любили, но и почти все конфузились, что его не любят, и удивлялись, что не любят.

— Прекраснейший человек, а вот поди же ты... Не лежит сердце!

— Какой хозяин!

— Образцовый семьянин!

— Чады и домочадцы воспитал в страхе божием!

— Дворянство наше только при нем и свет увидало! Высоко знамя держал-с!

— Дас-с, не то что у других, которые! Повсюду теперь язвы-то эти пошли: купец-каналья, да мужикофилы, да оскудение.

— А у нас без язвов-с.

— Как у Христа за пазухой.

Словом, казалось бы, все причины для общественного восторга соединились в лице покойника, и все ему от всего сердца отдавали справедливость, и однако, когда могильная земля забарабанила о крышку его фоба, — на многих лицах явилось странное выражение, которое можно было толковать двусмысленно — и как:

— На кого мы, горемычные, остались.

И:

— Не встанет. Отлегло.

Двусмысленного выражения не остались чуждыми даже лица ближайших семейных покойного. Даже супруга его, благодетельствованная им, ибо, взятая за красоту из гувернанток, Марина Филипповна, когда перестала валяться по кладбищу во вдовьих обмороках и заливаясь слезами, положила последние кресты и последний поклон перед могилою с тем же загадочным взором:

— Кончено. Теперь совсем другое пойдет.

Сын Алексея Алексеевича, новый и единственный владелец и вотчинник Больших Головоотяпов, Никандр Алексеевич Обманов, в просторечии Ника-милуша, был смущен более всех.

Это был маленький, миловидный, застенчивый молодой человек с робкими, красивыми движениями, с глазами то яснодоверчивыми, то грустно обиженными, как у серны в зверинце.

Перед отцом он благоговел и во всю жизнь свою ни разу не сказал ему: нет. Попросился он, кончая военную гимназию, в университет, — родитель посмотрел на него холодными, тяжелыми глазами навывкате:

— Зачем? Крамол набираться? Никандр Алексеевич сказал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И так как папеньке было угодно пустить его по военной службе, то не только безропотно, но даже как бы с удовольствием проходил несколько лет в офицерских погонах. В полку им нахвалиться не могли, в обществе прозвали Никою-милушею и прославили образцом порядочности; все сулило ему блестящую карьеру. Но как скоро Алексей Алексеевич стал стареть, он приказал сыну выйти в отставку и ехать в деревню. Сын отвечал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И только Марина Филипповна осмелилась было заикнуться перед своим непреклонным повелителем:

— Но ведь он может быть в тридцать пять лет генерал! На что и получила суровый ответ:

— Прежде всего, матушка, он дворянин и должен быть дворянином. А дворянское первое дело — на земле сидеть-с! Да-с! Хозяином быть-с! И когда я помру, желаю, чтобы сию священную традицию мог он принять от меня со знанием и честью.

И сидел Ника-милуша в Больших Головотяпах, Обмановке тож, безвыходно, безвыездно, — к хозяйству не приучился, ибо теории-то дворянско-земельные старик хорошо развивал, а на практике ревнив был и ни к чему сына не допускал:

— Где тебе! Молод еще! Приглядывайся: коли есть голова на плечах, когда-нибудь и хозяин будешь.

— Слушаю, папенька. Как вам угодно, папенька.

За огромным деревенским досугом, совершенно бездельным, ничем решительно не развлеченным и не утешенным, Ника непременно впал бы в пьянство и разврат, если бы не природная опрятность натуры и опять-таки не страх родительского возмездия. Ибо — каких-каких обвинений ни взводили на Алексея Алексеевича враги его, а тут пасовали:

— Воздержания учитель-с.

— Распутных не терплю! — рычал он, стуча по письменному столу кулачищем. И, внемля стуку и рыку, все горничные в доме спешили побросать в огонь безграмотные цидулки, получаемые от «очей моих света, милаво предмета», так как достаточно было барину найти такую записку в сундуке одной из домочадиц, чтобы мирная обмановская усадьба мгновенно превратилась в юдоль плача и стенаний и преступница с изрядно нахлестанными щеками и с дурным расчетом очутилась со всем своим скарбом за воротами:

— Ступай жалуйся!

И все трепетали, и никто не жаловался.

Целомудрие Алексея Алексеевича было тем поразительнее и из ряда вон, что до него оно отнюдь не могло считаться в числе фамильных обмановских добродетелей. Наоборот. Уезд и по сей час еще вспоминает, как во времена оны налетел в Большие Головотяпы дедушка Алексея Алексеевича, Никандр Памфилович, — бравый майор в отставке с громовым голосом, с страшными усищами и глазами навкате, с зубодробительным кулаком, высланный из Петербурга за похищение из театрального училища юной кордебалетной феи. Первым делом этого достойного деятеля было так основательно усовершенствовать человеческую породу в своих тогда еще крепостных владениях, что и до сих пор еще в Обмановке не редкость встретить бравых пучеглазых стариков с усами как лес дремучий, и насмешливая кличка народная всех их зовет «майорами». Помнят и наследника Майорова, красавца Алексея Никандровича. Этот был совсем не в родителя: танцовщиц не похищал, крепостных пород не усовершенствовал, а, явившись в Большие Головотяпы как раз в эпоху эмансипации, оказался одним из самых деятельных и либеральных мировых посредников. Имел грустные голубые глаза, говорил мужикам «вы» и развивал уездных львиц, читая им вслух «Что делать?». Считался красным и даже чуть ли не корреспондентом в «Колоколе». Но при всех своих цивилизных добродетелях обладал непостижимою слабостью — вовлекать в амуры соседних девиц, предобродушно — и, кажется, всегда от искреннего сердца — обещая каждой из них непременно на ней жениться. Умер двоеженцем — и не под судом только потому, что умер.

И вот после таких предков, — вдруг Алексей Алексеевич! Алексей Алексеевич, о котором вдова его Марина Филипповна, по природе весьма ревнивая, но в течение всего супружества ни однажды не имевшая повода к ревности, до сих пор слезно причитает:

— Бонне глазом не моргнул! Горничной девки не ущипнул!

Картины голые, которые от покойника папеньки в доме остались, поснимать велел и на чердак вынести.

Так выжил Алексей Алексеевич в добродетели сам и сына в добродетели выдержал.

Единственным органом печати, пониравшим в Обмановку, был «Гражданин» князя Мещерского. Хотя в юности своей и воспитанник катковского лица, Алексей Алексеевич даже «Московских ведомостей» не признавал:

— Я дворянин-с и дворянского чтения хочу, а от них приказным пахнет-с.

— Но ведь Катков... — пробовали возразить ему другие, столь же охранительные «красные околыши».

— Катков умер-с.

— Но преемники...

— Какие же преемники-с? Не вижу-с. Земская ярыжка-с. А я дворянин.

И упорно держался «Гражданина». И весь дом читал «Гражданина». Читал и Никамилуша, хотя злые языки говорили, и говорили правду, будто подговоренный мужичок с ближайшей железнодорожной станции носил ему потихоньку и «Русские ведомости». И — будто сидит, бывало, Ника, якобы «Гражданин» изучая, — ан под «Гражданином»-то у него «Русские ведомости». Нет папаши в комнате — он в «Русские ведомости» вопьется. Вошел папаша в комнату — он сейчас страничку перевернул и пошел наставлять от князя Мещерского, как надлежит драть кухаркина сына в три темпа. И получилось из такой Никиной двойной читанной бухгалтерии два невольных самообмана.

«Твердый дворянин из Ники будет!» — думал отец.

На станции же о нем говорили:

— А сынок-то не в папашу вышел. Свободомыслящий! Это ничего, что он тихоня. Не смотрите! Вот достанутся ему Большие Головотяпы, он себя покажет! От всех этих дворянских папашиних затей-рацей только щепочки полетят.

И отец и станция равно глубоко ошибались. Из всего, что было Нике темно и загадочно в жизни, всего темнее и загадочнее оставался вопрос:

— Что, собственно, я, Никандр Обманов, за человек, каковы суть мои намерения и убеждения?

От привычки урывками читать «Гражданина» не иначе как вперемежку с потаенными «Русскими ведомостями» в голове его образовалась совершенно фантастическая сумятица. Он совершенно потерял границу между дворянским охранительством и доктринерским либерализмом и с полной наивностью повторял

иногда свирепые предики князя Мещерского, воображая, будто цитирует защиту земских учреждений в «Русских ведомостях», либо, наоборот, пробежав из-под листа «Гражданина» передовицу московской газеты, говорил какому-нибудь соседу:

— А здорово пишет в защиту всеобщего обучения грамоты князь Мещерский!

Смерть Алексея Алексеевича очень огорчила Нику. Он искренне любил отца, хотя еще искреннее боялся, И теперь, стоя над засыпанною могилою, — с угрызениями совести сознавал, что в этот торжественный и многозначительный миг, когда отходит в землю со старым барином старое поколение, чувства его весьма двоятся, и в уши его, как богатырю скандинавскому Фрильофу, поют две птицы, белая и черная...

«Жаль папеньку!» — звучал один голос.

«Зато теперь вольный казак!» — возражал другой.

«Кто-то нас теперь управит!»

«Можешь открыто на «Русские ведомости» подписаться, а «Гражданин» хоть ко всем чертям послать».

«Все мы им только и жили!»

«Теперь mademoiselle Жюли можно и колье подарить...»

«Что с Обмановкой станется?»

«Словно Обмановкою одной свет сошелся. Нет, брат, теперь ты в какие заграницы захотел, в такие и свистнул».

«Сирота ты, сирота горемычная!»

«Сам себе господин!»

Так бес и ангел боролись за направление чувств и мыслей нового собственника села Большие Головопяты, Обмановки тож, и так как брал верх то один, то другой, полного же преферанса над соперником ни один не мог возыметь, то физиономия Ники несколько напоминала ту карикатурную рожицу, на которую справа взглянуть — она смеется, слева — плачет. Но что в конце концов слезный ангел Ники должен будет ретироваться и оставить поле сражения за веселым бесенком, в этом сомневаться было уже затруднительно.

Русская сатира XIX — начала XX веков.

М.—Л., 1960, с. 337—341.

¹ Впервые I часть фельетона опубликована в газете «Россия» 13 января 1902 г. с подзаголовком «Провинциальные впечатления», подпись: «Old gentlemen». За эту публикацию газета была закрыта, Амфитеатров сослан в Минусинск. II и III части фельетона были опубликованы в заграничных изданиях в 1902—1903 и 1905 гг.

Под фамилией Обмановы выведены члены семьи Романовых.

В. Я. Брюсов

В.Я. БРЮСОВ

(1873—1924)

Свобода слова¹

«Литературное дело, — пишет г. Ленин в «Новой жизни» (№ 12), — не может быть индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов-сверхчеловеков! Литературное дело должно стать колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического механизма². И далее: «Абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка»...

Г. Ленин делает сам себе возражения от лица «какого-нибудь интеллигента, пылкого сторонника свободы» в такой форме: «Как! Вы хотите подчинения коллективности такого тонкого индивидуального дела, как литературное творчество! Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики! Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно-индивидуального идейного творчества!» И отвечает: «Успокойтесь, господа! Речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю... Я обязан тебе предоставить, во имя свободы слова, полное право кричать, врать и писать, что угодно. Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-то и то-то... Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды... Свобода мысли и критики внутри партии никогда не заставит нас забыть о свободе группировки людей в вольные союзы, называемые партиями».

Вот по крайней мере откровенные признания! Г. Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли: но меньше всего в его словах истинной любви к свободе. Свободная («внеклассовая») литература для него — отдаленный идеал, который может быть осуществлен только в социалистическом обществе будущего. Пока же «лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе» г. Ленин противопоставляет «открыто связанную с пролетариатом литературу». Он называет эту последнюю «действительно свободной», но совершенно произвольно. По точному смыслу его определений обе литературы не свободны. Первая тайно связана с буржуазией, вторая открыто с пролетариатом. Преимущество второй можно видеть в более откровенном признании своего рабства, а не в большей свободе. Современная литература, в представлении г. Ленина, на службе у «денежного мешка»; партийная литература будет «колесиком и винтиком» обще пролетарского дела. Но если мы и согласимся, что общепролетарское дело — дело справедливое, а денежный мешок — нечто постыдное, разве это изменит степень зависимости? Раб мудрого Платона все-таки

был рабом, а не свободным человеком. <...>Свободе слова г. Ленин противопоставляет свободу союзов и грозит писателям внепартийным исключением из партии... Что это значит? Странно было бы толковать это в том смысле, что писателям, пишущим против социал-демократии, не будут предоставлены страницы социал-демократических изданий. Для этого не надо создавать «партийной» литературы. Предлагая только выдержанность направления в журналах и газетах, смешно было бы восклицать, как это делает г. Ленин: «За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, но *великая* и благодарная задача...» Ведь и теперь, когда «новая и великая» задача еще не решена, писателю-«декаденту» не приходит в голову предлагать свои стихи в «Русский вестник», а поэты «Русского богатства» не имеют претензии, чтобы их печатали в «Северных цветах». Нет сомнения, что угроза г. Ленина «прогнать» имеет иной, более обширный смысл. Речь идет о гораздо большем: утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены (членам партии) никакие возражения.

Г. Ленин готов предоставить право «кричать, врать и писать что угодно», но за дверь. Он требует расторгнуть союз с людьми «говорящими то-то и то-то». Итак, есть слова, которые запрещено говорить. «Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды». Итак, есть взгляды, высказывать которые воспрещено. «Свобода мысли и свобода критики внутри партии никогда не заставит нас забыть о свободе группировки людей в вольные союзы». Иначе говоря, членам социал-демократической партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самым устоям доктрины. Тех, кто отваживается на это, надо «прогнать». В этом решении — фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда, один шаг до заявления халифа Омара: «Книги, содержащие то же, что Коран, лишние, содержащие иное, — вредны».

Почему, однако, осуществленная таким образом партийная литература именуется истинно-свободной? Многим ли отличается новый цензорский устав, вводимый в социал-демократической партии, от старого, царившего у нас до последнего времени? При господстве старой цензуры дозволялась критика отдельных сторон господствующего строя, но воспрещалась критика его основоположений. В подобном же положении остается свобода слова и внутри социал-демократической партии. Разумеется, пока не согласным с такой тиранией представляется возможность перейти в другие партии. Но и при прежнем строе у писателей протестантов оставалась аналогичная возможность уехать, подобно Герцену, за рубеж. Однако, как у каждого солдата в ранце есть маршальский жезл, так каждая политическая партия мечтает стать единственной в стране, отождествить себя с народом. Более, чем другая, надеется на это партия социал-демократическая. Таким образом, угроза изгнанием из партии является в сущности угрозой извержениям из народа. При господстве старого строя писатели, восставшие на его основы, ссылались, смотря по степени «радикализма» в их писаниях, в места отдаленные и не столь отдаленные. Новый строй грозит писателям-«радикалам» гораздо большим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества.

Екатерина II определяла свободу так: «Свобода есть возможность делать все, что законы позволяют». Социал-демократы дают сходное определение: «Свобода слова есть

возможность говорить все, согласное с принципами социал-демократии». Такая свобода не может удовлетворить нас, тех, кого г. Ленин презрительно обзывает «гг. буржуазные индивидуалисты» и «сверхчеловеки». Для нас такая свобода кажется лишь сменой одних цепей на новые. Пусть прежде писатели были закованы в кандалы, а теперь им предлагают связать руки мягкими пеньковыми веревками, но свободен лишь тот, на ком нет оков даже из роз и лилий. «Долой писателей беспартийных!» — восклицает г. Ленин. Следовательно, беспартийность, т.е. свободомыслие, есть уже преступление. Ты должен принадлежать к партии (нашей или, по крайней мере, к официальной оппозиции), иначе «долой тебя!» Но в нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий, хотя бы она и привела нас к крушению всех наших верований и идеалов. Где нет уважения к мнению других, где ему только надменно предоставляют право «врать», не желая слушать, там свобода — фикция.

«Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии?» — спрашивает г. Ленин. И думаю, что на этот вопрос не один кто-нибудь, а многие твердо и смело ответят: «да, мы свободны». Разве Артюр Рембо не писал своих стихов, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного, ни не буржуазного, никакой публики, которая могла бы потребовать от него «порнографии» или чего другого. Или разве не писал Поль Гоген своих картин, которые упорно отвергались разными жюри и не находили себе, до самой смерти художника, никаких покупателей? И разве целый ряд других работников «нового искусства» не отстаивал своих идеалов вопреки полному пренебрежению со стороны всех классов общества? Заметим кстати, что работники эти были вовсе не из числа «обеспеченных буржуа», а нередко должны были, как тот же Рембо, как тот же Гоген, терпеть и голод и бесприютность.

По-видимому, г. Ленин судит по тем образчикам писателей-ремесленников, которых он, быть может, встречал в редакциях либеральных журналов. Ему должно узнать, что рядом встала целая школа, выросло новое, иное поколение писателей-художников, тех самых, кого он, не зная их, называет насмешливым именем — «сверхчеловеки». Для этих писателей — поверьте, г. Ленин, — склад буржуазного общества более ненавистен, чем вам. В своих стихах они заклеили этот строй «позорно мелочный, неправый, некрасивый», этих «современных человечков», этих «гномов». Всю свою задачу они поставили в том, чтобы и в буржуазном обществе добиться «абсолютной» свободы творчества. И пока вы и ваши идете походом против существующего «неправого» и «некрасивого» строя, мы готовы быть с вами, мы ваши союзники. Но как только вы заносите руку на самую свободу убеждений, так тотчас мы покидаем ваши знамена. «Коран социал-демократии» столь же чужд нам, как и «коран самодержавия» (выражение Ф. Тютчева). И поскольку вы требуете веры в готовые формулы, поскольку вы считаете, что истины уже нечего искать, ибо она у вас, — вы враги прогресса, вы наши враги <...>

Литературная газета, 22 июля, 1990 г.

¹ Впервые напечатано в журнале «Весь» 1905 г., №11. Статья была подписана псевдонимом Аврелий, Печатается с сокращениями.

² Речь идет о статье В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература».

В. Г. Короленко

В.Г. КОРОЛЕНКО

Сорочинская трагедия¹

Открытое письмо статскому советнику Филонову

Г. статский советник,

Филонов!

Лично я вас совсем не знаю, и вы меня также. Но вы чиновник, стяжавший широкую известность в нашем крае походами против соотечественников. А я писатель, предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ваших подвигов.

Несколько предварительных замечаний.

В местечке Сорочинцах происходили собрания и говорились речи. Жители Сорочинец, очевидно, полагали, что манифест 17 октября дал им право собраний и слова. Да оно, пожалуй, так и было: манифест действительно дал эти права и прибавил к этому, что никто из русских граждан не может подлежать ответственности иначе, как по суду. Он провозгласил еще участие народа в законодательстве и управлении страной и назвал все это «незыблемыми основами» нового строя русской жизни.

Итак, в этом отношении жители Сорочинец не ошибались. Они не знали только, что, наряду с новыми началами, оставлены старые «временные правила» и «усиленные охраны», которые во всякую данную минуту предоставляют администрации возможность опутать новые права русского народа целою сетью разрешений и запрещений, свести их к нулю и даже объявить беспорядком и бунтом, требующим вмешательства военной силы. Правда, администрация приглашалась сообразовывать свои действия с духом нового основного закона, но... у нее были и старые циркуляры, и новые внушения в духе прежнего произвола.

В течение двух месяцев высшая полтавская администрация колебалась между этими противоположными началами. В городе и в губернии происходили собрания, и народ жадно ловил разъяснения происходящих событий. Конечно, были при этом и резкости, быть может излишние, среди разных мнений и заявлений были и неосновательные. Но мы привыкли оценивать явления по широким результатам. Факт состоит в том, что в самые бурные дни, когда отовсюду неслись вести о погромах, убийствах, усмирениях, — в Полтаве ничего подобного не было. Не было также тех резких форм аграрного движения, которые вспыхивали в других местах. Многие, и не без основания,

приписывали это, между прочим, и сравнительной терпимости, которую проявила высшая полтавская администрация к свободе собрания и слова. <...>

Теперь это уже только прошлое. С 13 декабря полтавской администрации угодно было переменить свой образ действий. Результаты тоже налицо: в городе — дикий казачий погром, в деревне — потоки крови. Вера в значение манифеста подорвана, сознательные стремления сбиты, стихийные страсти рвутся наружу или, что гораздо хуже — временно вгоняются внутрь, в виде подавленной злобы и мести...

Зачем я говорю вам все это, г. статский советник Филонов? Я, конечно, хорошо знаю, что все великие начала, провозглашенные (к сожалению, лишь на словах) манифестом 17 октября 1905 года, вам и непонятны, и органически враждебны. Тем не менее это уже основной закон русского государства, его «незыблемые основы» ... Понимаете ли вы, в каком чудовищно преступном виде предстали бы все ваши деяния перед судом этих начал?

Но я буду «умерен»... Я буду более чем умерен, я буду до излишества уступчив... Поэтому, г. статский советник Филонов, я применю к вам лишь обычные нормы старых русских законов, действовавших до 17 октября.

Факты.

В Сорочинцах и соседней Уствице происходили собрания без формального разрешения. На них говорились речи, принимались резолюции. Между прочим, постановлено закрыть винные монополии. Составлены приговоры и, не ожидая официального разрешения, монополии закрыли, на дверях повесили замки...

Восемнадцатого декабря, на основании усиленной охраны, то есть в порядке внесудебном, арестован один из сорочинских жителей, Безвиконный. Односельцы потребовали, чтобы его предали суду, а до суда отдали им на поруки <...>. Сорочинцам было отказано. Тогда они, в свою очередь, арестовали урядника и пристава.

Девятнадцатого декабря помощник исправника Барабаш приехал в Сорочинцы во главе сотни казаков. Он виделся с арестованными и, как говорят, уступая их убеждениям, обещал ходатайствовать об освобождении Безвиконного и отошел с отрядом. Но затем, к несчастью, он остановился на окраине, разделил свой отряд, сделал обходное движение и опять подъехал к толпе. Произошло роковое столкновение, подробности которого установит суд. В результате смертельно ранен помощник исправника, смертельно ранено и убито до двадцати сорочинских жителей...

Известно ли вам, г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти двадцать человек? Все они убивали исправника? Нападали? Сопротивлялись? Защищали убийц?

Нет. Казаки не удовольствовались рассеянием толпы и освобождением пристава. Они кинулись за убегающими, догоняли и убивали их. Этого мало: они бросились в местечко и стали охотиться за жителями, случайно попадавшимися на пути <...>

Мне нет никакой надобности применять к этой трагедии великие начала нового основного закона. ... Для этого достаточно любого закона любой страны, имеющей хоть самые несовершенные понятия о законе писанном или обычном. <...>

Двадцать первого декабря из Сорочинцев увезли тело несчастного Барабаша, умершего в больнице. Еще не стих печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г. статский советник Филонов, въехали в Сорочинцы во главе сотни казаков <...>

Вы сразу стали поступать в Сорочинцах, как в завоеванной стране. Вы велели «согнать сход» и объявили, что, если сход не соберется, то вы разгромите все село, «не оставив от него и праха». Мудрено ли, что после такого приказания и в такой форме казаки принялись выгонять жителей по-своему. Мудрено ли, что теперь в селе, называя имена, говорят о целом ряде вымогательств и даже изнасилований, произведенных отрядом, состоявшем в вашем распоряжении.

Для чего же вам понадобился этот сход, и какие законные следственные действия производили вы в его присутствии?

Прежде всего вы поставили их всех на колени, окружив казаками с обнаженными шашками и выставив два орудия. Все покорились, все стали на колени, без шапок и на снегу...

Эта толпа нужна вам была как фон, как доказательство вашего советнического всемогущества и величия и ... презрения к законам, ограждающим личность и права русских граждан от безрассудного произвола. Дальнейшее «дознание» состояло в том, что вы вызывали отдельных лиц по заранее составленному списку.

Для чего? Для допроса? Для установления степени вины и ответственности?

Нет, едва вызванный раскрывал рот, чтобы ответить на вопрос, объясниться, быть может, доказать полную свою непричастность к случившемуся, как вы, собственной советницкой рукой с размаха ударили его по физиономии и передавали казакам, которые, по вашему приказу продолжали начатое вами преступное истязание, валили в снег, били нагайками по голове и лицу, пока жертва не теряла голоса, сознания и человеческого подобия...

<...> А вы, г. статский советник Филонов, глядели на это избиение и поощряли бить сильнее...

Господин статский советник Филонов! Поверьте мне: я устал, я тяжело устал, излагая только на бумаге все незаконные истязания и зверства, которым вы, под видом якобы законных следственных действий, подвергали без разбора жителей Сорочинцев, не стараясь даже уяснить себе, — причастны они или не причастны к трагедии 19 декабря... А между тем, вы производили все это над живыми людьми, и мне предстоит еще рассказать, как вы отправились на следующий день для новых подвигов в Уствицу... А за вами, как за триумфатором, избитые, истерзанные, истрадавшиеся, тащилась ваши сорочинские пленники, которым место было только в больнице...

Так ехали вы в Уствицу восстанавливать силу закона...

Толпу вы держали и здесь на коленях два часа, вымогая у нее, как в Сорочинцах, имена «зачинщиков» и требуя приговора о ссылке неприятных администрации лиц. Вы забыли при этом, статский советник Филонов, что пытка отменена еще Александром I, что истязания тяжело караются законом, что телесное наказание, даже по суду, отменено

для всех манифестом от 11 августа 1904 года, а приговоры, добытые подобными, преступными приемами, не имеют ни малейшей законной силы...

Я кончил. Теперь г. статский советник Филонов, я буду ждать.

Я буду ждать, что, если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас должен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я. <...>

Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после манифеста 17 октября.

За всем сказанным вы поймете, почему, даже условно, в конце этого письма, я не могу, г. статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения.

9 января 1906 г.

Вл. Короленко

Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 тт.,

Т. 9, М., 1955. С. 435—447.

¹ Впервые напечатано в газете «Полтавщина» 12 января 1906 г. Публикуется с сокращениями

А. И. Богданович

А.И. БОГДАНОВИЧ¹

(1860—1907)

Текущие заметки²

Прошло почти два месяца, как начала... действовать, хотел я сказать, государственная дума, но жизнь, текущая ужасная жизнь немедленно остановила меня: «не действовать, а — говорить».

И мне стало стыдно за себя и грустно за думу.

Действительно, я, как истый российский обыватель, не привыкший к действиям, принимал искренно слова за действия. Я аплодировал членам государственной думы, когда они говорили речи с балкона клуба в день открытия думы. Я задыхался от неизъяснимых чувств не то восторга, не то удовлетворенного самолюбия, когда 13 мая дума выразила недоверие министерству. Я горел вместе с думой от негодования, когда на запросы министра дума получала оскорбительные отписки.

И долго еще я пребывал бы в таком состоянии пламенного самообольщения силой и энергией моей государственной думы. Моей — ибо я ее сам выбирал, сам агитировал за партию народной свободы...³

Словно завеса разверзлась передо мною и я увидел то, что скрывалось за думой, за ее словесной борьбой с министрами, за всем тем обаятельным зрелищем, какое являл в течение шести недель первый русский парламент. Я увидел, что мы, обыватели, должны были видеть все время, но, увлекшись игрою в парламент, как-то просмотрели. Увидел, что ничто не изменилось, все не только осталось на своих местах, но укрепилось и стало откровеннее и наглее. Дума явилась как бы ширмой, за которой администрация почувствовала себя превосходно и потому сбросила с себя остатки стеснительных покровов законности.

Да, что ужаснее по своей откровенности, по своей наглядности переживали мы до сих пор? Ни в Кишиневе, ни в Одессе, ни в Гомеле офицеры, генералы и солдаты так спокойно и открыто не учиняли... расправы с «крамолой», олицетворяемой для них в «жиде». Офицер Миллер тяжело ранит девушку Рубановскую, ворвавшись за нею в ресторан. В присутствии подполковника Буковского и полковника генерального штаба Тяжельникова, солдаты и хулиганы грабят магазин Бернблюма, (золотых и драгоценных вещей), капитан 4-ой роты Владимирского полка отдает команду: «По жидам стрелять беспощадно!»* — и стреляли, стреляли беспощадно. Стреляли день, стреляли два, стреляли три дня. А генерал Бадер доносит 9 июня военному министру: «Поведение войск примерное... нареkanie газет ложь...»

Сбылось, к моему великому ужасу, тяжелое предчувствие, заставившее меня два месяца тому назад высказать опасение, что при думе может оказаться еще хуже, чем было до думы. Я говорил, что это возможно в том случае, если мы, обыватели, возложив всю ответственность и надежды на думу, сами будем только вождеть к «свободам» да критиковать эту думу, по исконному обычаю русских обывателей. Так оно и вышло. Дума, если ничего не сделала, то худо-ли, хорошо-ли говорила и на своих «переходах к очередным делам» все же давала выход удручавшим ее и нас чувствам. Дума все-таки сочиняла законопроекты, хотя бы и не без тяготения к участку. Дума все как-ни-как волновалась, кипела, ругала министров, насколько могла, отравляла им существование, — словом старалась во всю, поскольку ей это было отпущено. И если за два месяца ничего не добила реальное, то у нее есть — не оправданье, а некоторое право на снисхождение. И самая прелестная девушка не может дать больше того, что имеет: так и самая энергичная дума в условиях русской действительности добила бы немногого.

Но мы-то, господа избиратели? Что мы делали за это время? Чем мы воздействовали на условия, в которых пришлось работать первому русскому парламенту? Я вам напомню ту странную пустыню, какую представлял Петербург в первый день русского парламента. Небольшая горстка любопытных, тысячи в три, около думы — вот как реагировала столица с полуторамиллионным населением на открытие первого нашего представительного учреждения <...>

Тут мы и возвращаемся к источнику всех наших надежд, радостей и огорчений: к народу. Он, и только он может спасти страну. В нем сила, в нем и спасение. И дума, и кадеты, и трудовики, и мы, стоящие вне думы, избиратели ее, постольку сильны, мощны, разумны, поскольку мы с ним.

Но что же такое народ?

Народ — это вся совокупность населения нашей родины, это вся масса в сто тридцать миллионов людей — русских, поляков, евреев, армян, татар, и прочих наших бесчисленных народностей. Вся эта гигантская масса всколыхнулась, охваченная общим страданием и общим стремлением. Страдание это — рабство, истомившее нас вконец, стремление это — к свободе, необходимой нам всем одинаково, как свет, как воздух, как пища, вода и огонь. Века мы изнывали под игом самовластья. Оно дошло до высшей степени своих преступлений, ввергнув нас под конец в бездну нищеты, позора, несказанных страданий и обид. Оно еще держится силою сорганизованной насильников и палачей, которым выгодно все то, от чего мы, народ, страдаем и гибнем. Противопоставить этой организованной силе насилия такую же сорганизованную силу свободного народа — такова задача борющихся за свободу партий, такова задача народа.

Ряд побед уже одержан, ряд позиций уже отбит у врага; он выбит из позиций законности, и всякое его действие есть голое насилие, носящее свое оправдание на конце штыка. Это важнейшее пока завоевание, и наша дума сыграла и играет огромную роль в вытеснении врага в область беззакония... Дума, как истинная представительница народа, стоит на почве закона и день за днем объявляет все действия правительства вне закона. Только опираясь на штыки и пулеметы, правительство еще держится. Другой почвы у него нет. Устами своих представителей оно заявляет, что само считает свои действия незаконными, как это открыто высказали пристава, врываясь в типографии. И так как ни один из них не был привлечен к ответственности, напротив — с высоты думской кафедры министр Столыпин признал их незаконные действия «закономерными», то они, эти наивные выразители министерской программы, являются в наших глазах истинными выразителями того режима, с которым борется народ.

Отбив почву закона у умирающего режима самодержавия, народ имеет еще перед собою главную часть задачи освободительного движения: вырвать у самодержавия оружие, тот штык и пулемет, на которые оно только и опирается ныне. Эта задача страшно трудна, и не надо скрывать от себя всех трудностей ее выполнения. Администрация — это одна враждебная рать, которую надо обезоружить и подавить. Армия — это вторая рать. Обе вместе они страшно сильны, ибо сорганизованы, и этой организацией они сильнее, чем даже оружием, понимая под последним технические средства нападения и обороны. Отдельные стычки с этой силой зимой прошлого года показали, что они ведут только к усилению врага, обессиливая в то же время народ, который растерял при этом все слабые зачатки своей организации.

Дума пусть продолжает свое дело, дело дезорганизации правительства, все больше и больше проводя в население идею о незаконности его существования. Избиратели должны на местах, всячески поддерживая думу в ее агитации, готовить окончательное наступление всего народа на общего врага — самодержавную бюрократию.

«Мир божий», 1906, № 6, с. 35—42.

¹ Богданович — критик и публицист 90-х гг.

² Печатается с сокращениями.

³ Партией народной свободы называли себя кадеты.

* «Речь» 5—20 июня, «Наша жизнь» 5—20 июня, «Двадцатый век» 5—20 июня, (примеч. Богдановича)

А. А. Блок

А.А. БЛОК

(1880—1921)

Литературные итоги 1907 года

Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо жизни, проснувшейся было, на долгие, быть может, годы.

Перед нашими глазами — несколько поколений, отчитывающихся в своих лучших надеждах. Очень редко можно встретить человека, даже среди самых молодых, который не тоскует смертельно или не прикрывает лица своего до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия. Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы стать очевидной для всех, если бы захотела. Но люди не хотят быть очевидными и притворяются, что им есть еще что терять. Это так понятно у тех, для кого цепи всяких отношений еще не совсем перержавели, чье сознание еще смутно. Но это преступно у тех, кто родившись в глухую ночь, увидел над собой голубое сияние одной звезды и всю жизнь простирал руки к ней одной: ведь вся жизнь для него, и все ее века, страсти, и пожары, и затишья — темная музыка, только об одной голубой звезде звучащая. Он — «идиот» для врагов и досадный «однодум» для друзей. Он должен понять наконец, что он мировое «недоразумение», что он никому в мире не может «угодить», кроме той звезды, которой от века предана его душа. Если он поймет это, — пусть его гонят. Если нет, — он предатель, тайный прелюбодей, создатель своей карьеры, всеобщий примиритель; он убил ту страсть своей души, которая могла стать в одну из темных ночей путеводным заревом для заблудившегося человечества.

Я говорю о писателях особенно: об эстетках, уставших еще до начала своей карьеры, и преимущественно об эстетках самого младшего поколения; о тех, которым неуютно сознать то, что их жизнь должна быть сплошным мучительством — тайным или явным, что они должны исколоть руки обо все шипы на стеблях красоты, что им нельзя ни одной минуты отдыхать на розовом ложе, не их руками разостланном. Они должны знать, что они — ответственные, потому что одарены талантами; что, если они лирики, они должны

мучиться тем, что сидят в болоте, освещенном розовой зорькой; если беллетристы, — тем, что никто из них, будь он марксистом или народником, не указал до сих пор даже того, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как быть; если драматурги, — тем, что ни одна из современных драм не вознесла души из пепла будней и ни один не вспыхнул очистительный костер; если же они — «представители религиозного сознания», — то они должны мучиться больше всех: тем, что они уже несколько лет возвещали какие-то гордые истины с кафедры религиозно-философских собраний¹, самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладострастно полемизировали с туполобыми попами, что в этом году они вновь возобновили свою болтовню (и только болтовню), зная, что за дверьми стоят нищие духом и что этим нищим нужны дела. Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, — вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов. И вот — один тоненький, маленький священник в белой ряске выкликает Иисуса, — и всем неловко; один честный с шишковатым лбом, социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным — доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны — в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме «утонченных» натур, не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось! Что и говорить — хорошо доказал красный анархист, что нужна вечная революция; хорошо подмигнул масляным глазком молодой поп «интересующимся» дамам (по-«православному» подмигнул), хорошо резюмировал прения остроумный философ. Но ведь они говорят о боге, о том, о чем можно только плакать одному, шептать вдвоем, а они занимаются этим при обилии электрического света; и это — тоже потеря стыда, потеря реальности; лучше бы никогда ничем не интересовались и никакими «религиозными сомнениями» не мучались, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно сплетничать о боге.

Первый опыт показал, что болтовня была ни к селу ни к городу. Чего они достигли? Ничего. Не этим достигнута всесветная известность Мережковского — слава пришла к нему оттого, что он до последних лет не забывал, что он художник. «Юлиана» и «Леонардо» мы будем перечитывать, а второй «кирпич» «Толстого и Достоевского», думаю, ни у кого духа не хватит перечитать. И не нововременством своим и не «религиозно-философской» деятельностью дорог нам Розанов, а тайной своей, однодумьем своим, темными и страстными песнями о любви.

С религиозных собраний уходишь не с чувством неудовлетворенности только: с чувством такой грызущей скуки, озлобления на всю ненужность происшедшего; с чувством оскорбления за красоту, ибо все это так ненужно, безобразно. Между романами Мережковского, книгой Розанова и их же докладами в религиозных собраниях целая пропасть. Слушать же прения столь же тягостно, как, например, читать «Вопросы религии», вторую книгу «Факелов», сочинения

Волынского или статью М. Гофмана о «соборном индивидуализме». Все это — книги будто бы разнообразные, но для меня, чистосердечно говорю, одинаковые; это — словесный кафе-шантан, которому не я один предпочитаю кафе-шантан обыкновенный, где сквозь скуку прожигает порою усталую душу печать

Буйного веселья

Страстного похмелья.

Я думаю, что человек естественный, не промозглый, но поставленный в неестественные условия городской жизни, и непременно отправится в кафе-шантан прямо с религиозного собрания и в большой кампании, чтобы жизнь, прерванная на два-три часа, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну и чтобы в утренних сумерках не вспомнилось ненароком какое-нибудь духовное лицо. Там будут фонари, шабли и ликер. А на религиозных собраниях шабли не дают.

Ведите, ведите интеллигентную жизнь, просвещайтесь. Только не клюйте носом, не перемалывайте из года в год одну и ту же чепуху и, главное, не думайте, что простой человек придет говорить с вами о боге. Иначе будет слишком смешно смотреть на вас и на ваши серьезные «искания», и мы, подняв кубок лирики, выплеснем на ваши лысины пенистое и опасное вино. Вот и вытирайтесь тогда — не поможет: все равно захмелеете, да только поздно и неумело: наше легкое вино отяжелит вас только; только свалит с ног. И на здоровье.

«Золотое руно», 1907, №№ 11—12.

¹ Религиозно-философские собрания открылись в 1901 г. В них участвовали: епископ Сергей, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов и др.

От новой редакции журнала «Вестник Европы»

Прошло более сорока лет с тех пор, как «Вестник Европы», основанный в виде сборника научных статей, превратился в ежемесячный журнал обычного русского типа. За все это время он оставался верным однажды избранному пути, расширяя, по возможности, свой кругозор и отзываясь на главные запросы жизни. Таким же он будет и при новой редакции, тесно связанной с прежнею. Цели, к которым стремился «Вестник Европы», еще не достигнуты. Не установился прочно и твердо новый политический строй, безусловно необходимый для народного блага, для истинной силы государства, для нормального развития русской мысли; не водворилось господство закона, больше чем когда-либо парализуемого исключительными положениями, не обеспечен ни один из видов свободы, не ограждено ни одно из прав, без которых немислима плодотворная работа, личная и коллективная; не осуществлена религиозная и национальная равноправность, столь важная в стране разноречивой, разноплеменной и разноязычной; не предпринято и даже не намечено коренное преобразование местного самоуправления. К политическим задачам присоединяются социальные, тем более сложные и трудные, чем

дальше они были оставлены без внимания, как несуществующие. За широкую их постановку, за разрешение их в интересах массы «Вестник Европы» высказывался прежде и будет высказываться всегда. Оставаясь внепартийным, он будет стоять за возможно большее объединение прогрессивных партий на почве служения народу.

Ближайшее участие в трудах редакции будут принимать М.М. Ковалевский, Н.А. Котляревский, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.С. Посников и Л.З. Слонимский.

30 октября 1908 г.

*К. Арсеньев***

«Вестник Европы», 1908 г. № 11, с. 3—4.

****** Арсеньев К.К. (1837—1919) — литературный критик и общественный деятель, постоянный сотрудник «Вестника Европы» и «Русских Ведомостей».

Л. З. Слонимский

Л.З. СЛОНИМСКИЙ¹

(1850—1918)

Периодическая печать и капитализм

В последнее время много говорилось у нас об угрожающем владычестве промышленного капитала в литературе и журналистике; некоторые ясно предвидят уже тот момент, когда капиталисты-предприниматели окончательно завладеют нашей печатью и устроят ее по образу и подобию других отраслей капиталистической промышленности.

Несомненно, что при современных экономических условиях материальные, промышленные интересы получают все большее преобладание в организации и судьбах периодической печати. Но — рассуждая теоретически — достигнуть окончательного и полного господства в этой области они не могут по свойству самого предмета. В том своеобразном товаре, который пускается в оборот литературно-газетной промышленностью, всегда остается неразстворимый, неуловимый для капитала, не поддающийся его захвату остаток духовного, умственного, индивидуального творчества, особенно ценный для потребителей, т.е. в данном случае для читателей.

Литературно-издательское производство, даже если оно всецело находится в руках промышленного капитала, неизбежно сохраняет свои особые черты, резко отличающие его от других отраслей промышленности. Умственные работники участвуют и занимают видное место в каждом промышленном, техническом, фабрично-заводском деле; они являются необходимыми организаторами и руководителями предприятий, создают их репутацию, обеспечивают их успех своим умением и талантами, или, наоборот, приводят к упадку своими ошибками и упущениями; но в продуктах производства не видно их

участия, не отражается их индивидуальность. Изделия той или иной фабрики представляют более или менее однородную массу товаров, имеющих известные внешние, объективные признаки; в этих товарах мы не найдем следов участия тех техников, химиков, инженеров и руководителей, которые работают в данном предприятии...

Совершенно другое мы видим в литературно-издательском деле. Здесь личность умственного работника не отделяется от продукта его работы: она неизбежно отражается в нем, и это отражение есть именно то, что придает ему цену в глазах публики. Индивидуальность литературного работника сказывается в каждом издании, в котором он участвует; в данном номере журнала или газеты сотрудник находит свои строки, лично ему принадлежащие; он видит следы своей работы в прочитанных и исправленных им статьях и сообщениях, и даже самый скромный участник может указать и определить тот уголок издания, в котором так или иначе отражается его личность. Литературно-издательская промышленность не производит и не выпускает на рынок массы однородных, безразличных товаров, которые существовали бы и имели бы ценность сами по себе, независимо от произведших их лиц. Каждый орган периодической печати имеет свою определенную физиономию — не внешнюю, техническую, а внутреннюю, духовную, интеллигентную, неотделимую от данного издания. Эта физиономия создается редакцией и ближайшими сотрудниками журнала или газеты; сотрудники придают известный характер или оттенок изданию, публика невольно отличает их друг от друга, привыкает к их писательской индивидуальности, и читатели заранее знают, кто и что пишет в данном издании. Писатели по призванию и по профессии вкладывают свою душу в известное литературное предприятие; они налагают на него отпечаток своей личности, своего дарования, своих убеждений и идеалов; для них то издание, в котором они участвуют, вовсе не предприятие, не постороннее учреждение, с которым они связаны службой или договором; там, в этом издании, заключается часть, и может быть, лучшая часть их собственной души. Здесь, очевидно, неприменимы те отношения между хозяевами-капиталистами и умственными работниками высшего ранга, которые существуют в других отраслях промышленности. ... Когда говорят о владычестве или о предстоящем владычестве капитала над прессой, то при этом имеют в виду главным образом печать ежедневную, газетную. Журналы, особенно ежемесячные, предоставляют мало соблазна для предпринимателей-капиталистов; они существуют преимущественно для так называемой интеллигенции, для небольшой сравнительно части образованного общества; они интересуют публику только своею идейною стороною и не могут служить ни орудиями промышленного влияния, ни источником обогащения. Журналы не только у нас, но и за границей находятся обыкновенно в руках писателей и ученых; они остаются в распоряжении более или менее тесных литературных кружков, обществ или учреждений, даже если они формально составляют собственность акционерных компаний или известных издательских фирм. Для промышленного капитализма тут мало простора. Арену желанного господства для капиталистов является именно ежедневная печать, проникающая повсюду, доставляющая не только огромные денежные обороты и доходы, но и возможность значительного промышленного влияния на многомиллионные массы потребителей. Капиталисты и завладели газетой в западной Европе, но формы этого владычества неодинаковы в различных странах; вместе с тем замечаются различия и в отношениях между издателями и сотрудниками. В английской журналистике эти отношения покоятся на обоюдных коммерческих интересах и соглашениях; там применяются высокие нормы вознаграждения и возможно более выгодные условия для

писателей, но зато издатели остаются полными хозяевами. Во Франции большинство газет обыкновенно составляют собственность особых акционерных компаний, и лица, владеющие наибольшим количеством акций данной газеты, являются главными и высшими ее распорядителями. Скупка акций какой-нибудь ходкой газеты для приобретения принадлежащего ей влияния на промышленном рынке считается одним из способов достижения крупного успеха в коммерческом мире. Так несколько лет тому назад известный парижский «Figaro» подвергся риску неожиданного перехода в другие руки, вследствие значительных закупок акций этой газеты известным спекулянтом... Для капиталистов газета имеет значение как орудие рекламы и публикаций, и главные доходы получаются из этого источника, а вовсе не от читающей публики. В Германии некоторые из самых распространенных газет принадлежат крупным агентствам объявлений: так, например, Berliner Tageblatt издается торговым домом Рудольфа Моссе, по образцу которого организован существующий у нас торговый дом Метцль². Главное место — или наибольшее количество бумаги — в каждой немецкой или английской газете занимают публикации объявления; литературный или общественно-политический материал газеты превращается как бы в побочный, сравнительно незначительный привесок к обширному, подавляющему отделу реклам. В газетах французских практикуется более тонкая, менее заметная форма публикаций; там даже за небольшие биржевые или банковские бюллетени уплачиваются десятки тысяч франков, и на заурядные объявления не принято уделять много места. Публикации выгодно печатать только в очень распространенных газетах, а получить большое распространение может лишь газета, располагающая талантливыми, остроумными, компетентными и даже учеными сотрудниками. ...В Германии работа газетных сотрудников оплачивается гораздо хуже, чем во Франции, и немецкие журналисты поставлены в несравненно менее благоприятные условия...

Наша ежедневная печать находится еще пока в таком положении, что чисто капиталистические начала могут быть проводимы в ней только с большим трудом. Газетное и журнальное издательство является у нас поприщем не для выгодного помещения капитала, а для самоотверженного общественного служения. Промышленные капиталы не идут в такую область, где судьба предприятий зависит от непредвидимых случайностей, где самый широкий успех в публике не ограждает от внезапного провала, где существование наилучше обставленного издания может быть прекращено в каждый данный момент, по усмотрению посторонних для печати лиц. Всякое промышленное дело требует известных элементарных гарантий внешней безопасности, оно не может жить и развиваться под ежедневным постоянным страхом упразднения или катастрофы. Расчетливым капиталистам нечего делать там, где серьезные по существу предприятия осуждены оставаться эфемерными, где нет под ними надежной почвы даже при несомненных шансах успеха, где нет элементов прочности и постоянства в общем положении дел...

Наши газеты прекращались большей частью не от внутреннего худосочия и не от равнодушия публики. Нет надобности приводить примеры — все знают и помнят их. По странной игре случая у нас внезапно погибали именно те издания, которые пользовались наибольшим успехом и популярностью и вполне обеспечивали не только издателей, но и

сотрудников. Процветал у нас когда-то «Голос» — и погиб, вопреки всем расчетам и ожиданиям своего осторожного и предусмотрительного хозяина. В последние годы существовал у нас очень распространенный и популярный «Сын Отечества», но исчез, и издатель-капиталист разорился. Была Газета Л. Ходского³, достигла под разными названиями прочного успеха — и погибла не по своей вине. Естественно, что капиталы уклоняются от таких явно рискованных и опасных дел, как газетное издательство; в эту область деятельности могут идти только люди идейные, а такие редко встречаются между капиталистами.

В силу этих особых обстоятельств в русской периодической печати не мог утвердиться дух одностороннего капитализма; между издателями, редакторами и главными сотрудниками больших газет часто устанавливались товарищеские отношения, и все эти участники общего дела нередко действительно становились товарищами по несчастью. При таких условиях было бы несправедливо и бесполезно предъявлять издателям-капиталистам какие-либо особые требования для обеспечения интересов сотрудников; ведь сами издатели абсолютно ничем не обеспечены и ежеминутно рискуют потерять все затраченные на дело средства. Тем не менее у нас давно уже делались попытки формулировать те начала, которые должны господствовать в отношениях между издателями и сотрудниками. Более тридцати лет тому назад, в феврале 1879 года, кружком петербургских журналистов выработана была программа союза, с целью «объединения литературных сил для лучшего и более целесообразного пользования тем влиянием, которое принадлежит печати», причем имелось в виду «улучшение нравственных и экономических условий литературного труда, с возможно широким применением артельного начала в редакциях и издательствах». Эта программа «союза литературных рабочих» подписана, между прочим, Юзовым-Каблицем, П. Червинским (П.Ч. из «Недели»), С. Венгеровым, Н. Виленкиным-Минским, Гр. Градовским, Евг. Раппом, Кейсслером, Л. Весиным, А. Никольским, Мих. Ивановым и другими молодыми литераторами того времени. Тем же кругом лиц был составлен проект соглашений с издателями-редакторами. По этому проекту предполагалось, что «в каждом периодическом издании, в котором члены союза в числе не менее трех, состоят постоянными самостоятельными сотрудниками, составляется редакционная артель для соблюдения единства в направлении и в составе издания и для надлежащего охранения прав литературных рабочих», а также для обеспечения участия сотрудников в известной доле чистого дохода с издания, сообразно количеству и качеству их работы в течение года.

Эти попытки организации по обстоятельствам времени не могли привести к цели. Наши преуспевающие большие газеты подчиняются, конечно, условиям промышленного успеха, и для них главным источником и мериллом доходов служит не число подписчиков, а количество платных объявлений. Наиболее распространенные из петербургских газет находят свою главную опору не в подписчиках: ее поддерживают и обогащают публикации. Но во главе этих больших ежедневных изданий стоят большей частью старые журналисты или идейные капиталисты, и у них положение постоянных сотрудников может считаться более или менее благополучным. Так, в только что

³ Л. Ходский (1848–1900) — журналист, публицист, редактор газет «Сын Отечества» и «Голос».

указанной богатой газете⁴, представляющей, по выражению ее издателя, «парламент мнений» издавна применяется — хотя и без достаточной последовательности — принцип участия постоянных сотрудников в доходах издания, в качестве пайщиков. Если не в настоящем, то для будущего в высшей степени желательно стремиться к повсеместному и систематическому применению того же руководящего начала. Сотрудники невольно участвуют в риске гибели и разорения издания — и поэтому справедливо могли бы пользоваться участием в выгодах, доставляемых успехом изданий.

Твердо установившиеся традиции русской журналистики позволяют надеяться, что в ней никогда не удастся восторжествовать чисто коммерческому капиталистическому духу, и что, избавившись от внешнего гнета, печать не подпадет под другое иго, еще худшее, отравляющее самую ее духовную сущность, ее душу.

«Вестник Европы», 1910, № 7.

¹ Слонимский Л.З. (1850—1918) — публицист, писавший по экономическим проблемам.

² Контора по сбору объявлений в газеты.

³ «Наша жизнь».

⁴ Имеется в виду «Новое время» А.С. Суворина.

В. В. Розанов

В.В. РОЗАНОВ¹

(1856—1919)

<О А.С. Суворине>

Суворин старел и рос. Из таланта «Незнакомца»², который весь горел и по молодости был полон своим «я», он вырос в мудрого и благородного старца, который понял, что «если жить для эгоизма, то вообще не стоит жить». Не интересно жить для славы, для богатства. Вся эта позолота «Я» не дает настоящего удовлетворения. «Незнакомец» — Суворин конечно был бы богаче, много знатнее, а, главное, был бы неизмеримо более прославлен, чем как все есть теперь. Если бы Суворин остался Чацким-«Незнакомцем», трудно передать тот ореол и значительность, какой бы он достиг. Каждая его острота повторялась бы стоустою печатью, и он пожал бы всю жатву

прославления и денег, пошедшую в короб Горькому и Л. Андрееву, но только умноженную еще на силу первенствующей и европейской газеты <...> Крестьянский и солдатский сын, он сказал себе — «не изменю отцу и деду». «Не изменю, а стану вести крестьянскую соху, буду держать солдатское ружье, буду это — никому не говоря, не советуясь ни с женой, ни с сыном, и как бы меня ни судили». Вот этот миг созревания Суворина — был великий. Повторяю, слишком очевидно, что «Незнакомец» был бы втрое богаче и влиятельнее «Суворина». Но он из «Незнакомца» родился в «старца-Суворина», чтобы запрячься в огромный и тяжелый воз, именуемый «Россиєю», — воз еще на неопределившейся дороге, в темноте, мраке, среди разбойников на дороге, и в топкой грязи. Он, никогда почти не упоминавший о «Боге» и «Христе», имел когда-то где-то тихую часовеньку, в которой сложил в угол блестящие аксельбанты Герцена, просившиеся естественно на плечи «Незнакомца», и надел серую солдатскую шинель своего отца, чтобы идти в трудный и опасный поход, идти всюду, где пойдет Россия. Он пошел параллельным фланговым ходом около лошадей, везущих воз — правительство, — разглядывая еженощно путь (ночная работа газеты, эти вечные его корректуры ночью), понукая, не давая заснуть, ободряя, поддерживая. Давая пойла — усталому, стегая кнутом — ленивого, отгоняя вовсе — хищного или злого. Никто, конечно, не в силах указать, чтобы был хоть один случай, когда Суворин слился с «направлением лошадей и возницы, везущей воз» — слепо, мертво, не рассуждая. Никто не сможет указать, где бы он, сознавая будущий вред — стоял за вредную меру для России.

Переписка А.С. Суворина с В.В. Розановым.

СПб., 1913, с. 26—27.

¹ Розанов В.В. — писатель, журналист. Постоянный сотрудник газеты «Новое время».

² «Незнакомец» — популярный псевдоним Суворина — фельетониста газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 1860—1870-х годов.

М. О. Мельников

М.О. МЕЛЬНИКОВ

(1859—1918)

Красивая жизнь¹

Передо мной лежат два новых, роскошно иллюстрированных журнала. Одному имя — «Столица и усадьба», другому «Армия и флот». Между ними та связь, что столица и усадьба, как главные очаги цивилизации, не могут существовать без могучей защиты армии и флота; в свою очередь и армия, и флот не могут существовать без хорошо организованной столицы и усадьбы. Столица — общая колыбель государственного

сознания и направляющей народ воли. Усадьба — колыбель тех героев, пехотных офицеров и моряков, которые во главе воспитанного около усадьбы героического народа клали в течение веков камень за камнем, т.е. победу за победой, воздвигая величавое здание государственности. Между названными журналами есть кровное родство, дающее право поговорить о них как об одном явлении. Оба журнала издаются сравнительно молодыми талантливыми людьми, что обеспечивает им успех.

<...> Журнал В.П. Крылова, вероятно, производит сенсацию, но едва ли среди серьезных любителей красивой культуры. Конечно, на первых порах приходится довольствоваться несколько сборным и пестрым материалом, а потому не следует быть очень строгим, — но дальнейшие выпуски желательно бы видеть поближе к первоначальному замыслу. Красивая жизнь — великое дело; едва ли есть страна в большей степени, чем Россия, нуждающаяся в том, чтобы укреплять в себе среди скифской дичи и глуши начала великих цивилизаций, начала вкуса и изящества во всем, начала законченности и сдержанности, которых не признает вульгарный цинизм. О красивой жизни мечтает не один народ наш, но и заметно одичавшее общество. «Красота спасет мир», — говорил Достоевский, достаточно пострадавший от безобразия русской действительности. Но служение красоте, как служение муз — «не терпят суеты, прекрасное должно быть величаво».

Размениваясь на мелочи и отзываясь на жаждущее рекламы тщеславие, талантливый редактор — «Столицы и усадьбы», рискует многое красивое подменить сомнительным.

Героическая жизнь²

Того же формата, на такой же бумаге и со столь же роскошными иллюстрациями выходит м второй двухнедельник — «Армия и флот» А.Д. Далматова. И тут наряду с внешней роскошью много неприбранного и торопливого, что объясняется первым дебютом. <...>

По своей изящной внешности, по обилию прекрасных иллюстраций «Армия и флот», конечно, выше всех военных изданий, — и если издатели хотели заинтересовать невоенное общество, то цель эта будет достигнута. Журнал по содержанию общедоступен, он легко читается и просматривается. Но сама идея издавать военноморской журнал для невоенных и для не моряков мне представляется сомнительной. Я не знаю, на какой предмет помещику изучать минное дело или скотоводу — артиллерию. У каждого обывателя, занимающегося каким-либо серьезным трудом, есть своя специальная литература, за которой он должен следить: помещик — по сельскому хозяйству, скотовод — по скотоводству и т.д. В России, правда, есть обычай интересоваться иногда всем на свете, кроме собственного ремесла, — но дальше верхоглядства это ни к чему не ведет. Если скажут, что пора политически мыслящему обществу знакомиться с такими важными сторонами государственности, как армия и флот, и знакомиться не из одних газет, то я спорить с этим не буду. Но много ли у нас людей, серьезно увлеченных политикой? Мне кажется, современный военный журнал должен поменьше иметь в виду штатскую публику и побольше — военную. Бросьте, господа, насаждать воинственность в штатской публике — озаботьтесь, чтобы воинственной была армия, — и это за глаза будет достаточно. Мы, как народ,

принадлежим уже от рождения к мужественной расе. Храбрость русского народа на протяжении тысячелетия засвидетельствована в тысяче сражений. Наконец, мы вовсе не равнодушны к армии и флоту. Наоборот, пока они были победоносными, то были нашими народными идолами, наиболее любимыми, перед которыми мы не жалели никаких курений. Последние войны — и особенно та, бесславная, о которой вспоминать не хочется, — конечно, пошатнули это идолопоклонство, и прежнего обаяния у нас уже нет.

Но обаяние — вещь тонкая, оно создается и исчезает помимо воли. Как влюбленность, восхищения к военной среде не подскажешь и не внушишь. Нужно ждать новых победоносных войн — только они в состоянии вернуть ореол армии и флоту. Никогда, до последнего своего вздоха, великий народ, каков русский, не помирится с поражением его, и пока клеймо это не снято с него, он будет глядеть на родное детище свое — армию и флот — иначе, чем смотрел прежде. Пусть вы, военные, молодцы из молодых, пусть вы внушаете большие надежды, но ...оправдайте же их! *Дайте победу* — и тогда не будет границ нашей благодарности, не будет предела восторга и поклонения перед вами!

Вы скажете: для победы нужна моральная поддержка. Да. Она и есть. Она всегда есть, и была в последнюю войну, как во времена суворовских походов. Моральной поддержкой на войне служат не громкие фразы и не дутые похвалы, оскорбительные, если они не заслужены. Моральной поддержкой воина служит бодрствующий в нем дух народный, вера родного Бога, глубокая жалость к родине, решимость умереть за нее. Моральной поддержкой воина служат гордость народная и государственная честь, которую чувствует каждый солдат, если армия не деморализована своими собственными начальниками. В них-то вся и суть. С тех пор как на свете стоит, считалась истиной аксиома: «лучше армия баранов под предводительством льва, чем армия львов под руководством барана». Эта банальная истина записана во все учебники военного дела и входят даже в прописи. Ужасно подумать, если наша армия и наш флот станут искать внушений не в собственном мужестве, а в воинственности нас, штатский обывателей. <...>

Всуге строить столицы и усадьбы, всуге мечтать о высокой культуре, народном и человеческом счастье, если это грозный день Господень, в день войны, — нельзя отстоять с победою и славою.

О.М. Меньшиков. Из писем к ближним.

М., 1991, с. 179—184.

¹ Впервые напечатано в газете «Новое время», 1914 г., 10 февраля.

² Впервые напечатано там же.

А. Б. Петрищев

А.Б. ПЕТРИЦЕВ

(1872—1938)

Каламбуристы

(отрывок)

Когда конституционно-демократическая партия полупереименовала себя в «партию народной свободы», признаюсь, мне лично очень хотелось сказать:

— Вот люди, которые знают толк в каламбурах.

Под каламбуром понимают обыкновенно забавную игру словами. Но каламбур не только забава и не только игра. Гораздо чаще это очень серьёзная вещь, которая давно нуждается в большом историко-психологическом исследовании. Но «мы истории не пишем» — так же, как не пишем и психологии. А общий смысл, надеюсь, уловить не трудно: стоит лишь сравнить «кадета», который говорит: «граждане,

подавайте голоса за нашу к.-д. партию», с другим или тем же «кадетом», который взывает: «граждане, подавайте голоса за народную свободу»... И положение гражданина, подающего свой голос, тоже может весьма зависеть от каламбура: одно настроение, если просто опускаешь в урну «кадетский бюллетень», и другое, если можно сказать с гордостью: «я за народную свободу». В газетах к.-д. партии мне приходилось читать, что избиратели даже крестились при этом благоговейно:

— Сподобил, мол, и меня Господь за народную свободу потрудиться...

«Русское богатство», 1905, № 8, с. 206.

Ф. И. Шаляпин

Ф.И. ШАЛЯПИН

(1873—1938)

Пресса и я

Мнение Фед. Ив. Шаляпина

— Вы просите меня сказать мое мнение о прессе... Извольте: Одного гимназиста учитель спросил на экзамене:

— Что он может сказать о Юлии Цезаре? И гимназист ответил:

— Ничего, кроме хорошего, г. учитель!

Вот и мне во избежание дальнейших разговоров очень хотелось бы ответить на вопрос: «Что я думаю о прессе» — все тем же:

— Ничего, кроме хорошего, г. учитель!..

Однако я сам чувствую, что этот сакраментальный ответ не исчерпывает вопроса и — как ни вертись — нужно сказать еще что-то.

Пресса, пресса!!

Иногда — это мощная, великолепная сила, потрясающая умы сотен тысяч человек, свергающая тиранов и меняющая границы государств и судьбы народов. Эта сила в неделю делает человека всемирной знаменитостью и в три дня сбрасывает его с пьедестала.

Но иногда, пресса мне представляется милой купчихой, которая каждое утро за чаем занимается разгадыванием и толкованием снов, — и сидит эта милая купчиха, разгадывает сонные мечтания, и кажется ей, что все это важно, нужно и замечательно.

Расскажу для иллюстрации характерный факт, ничего не прибавляя и не убавляя.

Какая-то провинциальная газета преподнесла однажды утром такое «сонное мечтание»:

— «Шаляпин собирается писать свои мемуары».

Я в то время пел за границей, а если бы даже и был в России, то, конечно, не взялся бы за перо писать опровержения.

Мемуары и мемуары... Собираюсь и собираюсь. Пусть так и будет. Им лучше знать.

А, пожалуй, даже в душе и поблагодарил бы газету за эту, данную мне, идею.

Другая газета, делая обычные вырезки, наткнулась на эту «сенсацию» и перепечатала ее, прибавив для округления:

— «Мемуары пишутся на итальянском языке».

Третья газета весьма резонно рассудила, что раз мемуары на итальянском языке — их итальянцы и должны издавать. Приписала:

«Мемуары издаются известной издательской фирмой Рикорди». Четвертая газета сообщила:

— «Издаются, издаются» ...Раз издаются, значит, проданы. А за сколько? Такие мемуары должны цениться не менее ста тысяч лир!»

Приписала: «Мемуары проданы за 100 тысяч лир».

Пятая газета — было очень веселое издание сангвинического темперамента.

— Обыкновенная, сухая, ничего не говорящая, никого не интересующая заметка! Надо к ней что-нибудь этакое... иллюстрировать ее.

И прибавила, дав волю своему темпераменту:

— Нам сообщают из достоверного источника, что рукопись Шаляпина украдена у автора неизвестными злоумышленниками. Горе несчастного автора — лучшего исполнителя Олоферна и Бориса Годунова — не подлежит описанию.

И вот эта последняя заметка попала в руки большой, солидной газеты. Повертела ее в руках большая, солидная, серьезная газета, пожала плечами и написала:

— «До чего доходит саморекламирование наших знаменитостей... Газеты сообщают о том, что «мемуары Федора Шаляпина украдены у автора какими-то разбойниками». Почему бы Шаляпину заодно уж не сообщить, что при похищении произошла кровавая битва, в которой убито десять человек с обеих сторон. Стыдно такому хорошему артисту пускаться на такие грубые «американские» штучки! Неужели лавры Собинова, объевшегося омарами, не дают ему спать?»

Меня же и выругали.

И не только меня, но за компанию и Собинова, виновного в том, что он десять лет тому назад поел несвежих омаров и заболел (об этом в то время сообщили газеты же).

Было бы хорошо, если б этим дело и кончилось. Ну, выругали и выругали. Мало ли кого ругают.

Однако кончилось вот чем:

Одна московская газета стала печатать статьи «Моя жизнь», — за подписью(!) «Федор Шаляпин». Печатали один день, два дня, три дня... Идея, очевидно, оказалась жизнеспособной.

Но когда я запротестовал, не желая чтобы читатель вводился в заблуждение — газета пообещала сделать мне с одним лицом (?) очную ставку (?!), утверждая, что мемуары я, действительно, писал и пишу, что перед очной ставкой «бледнеют самые закоренелые сахалинские преступники» и что ей очень интересно будет узнать, побледнею ли я (?)

Что я скажу о прессе?

Есть пресса вдумчивая, деликатная, осторожно подходящая к личной жизни артиста, а есть и такая пресса, которая подойдет к тебе, осмотрит с головы до ног и, призадумавшись, скажет:

— Гм!.. Поешь? Тысячные гонорары получаешь? Вот тебе раза хорошенько, так не запоешь...

Не знаю — может быть, это болезненное извращение вкуса — но меня почему-то больше тянет к первой прессе.

И к этой серьезной прессе я обращаюсь с серьезной просьбой:

— Не браните меня за то, что разбойники украли у меня рукопись мемуаров; разберитесь раньше, чем осуждать меня за перебранку с директором того или другого театра; и не объявляйте поспешно мне бойкота за то, что я украл у своего лучшего друга велосипед, проплясал на бойкой городской улице камаринского, а потом поджег дом бедной вдовы и т.д. Много в этом может быть и преувеличено.

В заключение скажу вот что: все, кто когда-либо слушал меня, кому я доставлял какое-либо удовольствие своим пением, и, наконец, все, кто писал обо мне, и читал обо мне, — поймите мое курьезное, странное, юмористическое положение в таком хотя бы простом, бытовом случае:

Я зашел поужинать в ресторан. Уселся. Сижку, меня узнали.

Пошатываясь, ко мне подходит «Он», опирается на стол...

— Гсс...ин Ш...ляпин? Да? Федор Иванович? Очень рад. Люблю тебя, шельму, преклоняюсь. Преклоняюсь. Поцелуй меня! А? Ну, поц...луй. Слышишь? Почему не хочешь? Зазнался, да? Потому что ты Федор Шаляпин, а я только Никифор Шупаков?! Тебе я говорю или нет?..

И вот он со зловещим видом тянется влажными руками ко мне, стараясь половчее зажать мою голову и запечатлеть на моих губах поцелуй.

Теперь, если, выведенный из терпения, оттолкну его, — знаете, что обо мне скажут?

— «Один из поклонников известного баса и еще более известного грубого драчуна Ф. Шаляпина подошел к последнему с целью выказать свое восхищение перед его талантом. И что же? В ответ на это искреннее душевное движение — Шаляпин поколотил его. Поколотил человека, который хотел приласкаться... Вот они жрецы русской сцены!!»

«Синий журнал», 1912 г., №.50.

А. М. Горький

Несвоевременные мысли¹

Несколько десятков миллионов людей, здоровых и наиболее трудоспособных, оторваны от великого дела жизни — от развития производительных сил земли — и посланы убивать друг друга.

Зарывшись в землю, они живут под дождем и снегом, в грязи, в тесноте, изнуряемые болезнями, пожираемые паразитами, — живут, как звери, подстерегая друг друга для того, чтобы убить.

Убивают на суше, на морях, истребляя ежедневно сотни и сотни самых культурных людей нашей планеты, — людей, которые создали драгоценнейшее земли — европейскую культуру.

¹

Разрушаются тысячи деревень, десятки городов, уничтожен вековой труд множества поколений, сожжены и вырублены леса, испорчены дороги, взорваны мосты, в прахе и пепле сокровища земли, созданные упорным, мучительным трудом человека, Плодоносный слой земли уничтожен взрывами фугасов, мин, снарядов, изрыт окопами, обнажена бесплодная подпочва, вся земля исковеркана, осквернена гниющим мясом невинно убитых. Насилуют женщин, убивают детей, — нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет преступления, которое не оправдывалось бы ею.

Третий год мы живем в кровавом кошмаре и — озверели, обезумели. Искусство возбуждает жажду крови, убийства, разрушения; наука, изнасилованная милитаризмом, покорно служит массовому уничтожению людей.

Эта война самоубийство Европы!

Подумайте, — сколько здорового, прекрасно мыслящего мозга выплеснуто на грязную землю за время этой войны, сколько остановилось чутких сердец!

Это бессмысленное истребление человеком человека, уничтожение великих трудов людских не ограничивается только материальным ущербом — нет!

Десятки тысяч изуродованных солдат долго, до самой смерти не забудут о своих врагах. В рассказах о войне они передадут свою ненависть детям, воспитанным впечатлениями трехлетнего ежедневного ужаса. За эти годы много посеяно на земле вражды, пышные всходы дает этот посев!

А ведь так давно и красноречиво говорилось нам о братстве людей, о единстве интересов человечества! Кто же виноват в дьявольском обмане, в создании кровавого хаоса?

Не будем искать виновных в стороне от самих себя. Скажем горькую правду: все мы виноваты в этом преступлении, все и каждый.

Представьте себе на минуту, что в мире живут разумные люди, искренно озабоченные благоустройством жизни, уверенные в своих творческих силах, представьте, например, что нам русским нужно, в интересах развития нашей промышленности, прорыть Риго-Херсонский канал, чтобы соединить Балтийское море с Черным — дело, о котором мечтал еще Петр Великий. И вот, вместо того, чтобы посылать на убой миллионы людей, мы посылаем часть их на эту работу, нужную стране, всему ее народу. Я уверен, что люди, убитые за три года войны, сумели бы в это время осушить тысячеверстные болота нашей родины, оросить Голодную степь и другие пустыни, соединить реки Зауралья с Камой, проложить дорогу сквозь Кавказский хребет и совершить целый ряд великих подвигов труда для блага нашей родины.

Но мы истребляем миллионы жизней и огромные запасы трудовой энергии на убийство и разрушение. Изготавливаются массы страшно дорогих взрывчатых веществ, уничтожая сотни тысяч жизней, эти вещества бесследно тают в воздухе. От разорвавшегося снаряда все-таки остаются куски металла, из которых мы со временем хоть гвоздей накуем, а все эти мелиниты, лидиты, динитролуолы — действительно «пускают по ветру» богатства страны. Речь идет не о миллиардах рублей, а о миллионах жизней, бессмысленно истребляемых чудовищем Жадности и Глупости.

Когда подумаешь об этом — холодное отчаяние сжимает сердце, и хочется бешено крикнуть людям:

— Несчастные, пожалейте себя!

М. Горький. Несвоевременные мысли.

Заметки о революции и культуре.

М. 1990. С. 85—87.

***2

Не дождавшись решения Совета Солдатских Депутатов по вопросу об отправке на фронт артистов, художников, музыкантов, — Батальонный комитет Измайловского полка отправляет в окопы 43 человека артистов, среди которых есть чрезвычайно талантливые, культурно-ценные люди.

Все эти люди не знают воинской службы, не обучались строевому делу. Они не умеют стрелять — только сегодня впервые их ведут на стрельбище, а в среду они должны уже уехать. Таким образом, эти ценные люди пойдут на бойню, не умея защищаться.

Я не знаю, из кого состоит Батальонный комитет Измайловского полка, но я уверен, что эти люди «не ведают, что творят».

Потому что посылать на войну талантливых художников — такая же расточительность и глупость, как золотые подковы для ломовой лошади. А посылать их, не обучив военному делу, это уж — смертельный приговор невинным людям. За такое отношение к человеку мы проклинаем царскую власть, именно за это мы ее свергли.

Демагоги и лакеи толпы, наверное, кричат мне:

— А равенство?

Конечно, я помню об этом. Я тоже немало затратил сил на доказательство необходимости для людей политического и экономического равенства, я знаю, что только при наличии этих равенств человек получает возможность быть честнее, добрее, человечнее. Революция сделана для того, чтобы человеку лучше жилось и чтоб сам он стал лучше.

Но я должен сказать, что для меня писатель Лев Толстой или музыкант Сергей Рахманинов, а равно и каждый талантливый человек, не равен Батальонному комитету измайловцев.

Если Толстой сам почувствовал бы желание всадить пулю в лоб человеку или штык в живот ему, — тогда, разумеется, дьявол будет хохотать, идиоты возликуют вместе с дьяволом, а люди, для которых талант — чудеснейший дар природы, основа культуры и гордость страны, — эти люди еще раз заплачут кровью.

Нет, я всей душой протестую против того, чтобы из талантливых людей делать скверных солдат.

Обращаясь к Совету Солдатских Депутатов, я спрашиваю его: считает ли он правильным постановление Батальонного комитета Измайловского полка? Согласен ли он с тем, что Россия должна бросать в ненасытную пасть войны лучшие куски своего сердца — своих художников, своих талантливых людей?

И — с чем мы будем жить, израсходовав свой лучший мозг?

Там же, с. 117—118.

Нельзя молчать!³

Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20-го октября предстоит «выступление большевиков» — иными словами: могут быть повторены отвратительные сцены 3—5 июля⁴. Значит — снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей — куда попало! Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут падать, отравляя злобой, ненавистью, местью, все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухой жизни, ложью и грязью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости.

На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции».

Одним словом — повторится та кровавая бессмысленная бойня, которую мы уже видели и которая подорвала во всей стране моральное значение революции, пошатнула ее культурный смысл.

Весьма вероятно, что на сей раз события примут еще более кровавый и погромный характер, нанесут еще более тяжкий удар революции.

Кому и для чего нужно все это? Центральный Комитет с.-д. большевиков, очевидно не принимает участия в предполагаемой аванюре, ибо до сего дня он ничем не подтвердил слухов о предстоящем выступлении, хотя и не опровергает их.

Уместно спросить: неужели есть авантюристы, которые, видя упадок революционной энергии сознательной части пролетариата, думают возбудить эту энергию путем обильного кровопускания? Или эти авантюристы желают ускорить удар контрреволюции и ради этой цели стремятся дезорганизовать с трудом организуемые силы?

Центральный комитет большевиков обязан опровергнуть слухи о выступлении 20-го, он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной

игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков.

М. Горький. Несовременные мысли... Там же, с. 148.

¹ Впервые опубликовано в газете «Новая жизнь», 1917 г., 22 апреля.

² Впервые опубликовано в газете «Новая жизнь», 1917 г., 2(15) мая.

³ Впервые опубликовано в газете «Новая жизнь», 1917 г., 18 октября.

⁴ Имеется в виду Июльский политический кризис, столкновения демонстрантов с войсками, верными Временному правительству.

Курсовые работы

По учебному плану факультетов и отделений журналистики вузов предусмотрено на третьем и четвертом годах обучения написание курсовых работ по истории русской журналистики.

Курсовая работа представляет собой небольшое самостоятельное исследование какого-либо частного вопроса с целью углубленного его изучения, приобретения навыков научной работы с источниками, критической литературой, библиографическими словарями, энциклопедиями, а иногда и с архивами.

Приступая к написанию курсовой работы следует прежде всего составить библиографию (воспользовавшись списками литературы, приложенными к учебному пособию и консультацией преподавателя). Затем надо приступить к изучению и обдумыванию анализируемых текстов. Используя в дальнейшем критическую литературу, следует сохранять самостоятельность в решении темы и анализе текстов.

При написании работы не следует злоупотреблять цитатами, при цитировании необходимо аккуратно ставить кавычки и указывать источник цитат.

Курсовая работа должна показать творческие возможности студента и уметь связать содержание сочинения с современными в средствах массовой информации (СМИ).

Иногда серьезная разработка темы курсовой работы может стать подготовленным этапом дипломного сочинения.

Ниже приводятся примерные темы курсовых работ.

Темы курсовых работ

1. Личный дифирамб (похвала) как прием сатирической журналистики XVIII века.

2. Функция жанра «письмо», «открытое письмо» в журналах И.А. Крылова.
3. Профессиональный и гражданский кодексы журналиста по статьям М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева.
4. Конституционные идеи декабристов. («Русская правда» и др.)
5. Фельетонный характер статей А.С. Пушкина против Ф. Булгарина и Н. Греча.
6. Сходство во взглядах на печать в статьях В.Г. Белинского «Ничто о ничем...» и Н.В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1835—1836 гг.»
7. А.И. Герцен в полемике с «Русским человеком» («Письмо из провинции»).
8. Смысл аллегорий в статье Н.Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».
9. Д.И. Писарев защищает Герцена («О брошюре Шедо-Ферроти»).
10. Сходство и различие в характеристике народничества у В.И. Ленина («От какого наследства мы отказываемся?») и Н.А. Бердяева («Истоки и смысл русского коммунизма»).
11. Проблематика письма К. Маркса в редакцию журнала «Отечественные записки» и очерка Г. Успенского «Горький упрек».
12. Легко ли стать предпринимателем? Салтыков-Щедрин «Благонамеренные речи» (гл. Столп и гл. Превращение).
13. Письмо одиннадцатое из «Писем к тетеньке» М.Е. Салтыкова-Щедрина и наше время.
14. Отрицательный ли тип журналист Подхалимов? (Салтыков-Щедрин. «Пестрые письма», гл. 5).
15. Что за человек Иван Никитич в рассказе А.П. Чехова «Корреспондент».
16. А.П. Чехов. Хорошие люди (очерки «Из Сибири», статья «Н.М. Пржевальский»).
17. В.Г. Короленко «Павловские очерки». О чем говорит павловский колокол?
18. В.Г. Короленко и Л.Н. Толстой против смертной казни (Ст. «Бытовое явление» и «Не могу молчать»).
19. Полемика о войне. О каких аргументах умолчал Ф.М. Достоевский? (очерк «Парадоксалист». Дневник писателя. 1876 г., апрель, гл. II).
20. Журналист на войне по очеркам М.П. Салтыкова-Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» (Гл. Тряпичкины-очевидцы).
21. В.В. Стасов. Статья «Художественная статистика» и оценка им передвижников.
22. «Парадоксы» Вл.С. Соловьева («Судьба Пушкина» или «Идолы и идеалы» по выбору).

23. Фельетоны В.М. Дорошевича о печати в газете «Русское слово» («Старый палач», «Дело о людоедстве»).
24. Журнал «Мир искусств» — как новый тип русского журнала.
25. Художественная жизнь Москвы и Петербурга в журнале «Золотое руно».
26. Статьи А.М. Горького в газете «Наша жизнь» о первой империалистической войне 1914 г. («Несвоевременные мысли»).
27. Начальная история первой местной (губернской или городской) газеты.